

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра международной журналистики

ПОД БЕЗДОННЫМ КУПОЛОМ АЗИИ

**Книга для чтения
с удовольствием**

Часть 3

Бишкек 2010

Идея докт. филол. наук, профессора *А.С. Кацева*
Технический подбор материалов *И.А. Шалевой*

Рецензенты: *И.В. Деева*, канд. филол. наук,
Б.Т. Койчурев, доцент

Рекомендовано к изданию кафедрой международной журналистики
и НТС КРСУ

П 44 ПОД БЕЗДОННЫМ КУПОЛОМ АЗИИ. Книга для чтения с удовольствием: В 3-х ч.
Ч. 3. / Сост. А.С. Кацев – авт. пред., прим., Н.Л. Слободянюк – Бишкек: Изд-во
КРСУ, 2010. – 236 с.

«Под бездонным куполом Азии» – уникальный сборник, в который вошли наиболее яркие произведения Кыргызской литературы от фольклора до наших дней. Наряду с литературными произведениями в книге широко представлена публицистика, посвященная Кыргызстану. В сборник вошли произведения кыргызстанских и зарубежных авторов.

Хрестоматия адресована как преподавателям и студентам – филологам, журналистам, так и всем не равнодушным к Кыргызской литературе.

© Составители А.С. Кацев,
Н.Л. Слободянюк, 2010
© КРСУ, 2010.

СОДЕРЖАНИЕ

Чингиз Айтматов	
Акбара. <i>Сказка</i>	7
Плач по Чингизу. <i>А. Кацев</i>	9
Стоны заблудившихся лебедей, или Тайна медуз. <i>Диалог с М. Шахановым</i>	10
Слово об авторе	22
Мар Байджиев	
Однажды очень давно. <i>Повесть</i>	23
Друг мой верный – русский язык. <i>Статья</i>	62
Тропой человека. <i>Диалог по поводу новой книги</i>	67
В битве за истину. <i>Литературоведческая статья</i>	76
Слово об авторе	88
Рамис Рыскулов	
Вдохновение	88
Звездный возраст.....	89
Слушая песню Ала-Тоо	89
Урюковые деревья	90
О поэтах	91
Юность	92
Киргизия.....	92
Неразделенная любовь.....	92
Идти буду вечно.....	94
Зов бытия. <i>Эссе</i>	95
Слово об авторе	97
Омор Султанов	
Женщина	98
Осколок	99
Голос	100
Жизнь	101
Течение.....	103
Время	105
Влажные облака. <i>Путевой очерк</i>	106
В местах прежней ссылки. <i>Путевой очерк</i>	108
Слово об авторе	111
Светлана Сулова	
Родная речь	112
«Любимый, мы с тобой мастодонты...»	113

«Подари мне песчаную розу...»	114
Стихи о старости	115
Бишкек	117
Вечер русской поэзии в Джеты-Огузе	118
«Стихи сжигать– в который раз! – в печи	119
Утро 25 марта 2005 года	120
Кыргызский гамбит	121
Кыяк	121
Александр Никитенко	
Семья	122
Потеря	124
Цикада	125
«Если больше не видите даль вы...»	126
Беспредельное	126
Секонд-хенд	126
Синий троллейбус	127
«Муза, муза, туман отстелился...»	128
Мой голос	129
«Под косыми лучами светила...»	131
«Это лето с тополиным пухом...»	132
Муки, кум	132
Охотник Кинтохо (озорная сказка)	134
Китик	137
Вячеслав Шаповалов	
Бег	137
Горизонт	138
Поэты	139
Стансы	141
Азийский круг	142
Тени в раю	144
Николай Пустынников	
В горах	146
Осыпь	146
Канатоходец	148
Бедлам	149
Вечернее	149
Турар Кожомбердиев	
«До наступления ночи остался всего лишь шаг...»	150
«Бессонницу мою подкарауля...»	152
На этой земле	153
«Отца уже давно на свете нет...»	153
Отчего?	154
Воспоминание о детстве	154

Замки	156
Слово об авторе	157
Чолпонбай Нусупов	
Стрелок. <i>Рассказ</i>	157
Шумкар. <i>Рассказ</i>	167
Малика Шабаева	
Отчий дом	172
Старый дом	173
Киргизская осень	174
«Месяц в небе появился...»	174
Далекое	175
«Легко кружится голова...»	176
«За этот мир...»	176
Я тебя придумала	177
В осенний вечер	177
Счастье	178
Слово об авторе	178
Алексей Торк	
Фархад и Ширин. <i>Рассказ</i>	179
Джамшед Блистательный. <i>Рассказ</i>	188
Слово об авторе	204

КИРГИЗСТАН В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Алексей Сурков	
На Тянь-Шане	205
Семен Липкин	
На Тянь-Шане	206
Слово об авторе	207
Олег Шестинский	
Слово о Киргизии	207
Николай Ушаков	
Киргизия, ты снишься мне	208
Борислав Степанюк	
Здравствуй, Киргизия!	209
Роберт Рождественский	
Кочевники	210
Вечер в горах	212
Лев Ошанин	
Чу	212

Ирина Волобуева	
Киргизская песня	213
Краски дня	214
Рувим Моран	
В горах	215
Владимир Савельев	
Киргизия.....	216
Вероника Долина	
Певчье слово твержу: пиала	217
Тамара Пономарева	
Из Тянь-Шанской тетради	217
Уолтер Мэй	
Киргизская юрта	218
Давид Маркиш	
За мной: записки офицера-пропагандиста (из дневника)	219
Владимир Набоков	
Дар (отрывок из романа)	220
Дина Рубина	
На солнечной стороне улицы (отрывок из романа)	222
Василий Гроссман	
По Киргизии. <i>Очерк</i>	225
Слово об авторе	230
Примечание	230

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

АКБАРА

Сказка

... Сейчас там уже никого нет. Лишь руины остались от могил и скорбных мазаров. Этот край совершенно безлюдный. Но если кто-то сюда попадет летом, то увидит, как на горизонте вдруг возникают вихри и столбами пыль. Бегут вихри за вихрями, бегут и бегут, и эта их погоня достигает озера, и они погружаются в воду. И тогда чабаны, пасущие в этих местах свои отары, задумчиво говорят: «Это наша Акбара, красавица Акбара убегает от своих врагов...»

Когда-то очень, очень давно по берегам Озера на гигантских пространствах степей, сухих и безлюдных сегодня, были благодатнейшие места. Много дождей проливалось. Зеленые травы отражали небо, и полные реки медленно текли здесь. В этих местах обитал народ, растил детей, пас скот, кочевал из года в год. Было это Балхашское ханство. И как это часто случается в подобных историях, был в этом ханстве один знатный и влиятельный человек, у которого была дочь. Единственная. Бог не дал этому знатному человеку сыновей, но то, что причиталось семерым, отдал девушке. Богатство и ум отца девушки вызывали всеобщее уважение соседей. Девушку звали Акбара, и была она не только красива, но и расположена к различным учениям. А когда есть желание и возможности, почему бы не дать единственному любимому чаду хорошего образования?

И был в тех местах хан. Всесильный, жестокий и коварный. И не сложились отношения между ханом и знатным человеком, у которого была дочь Акбара.

Знатных много, а хан один. Никто не помнил, когда уж так случилось, но в глухой вражде пребывали они долгие годы.

И, конечно, жил в этих местах в бедной семье способный к наукам молодой человек. Был он даже отправлен на учебу в Хиву, где, как известно, мудрейшие из мудрейших преподавали свою мудрость пытливым молодым умам, жаждущим знаний. Через некоторое время он возвратился домой.

У юноши был, к тому же, поэтический дар. Подобным даром обладала и Акбара. И когда каждый из них увидел стихи другого, они почувствовали духовную близость. Акбару отличала и прекрасная синь ее глаз, непонятно было, то ли синева Озера отразилась в них, то ли они подсинили гладь Балхаша.

Синие глаза, исключительно редкие на Востоке, независимый характер, особая стать и красота Акбары пленяли окружающих. На одном из народных праздников, когда скачки сменялись играми, игры плавно перетекали в поэтический турнир, – Акбара читала свои

стихи, а юноша свои. И поразился каждый мастерству другого, увидев при этом, что не только поэзия хороша, но и автор. И любовь вошла в их сердца.

Юноша, ощутив любовь, ощутил горечь, ибо знал он, что нет у него знатных даров и верблюдов, на которые надо погрузить эти дары, чтобы отправить к отцу Акбары, прося руки любимой, и никто не сможет помочь ему. Печаль отразили его глаза и его душа. Тогда возвратился он в Хиву и по ночам писал стихи о любимой, и любимая отвечала ему стихами. И пока эти стихи достигали Балхаша и Хивы, многие из них разлетелись по свету песнями. И до сих пор юноши и девушки поют эти песни. А когда их услышал хан, он задумал недоброе.

Захотелось ему иметь молодую жену и сильную империю. Если бы отец Акбары отдал ее хану в жены, то глухая давняя вражда плавно перетекла бы в родство, а какие раздоры в семье могут быть сильнее государственных интересов?!

Но знал коварный хан, что отец Акбары не только любит, но и уважает дочь, и никогда не пойдет против ее воли. Тогда задумал сделать он юношу придворным поэтом, отравить дворцовой роскошью и его руками заполучить Акбару. Отправил хан в Хиву своих людей, пригласил юношу к себе во дворец.

Посадил хан юношу на почетное место, вел с ним долгие беседы, заботливо узнавал он о жизни юноши, том, как учили его хивинские мудрецы и, хваля стихи юноши, предложил ему стать Главным Поэтом Балхашского Ханства. Прославить свой род, сделать его знатным. С радостью согласился юноша, принял он из рук хана богатые одежды. Поселил его хан во дворце, ежедневно они виделись и говорили о поэзии.

Однажды хан доверительно рассказал юноше, что он, хан, опять жених, что едет в ближайшие дни к отцу Акбары просить ее руки, что этот брачный союз сделает Балхашское ханство сильным и непобедимым. И хорошо было бы, если юноша сложит об этом стихи и песни. Тогда народ узнает про мудрость и заботливость хана и о том, что он постоянно думает о благе государства. Станет юноша правой рукой хана, его доверенным человеком, сможет золотоусто передавать мысли правителя. Хан не торопил юношу, дал обдумать ему свое предложение. Юноша не спал, мучился, и в мучениях, обдумав и взвесив свое решение, дал хану положительный ответ.

Акбара, прослышав о том, что юноша возвратился на родину, с нетерпением ожидала встречи.

Хан в это время своего человека послал к отцу Акбары с предложениями о мире, женитьбе и взаимном могуществе. Не устоял отец Акбары и склонился к предложению хана. Обдумав все как следует, решил он, что красавице Акбаре достойно стать ханской женой, ее независимый характер, красота, ум, ловкость и молодость смогут сделать Балхашское ханство великим.

И однажды, в один из дней, вдруг вдалеке запыхала дорога, возвещая, что многие ноги идут по ней. И, действительно, приближался караван. Множество верблюдов величественно шествовали с тяжелой поклажей, а за ними многочисленные всадники на гордых иноходцах в богатых одеждах. Это был ханский караван сватовства.

Узнав об этом, Акбара очень расстроилась, но каково было ее изумление, когда она увидела своего любимого на белом коне, в дорогом одеянии, славящего в песнях хана и могущество хана, и сватовство хана; и красоту будущих супругов, и их счастливую семейную жизнь. Песнь его была не только о любви и о семье, но и о том, что сильный требует покорности, а покорность сильному – признал мудрости.

Песни его звучали все громче и, чем громче они звучали, тем меньше ощущалась в них поэтическая родниковость, и талант юноши как будто протекал, как песок в песочных часах.

И начались пиры. Юноша навязчиво пел свои песни, и славословили сидящие за столом, а столы ломались от пищи, вина и роскоши. Акбара молчала. Она смотрела на юношу, певшему о великой любви великого хана и о будущей великой повелительнице великого ханства. Она смотрела своими синими глазами, в которых утонуло Балхашское озеро и опрокинулось небо. Все ждали ее слова. Через время она разомкнула уста и произнесла: «Я услышала каждого из вас, и ваши речи были полны уважения, и вы ждете моего слова, и скажу его вам. Только совершу, может быть в последний раз, конную прогулку по местам, где прошли мое детство и юность, послушаю, что скажут травы и деревья, которые шелестят мне который год. Я обращаюсь к ним всегда за советом, и не было случая, чтобы они меня подвели».

Собралась девичья свита, выехала на просторы, и тогда Акбара, обернувшись к подругам, прорыдала: «Прощайте, мои милые, больше меня вы не увидите. Возвращайтесь и скажите, что нет меня», – и, подхлестнув коня, умчалась.

А девушки, возвратясь, рассказали все, что велела им Акбара. И тогда ее отец и хан, и юноша, и вся свита помчались вслед, чтобы догнать ее и образумить.

Их было много – она одна. И скоро они стали ее догонять и просить, чтобы она одумалась. На пути ее раскинулось Озеро. И тогда направила она коня в воду. С трудом вынес конь всадницу на противоположный берег. Отстала погоня, только юноша продолжал бег своего иноходца. Захлебнулся его конь, но достиг юноша берега.

Умолял юноша Акбару покориться судьбе. Вдалеке в это время пробежал волк и, увидев его, Акбара ответила юноше: «Лучше я волчицей стану, лучше по лесам буду скитаться с этим волком, чем останусь с тобой, чтобы слышать твои речи!» И сказав так, вдруг обернулась волчицей и, догнав волка, грациозно побежала рядом с ним.

А юноша сошел с ума. Между ханом и отцом Акбары вскоре разразилась кровавая ссора. Аулы горели, и народ балхашский был разграблен, и кто-то произнес вешние слова о том, что больше счастья на этой земле людям не будет. Дожди иссякли, травы пожухли, все развеялось в прах. Только вихри бегут здесь друг за другом, погружаются в Озеро и напоминают историю гордой и непокорной Акбары.

И не случайно люди в этих местах говорят, что любовь и поэзия погибают от соприкосновения с властью.

ПЛАЧ ПО ЧИНГИЗУ

Плачет Толгонай, плачет Мать-Земля, плачет Джамиля, Сейде и мальчик.

Не стыдясь мужских слез, плачут Едигей, Дюшен и Арсен.

Плачет Мать-Олениха, Акбара и Каранар.

Чингиз, о Чингиз, на кого ты нас оставил?! Зачем ушел навсегда? Зачем оставил своих героев, зачем оставил своих читателей?! Кто воспоет теперь великую любовь?! Кто воссоздаст великую ненависть?! Кто вразумит молодых и остановит непомнящих?! Кто спасет братьев меньших?! Кто расскажет о народе гор людям мира?

Ты, как великий пращур, Чингисхан, покорил мир. Он – огнем и мечом, ты – словом. В разных странах услышали тебя, полюбили рожденные тобою образы. Слово твое было слаще меда, крепче вина.

В нем была сила дамасской стали, в нем была прохлада снежных вершин, чистота горных рек, глубина голубого Иссык-Куля. Кто заменит тебя?

Нет тебе равных ни в родной земле, ни в чужих землях. Ты останешься с нами! Герои твои будут напоминать о тебе и в дни ненастья, и в солнечные дни. И тогда, когда, землю покроет белоснежное покрывало снега и тогда, когда сумрачные дожди прольют над землей свои слезы. И тогда, когда земля зазеленеет и заколосится.

Чингиз, о Чингиз, ты был великим сыном и наставником! Память о тебе пребудет в веках! Омин!

А. Кацев

СТОНЫ ЗАБЛУДИВШИХСЯ ЛЕБЕДЕЙ, ИЛИ ТАЙНА МЕДУЗ

Диалог с М. Шахановым

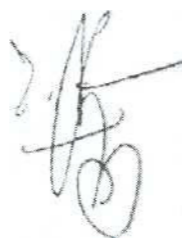
Долго разносился над горным ущельем полный отчаяния и обреченности плач Кожажаша, проклинавшего свою безмерную жестокость, безжалостность и несправедливость, которые привели его на этот роковой утес и обрекли на неминуемую погибель. И всякий, будь то человек или зверь, слыша этот горестный вопль, содрогался от ужаса и страха...

Но что пользы от самого горького раскаяния, если оно пришло слишком поздно...

*Издrevле к песне человек привык, Всяк на
свой лад всю жизнь ее поет. А спой в горах,
и чудо – через миг
Бесстрастно эхо голос твой вернет.*

*Мир справедлив, он этим и хорош.
Посеешь зло – и горе соберешь.*

*Спасенья в том и гибели удел, Что все
добро, творимое тобой, И зло тобою
совершенных дел – Минует срок – и жизнь
вернет с лихвой.*



Айтматов. Однажды Всевышний сказал человеку: «Отдаю тебе во власть все живое на земле. Вот тебе бескрайние равнины, высокие горы, глубокие моря, прозрачные озера, дремучие леса. Будь властителем и всей животной твари. После меня ты второй, кто будет в ответе за все. Станет ли прекрасной земная жизнь или пойдет прахом – зависит от тебя. За все ответ будешь передо мной держать ты». Так человек удостоился великой чести и безграничной власти.

Думая о том, сколько живого еще существует на земле и сколько загублено рукой человека, становится не по себе от возникающих невеселых мыслей...

У кыргызов есть одна удивительная древняя легенда про знаменитого охотника Кожажаша и его трагическую судьбу. В свое время я рассказывал ее видному японскому философу Дайсаку Икэде. Впоследствии я заново переписал народную притчу, дополнив ее новыми историями.

Много-много лет тому назад на исконно кыргызской земле с ее необъятными степями и высокими горами жил молодой охотник по имени Кожажаш. Он был метким стрелком, легко попадавшим в глаз пугливой дикой козе, стремительным, как птица, когда гнал и заваливал волка, отважным храбрецом, покорившим не одну горную вершину. Его добычей кормились не только близкие и дальние сородичи, но и весь аул. Кожажаш, единственным желанием которого было убить любого попавшегося глаза зверя, ощущал себя хозяином этой земли, был важен и самодоволен.

Как-то раз, приготовив в подарок выделанные роскошные шкуры барса и лисы, шерсть которых была пушиста и нежна, он отправился со сватами к любимой девушке-красавице и договорился о дне свадьбы. Было ясно, свадьба потребует больших затрат. Но все, чем был богат Кожажаш, он добыл лишь охотой. И пришлось ему еще чаще выбираться на охоту и убивать еще больше разного зверья. Ничего не жалел он ради красавицы-невесты и потому, не зная покоя ни днем, ни ночью, не щадил охотник ни зверя, ни птицу, что попадались ему на пути.

И вот однажды, рыская по окрестностям в поисках добычи, охотник вдруг наткнулся на семейство нутрий, в котором отмечали проводы невесты. Темной ночью при лунном свете нутрии, словно люди, веселились на свадебном тое, а затем с песнями и плясками повели невесту в соседнюю нору к жениху. Увлечшись весельем, зверьки позабыли о привычной осторожности. Навстречу невесте из норы вышел счастливый жених в окружении сватов. Встретившись друг с другом, обе стороны с удвоенным весельем продолжили свадебный той. Молча наблюдая за всем этим действием, Кожажаш вспомнил о своей невесте и о предстоящей свадьбе. Шкурки нутрий представляли собой немалую ценность. Красивей и дороже их трудно было бы что-то найти. Если поймать сейчас всех этих красивых зверьков, это ли не богатая добыча? Кожажаш быстро скинул с себя тулуп и тут же, накинув его на веселящихся и ничего не подозревающих нутрий, принялся душить их одну за другой...

Так же безжалостно он перестрелял многих горных коз, загнанных им в горную расщелину. Уцелевшая Серая Коза подошла к охотнику и сказала: «Такого меткого охотника, как ты, способного попасть в глаз дикой козе, наверное, нет больше на всем белом свете. Но всему есть мера. Похоже, ты об этом забыл. Прошу тебя, – Серая Коза заплакала, – прояви милосердие, не трогай больше нас. Из всего нашего племени в живых остались только я и Серый Козел. Дай нам возможность продолжить свой род».

Однако ответ Кожажаша был коротким. Меткий выстрел наповал сразил Серого Козла. И тогда разъяренная Серая Коза вскричала: «Ты убил продолжателя рода теков. Твоя пуля уничтожила все наше племя, не оставив надежды на потомство. Будь ты проклят, Кожажаш!

С этой минуты ни один твой выстрел не сразит ни единое живое существо! Если не веришь, попробуй, выстрели в меня!»

Упрямый и самонадеянный охотник презрительно рассмеялся в ответ на эти слова Серой Козы. От этого громкого, раскатистого смеха с гор посыпались камни. Но слова Серой Козы оказались вещими. Недрогнувшей рукой Кожажаш выстрелил в нее, но ни первая, ни вторая, ни третья пуля не попали в животное.

- Ну что ж, тогда я догоню тебя и зарежу ножом! – вскричал разозлившийся охотник и бросился за Серой Козой. Но она быстро и легко взбиралась вверх по каменистому ущелью, перепрыгивая с камня на камень, со скалы на скалу. И также стремительно и неотступно преследовал ее Кожажаш и не заметил, как оказался на самой вершине утеса, где никогда прежде не ступала нога человека. Опомившись, он оглянулся и увидел вокруг себя лишь отвесные голые склоны. Обратного пути не было. И тогда Серая Коза сказала:

- Вот и пришла расплата за бесчисленных истребленных тобой зверей. Сколько слез было пролито нами из-за тебя, поплачь же теперь и ты в свой последний час!

Долго разносился над горным ущельем полный отчаяния и обреченности плач Кожажаша, проклинавшего свою безмерную жестокость, безжалостность и несправедливость, которые привели его на этот роковой утес и обрекли на неминуемую погибель. И всякий, будь то человек или зверь, слыша этот горестный вопль, содрогался от ужаса и страха.

Но что пользы от самого горького раскаяния, если оно пришло слишком поздно...

Принявшая на себя столь тяжкий удар судьбы, невеста Кожажаша отправилась в горы на поиски Серой Козы, чтобы вымолить у нее прощения. В этих поисках прошло много лет, но Серая Коза куда-то исчезла. Невеста охотника состарилась, превратилась в старуху. Измученная горем и страданиями, женщина однажды набрела на нутрий, праздновавших свадебный той. Была темная ночь, ярко светила луна, и в ее свете радостные зверьки пели песни и плясали, провожая к жениху счастливую невесту.

Видя это, невеста Кожажаша горько и безутешно заплакала:

Отчего судьба не дала мне хотя бы немного такой радости, как у этих зверьков!..

Шаханов. Притча о Кожажаше – это высшая степень человеческого страдания. Человек оценивает ситуацию с разных точек зрения, по-разному понимает ее, но единственный путь к пониманию лежит через трагедию.

Айтматов. Однажды в Люксембурге ко мне приехали немецкие кинематографисты и сказали, что хотели бы снять обо мне фильм.

- Как вы хотите его снимать? – спросил я их.

- В Вашем кабинете, где мы и будем беседовать.

- Это будет повторением прежнего. Есть одно место особенно полюбившееся мне.

Идемте, начнем наш разговор оттуда, – предложил я и повел кинематографов за собой.

Мы пришли к скоростному автобану, протянувшемуся по линии Брюссель – Люксембург – Триер – Ковпек – Франкфурт. По этой магистрали днем и ночью на огромной скорости мчатся в шесть рядов в оба направления разные автомобили. Вдоль автобана с обеих сторон на сотни километров протянулись прочные металлические ограждения. И эта бетонная лента рассекла горы, поля, леса и озера. Животные, оставшиеся по разные стороны магистрали, лишились возможности перебраться на противоположную сторону. Нарушилась целостность природного пространства. И что же придумали люди, чтобы решить эту проблему? Через каждые десять километров над автобаном перекинулись специальные мостики для оленей, кабанов, зайцев, скорпионов и змей. В нашем же отечестве, не говоря о животных, даже для людей построить такие красивые навесные мостики – непосильная задача.

Подойдя вместе с кинематографистами к этому уникальному мосту, я сказал:

- Вот пример победы человечности над эгоизмом, сочувственного отношения к природе.

Я взошел на воздушный мостик и начал свой рассказ для будущего фильма. Позднее его съемки были продолжены здесь, в Кыргызии, на земле Таласа. Многие из молодых и старых, которых ты видел в аиле Шекер, попали в этот фильм. Но дело не в этом. Главная проблема – в ответственности каждого человека за экологию.

- Сколько бы мы ни призывали не истреблять волков и лисиц, медведей и белок – толку от этого мало. Самое главное – воспитывать в людях сочувственное, доброе отношение ко всему живому, желание помочь ему и изменить ситуацию к лучшему.

Эти мостики, которые я видел в Люксембурге, словно говорят животным: «Простите нас за это грубое вторжение в вашу тихую жизнь, за нарушенный покой и испорченную природу. Эти мостики для вас, пользуйтесь, пожалуйста!» Как нам этого не хватает! Много мы проносим хороших слов по этому поводу, но все так словами и остается.

Шаханов. В Вашем романе «И дольше века длится день» верблюды Едигея Каранар каждой весной, срываясь с привязи, мчались в степь, рыскал по окрестным аулам и разъездам и, утолив накопившийся за двенадцать месяцев голод атана, возвращался к хозяину исхудавший и обессиленный. Да и сам Едигей хорошо знал норы Каранара и, выпустив из загона самца, не утруждал себя его поисками, а ждал его возвращения. Если вдуматься, у этого Каранара было собственное «я». Обладая могучим инстинктом, он был способен смести любую преграду, возникающую на его пути.

Как-то мне довелось посмотреть весьма познавательный фильм о жизни диких оленей. Очень интересно было наблюдать за тем, как эти обычно смиренные и кроткие животные, обычно дружно выбирающие себе подходящие пастбища и места для водопоя, вместе защищающиеся от хищников, вдруг собираются на открытой поляне и начинают меряться силой. В период случки самки оленей, теснясь и дрожа всем телом, сбиваются неподалеку в кучку, а самцы, грозно направив друг на друга ветвистые рога, бросаются в бой. Сцепившись в схватке, они затем отходят назад и, разогнавшись, снова сталкиваются лбами. В этот момент кажется, что рога их не выдержат столь сильных ударов и разлетятся во все стороны.

Был среди этих самцов один рослый красавец, могучего сложения, который годом раньше в такой же схватке победил всех своих соперников и стал обладателем двадцати с лишним самок. И в этот раз он легко и быстро разделался с восемью рогатыми самцами. Казалось, от сильных ударов мощных оленьих рогов вспыхивали искры. Победенные самцы, поникнув, отходили в сторону. В конце концов на поле боя остались прошлогодний победитель и молодой строптивый самец. Схватка между ними затянулась дольше обычного. Никто из двух бойцов не думал сдаваться, не желая признать себя побежденным. Отважно доказывая свое превосходство, молодой олень собрал все силы и нанес сопернику сокрушительный удар, оглушив его, затем боднул напоследок под ребра и прогнал прочь с поляны. Самки, с трепетом наблюдавшие за происходившим, тут же сгрудились возле победителя, покорные его воле...

Что значит борьба за место под солнцем...

Айтматов. Инстинкт продолжения рода у животных развит очень сильно. Разве не заложена великая закономерность самой жизни в этой битве самцов-оленей в брачный период? Суровый закон самосохранения и выживания требует от животных естественного отбора, продолжателями рода должны быть самые здоровые, сильные, храбрые. И этот бой оленей не что иное как проявление их ответственности за будущее поколение.

Не зря говорят: «Что Аллах отцу дал, то и сыну даст». Эта поговорка – подтверждение того, как в природе в бескомпромиссной борьбе происходит естественный отбор и обретается право на воспроизведение потомства. Ведь естественно, что больные, ослабленные олени породят таких же неполноценных особей, которые не смогут выжить в суровых жизненных условиях и будут обречены на гибель.

Шаханов. Судя по результатам научных исследований, не только животные, но и растения, цветущие весной и засыхающие осенью, обладают только им присущим «нравом». С помощью ультразвуковой аппаратуры ученые-биологи провели с листьями растений следующий интересный эксперимент.

Внедрив в стебель растения специальный прибор, ученый протягивал руку, чтобы оторвать листик от растения. Едва рука задевала лист, как тут же на экране возникало дрожание, отождествляющее, по мнению исследователей, чувство страха. Дальнейшее состояние растения специалисты расшифровывают так:

- Осторожно! Возникла опасность!
- Погибну я или буду жить?
- Меня схватили!
- Я погибаю!

И едва лист был сорван, как с экрана тут же исчезала тревожная дрожь, что говорило о том, что оборвалась чья-то судьба.

Насколько же удивительна природа, что дает даже самым обычным, неприметным и, казалось бы, безжизненным листочкам столько разнообразных чувств и ощущений. Ну а мы тем временем истребляем не только листики, но и целые леса.

Айтматов. Как-то я прочитал о том, какие любопытные наблюдения были проведены над растущими в саду гвоздиками. Если над ними склонялись молодые красивые девушки, цветы раскрывались и будто радовались этому. Если к ним подходил неприятный человек, то они недовольно съеживались. Ну а стоило приблизиться к цветам накурившемуся или хмельному человеку, они тут же закрывались. Разве это не удивительно?

Да, у всего живого на земле есть свое «я». Что же касается животных, то их сознание сформировано на определенном уровне. И поэтому они не лишены таких чувств, как симпатия или антипатия. Мало того, порой среди животных можно наблюдать проявление таких благородных чувств и поступков, которым можно поучиться и людям.

Например, лебеди, которых в народе считают благородными птицами, еще совсем юными соединяются в пары и весь свой век живут в очень тесном союзе. Многим не раз доводилось наблюдать, как лебедь, у которого погибла спутница жизни, взмывал ввысь и камнем падал на землю, не вынеся разлуки, или же отказывался от всякой пищи и добровольно обрекал себя на голодную смерть – так сильна бывает лебединая любовь.

Думаю, в целом большинству живых существ, обитающих на земле и в воде, присущи чувства симпатии, жалости, злобы и ненависти.

Некоторые тайцы, живущие в Гималаях, говорят молодоженам такие слова свадебного напутствия:

- Желаем вам такой же любви, как у китов, и верности, как у собак. Более высокого благословения у этих народностей, говорят, не существует.

Всякому владельцу собак известна их верность, но о любви китов я ничего не знал и часто по этому поводу задавался вопросом. И лишь недавно, прочитав в одном из печатных изданий об истории, случившейся в районе Калифорнийского залива, я нашел ответ на свой вопрос.

Китобойное судно «Аторранте», занимаясь своим промыслом, встретило в водах пролива пару кашалотов. Смертельно ранив самку и подцепив добычу, судно потащило ее за собой. Решив, что его подруга попала в плен, самец последовал за ней, пытаясь как-то помочь выбраться на волю. Долго кашалот кружил рядом, неотступно преследуя судно, и, наконец, понял, что его подруга мертва. Обуреваемый яростью и отчаянием, кит ринулся в атаку. Он бросился на судно всей своей огромной массой и тут же опрокинул «Аторранте». Не успела команда порадоваться Удачному лову, как сама оказалась в беде. К счастью, всем членам экипажа удалось спастись.

Главная ошибка человечества, думается, лежит в полном игнорировании чувств и ощущений, свойственных другим представителям живой природы.

Шаханов. В словах великого Циолковского о том, что вмешательство человека несет в себе печаль, а земной шар стареет все быстрее, кроется большой смысл. Недавно узнал из зарубежной печати об одном интересном случае, который заставил задуматься о многом. Некий 26-летний Фрэнк Чарней, страстный любитель всевозможных рыб, поймал в реке сома, принес домой и запустил в аквариум. Шло время, сом рос и через год аквариум стал для него тесен. Рыба уже не только не могла плавать, но даже и просто повернуться. Однако хозяин ухаживал за ней, хорошо кормил, а иногда они даже вместе смотрели телевизор.

Все испортила возлюбленная Фрэнка, однажды рассорившаяся с ним. Желая отомстить, она от «имени» сома пожаловалась известному защитнику прав животных Эдвигу Кренку. В результате проверки Фрэнк признали виновным в том, что он не создал для сома надлежащих условий, посадили на пять часов в тюрьму и оштрафовали на крупную денежную сумму.

Обращаясь к Фрэнку, защитник прав животных с возмущением заявил:

- Я впервые встречаюсь с таким проявлением жестокости. Если бы Вас самого завернули в шубу, лишив движения, каково было бы Вам? Кто может утверждать, что рыбы бесчувственны? Значит, мы не вправе делать их несчастными. Вы заслуживаете более сурового наказания, Фрэнк!..

Айтматов. Некогда один коренной житель Алтая рассказал мне такую историю: как только в предгорьях поспевают малина, яблоки, груши, смородина, туда немедленно устремлялись горожане. И хорошо, если бы они спокойно собирали ягоды и также спокойно удалялись обратно. Так нет же: как правило, люди варварски обдирали кустарники, калечили растения, ломали ветки деревьев, доставая плоды, жгли по ночам костры, пили водку, громко распевали песни, спугнув таким образом всех животных, обитавших в этих краях. Лишившись привычного лакомства и покоя, однажды медведи спустились с гор и накинудились на людей, которые едва успели попрятаться. Затем, словно в отместку человеку, звери устроили погром на улицах и перевернули несколько машин.

После этого случая горожане как будто осознали свое чересчур вольное обращение с природой и стали более дисциплинированными.

Шаханов. В то время как за границей сломанная ветка дерева воспринимается почти как личная боль, а хозяина сома штрафуют за слишком маленький аквариум, мы благополучно уничтожили многочисленные виды животных, обитавших в нашем регионе.

Чике, не зря говорят: «Не ценится то золото, что носится». Как-то Вы говорили, что у некоторых народов принято предлагать самым почетным гостям в качестве деликатеса мясо сайгака. А ведь в Торгайской области в 1988 году погибло около миллиона сайгаков. Возможно, это произошло вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне либо из-за деятельности

центра закрытых испытаний бактериологического оружия «Возрождение», который располагался тогда близ Аральского моря. Тем не менее, ни одного виновного или ответственного за эту страшную трагедию так и не нашли. Сколько мы ни били тревогу, сколько ни писали в различные инстанции – все было напрасно. Я, например, лично встречался в качестве Президента Международного комитета «Арал – Азия – Казахстан», а также в качестве народного депутата Верховного Совета СССР с Президентом Горбачевым, Министром обороны СССР Язовым, Министром здравоохранения СССР Чазовым и вручил каждому из них письма с требованием проведения расследования этой национальной трагедии.

В ответ на это обращение мне заявили, что сайгаков внезапно постигла какая-то тяжелая, заразная болезнь. С этой лживой отпиской меня и отправили восвояси. Вслед за этим произошел развал Союза, и этот вопрос так и остался открытым.

Айтматов. В наше время кожажаши стали гораздо сложнее и хитрее. Не так ли? Их не так-то просто поймать за руку.

Шаханов. По телевидению как-то показывали беседу с человеком по имени Жума Жумаев, которого в младенчестве украли волки, среди которых он и вырос. Многие годы он прожил подле волчицы вместе с ее волчатами и уже совсем одичал, когда его случайно обнаружили охотники. Сначала им пришлось погоняться за диким юношей, прежде чем удалось его поймать и посадить в железную клетку.

– Когда люди посадили меня в клетку, моя мать (так он называл волчицу), рискуя жизнью, отчаянно пыталась освободить меня. Она кусала железные прутья клетки, кружила вокруг, пытаясь проникнуть ко мне. К сожалению, охотники застрелили ее. Живя с волками, я не видел ничего плохого. Они очень справедливые. Но среди людей такие добрые отношения и помощь я встречал очень редко, – рассказывал Жума.

В Вашем романе «Плаха» волкам отведено особое место...

Айтматов. Прежде чем писать об Акбаре и Тасчайнаре, я изучил характер, повадки, саму жизнь волков прочитал много разных книг. В целом, жизнь волков подчинена строгой дисциплине и очень интересна.

К примеру, волки никогда не нападают на скот, находящийся на занятой ими территории, если только зима не выдастся чересчур суровой и их не одолеет голод. Напротив, они не подпускают сюда других волков – чужаков и таким образом охраняют свою местность. Волки одной стаи каждую ночь по очереди следят за своей территорией, повсеместно обозначая ее границы своими испражнениями. Особенно усиливается такое дежурство, когда у волчицы появляется потомство. Стоит только на территории стаи появиться чужому волку, как его тут же прогоняют, понимая при этом, что если чужак загрызет или покалечит скот, хозяин увидит в этом вину местных волков и кара может пасть на невинных волчат. Какова логика у этих хищников!

Шаханов. До сих пор помню рассказ, услышанный мною в далеком детстве. Неподалеку от двора дома, где жил один чабан, ощенилась волчица. Чабан занимался своим делом и не трогал волчье семейство: волки жили сами по себе, не причиняя ему беспокойства. Так они тихо и мирно соседствовали друг с другом долгое время.

Не раз аульные джигиты вознамеривались забрать волчат у волчицы, но чабан и близко не подпускал их. Нет на свете злее зверя, чем волчица, у которой отобрали волчат. Случись такое, и она незамедлительно перегрызет всех баранов в загоне. Да и волки – отец и мать семейства – тоже верно охраняли отару своего соседа, не подпуская своих дальних сородичей. И тут случилось неожиданное. Вылезшие из норы волчата, резвясь и играя на солнышке, нечаянно загубили одного ягненка. Это увидел и чабан. На следующий день, выйдя посмо-

треть, как же теперь ведут себя волки, он с изумлением обнаружил в своей отаре незнакомого белого ягненка с болтающейся на шее веревкой.

Любопытно то, что волки, «устыдившись» проделок своих волчат, в ту же ночь проникли в чужой загон, выкрали оттуда ягненка и «подарили» его соседу-чабану.

Айтматов. В жизни животных немало интересных историй. Проблема, однако, в том, что мы смотрим на животных только как на животных и не пытаемся понять их внутреннее состояние.

Шаханов. Мы привыкли относиться к природе по принципу «все вокруг наше, что хотим, то и творим». Строгие статистические данные говорят о том, что в течение последних 90 лет только в Алматы и ее окрестностях количество зеленых насаждений уменьшилось на 57 процентов. А ведь лишь одно семи-восьмилетнее дерево выделяет в сутки столько кислорода, сколько необходимо двум людям для дыхания. Выходит, губя природу, мы рубим сук, на котором сидим, то есть фактически укорачиваем себе жизнь.

Мы часто забываем о том, что вода, воздух и земля – наше бесценное богатство. Нарушится биологическая связь между ними – ухудшится жизнь. От обитающих в воде одноклеточных до огромных китов, от растущей на земле тростинки до густых лесов – все, кто способен, наслаждается этим природным даром. Но двуногие и четвероногие существа могут подвергнуться физиологическим изменениям и психологическим аномалиям там, где нарушено естественное состояние природы.

Айтматов. Уже прошло много лет, а память моя хранит два случая, наделавших некогда немало шума на страницах периодической печати.

Одна сельская жительница Красноярской области собрала летом в лесу грибы, засолила их в стеклянных банках и оставила до зимы. Ранней весной, почувствовав запах грибов, хранившихся в погребе, она спустилась вниз и, о ужас! – увидела прямо перед собой раздутое, вспухшее чудовище. Чудовище вцепилось ей в ногу, и бедная женщина дико закричала не своим голосом. Когда она огромным, нечеловеческим усилием вырвала ногу из страшного «капкана», то на пальцах уже не осталось мяса, торчали лишь обглоданные кости.

Ученые исследовали это неизвестное ранее бесформенное существо и решили, что это – мутант, появившийся в результате воздействия на грибы радиоактивного излучения. И теперь вопрос об уничтожении этих мутантов, растущих с каждым днем, обладающих невероятной прожорливостью и легко прогрызающих железо и бетон, – становится очень большой проблемой.

Другое чудовище XX века зародилось в недрах Бермудского треугольника. Какая загадочная сила могла превратить обычную сорокасантиметровую безобидную медузу, мирно обитающую в морях и океанах, в опасное, сеющее вокруг себя гибель существо? Подумав хорошенько, можно вспомнить о том, что некогда в районе Бермудских островов потерпела аварию советская подводная лодка с ядерным оружием на борту. В результате этого в районе аварии в воде распространилось большое количество вредных радиоактивных веществ. Под их воздействием медузы начали быстро увеличиваться в размерах и превратились в огромных и страшных мутантов длиной до шестидесяти метров.

И сейчас эти чудовища, пренебрегая крупной рыбой и даже дельфинами, нападают на лодки и небольшие яхты, попадающиеся им на пути. Длинные красновато-синие щупальца, растущие из этого безобразного туловища, едва касаясь жертвы, обжигали ее и тут же выпускали смертельный яд. За короткое время мутанты явились причиной гибели более двадцати моряков. На сегодня число жертв быстро увеличивается и приближается к двумстам.

Таким образом, хрупкий гриб, который может сдуть с места сильный порыв ветра, и беспомощная морская медуза, подвергшиеся воздействию радиоактивных веществ, явили собой новую смертельную угрозу для человечества. Что же будет, если радиоактивными мутантами станут такие крупные представители животного мира, как львы, слоны, крокодилы, киты и акулы? Можно ли представить масштабы бедствия, которое они могут причинить окружающим?

Думаю, каждый образованный человек должен задуматься над словами Циолковского, который в свое время предрек: человек совершил насилие над природой, и теперь должен ждать насилия природы над собой.

Об этом же говорит и неожиданное (и просто пугающее) предположение ученых о том, что жизнь на земном шаре до нас повторялась четырежды.

Если верить этой гипотезе, то конец всему живому на Земле сначала наступил во время глобального землетрясения, потом в результате тотальной кровавой войны, затем вследствие изобретения сверхмощного оружия и, наконец, во время всемирного потопы. А причиной всех этих катаклизмов является нищание человеческой души, алчность и безбожность людей, толкающие их на истребление природы. Вот где кроется истина!

Мы – представители пятой цивилизации на Земле, главная наша проблема – сможем ли мы в будущем уберечь земной шар от катастрофы или нет. Существует предсказание, что если люди не изменят своего бездушного отношения к природе и друг к другу, человечество погибнет в огне огромного вулкана. И каждому останется лишь уповать на милость Всевышнего. При этом говорят, что перед концом света земля развернется у нас под ногами.

Говорят, Бог сказал: «Я все отдал человеку, только желания оставил себе». Верно. Вся проблема в наших желаниях и стремлениях. Не обрета духовность, мы никогда не достигнем благополучия.

Говорят, развитая цивилизация – враг природы. Это ошибочное мнение. Главный виновник здесь – сам человек, который не способен мудро и рационально пользоваться благами созданной им самим цивилизации. Не говоря уже об остальном, многие ли из нас могут взять да и посадить хотя бы одно деревце весной? Скорее всего, нет. Думаю, трудно найти более яркий пример нашего бездушия.

Шаханов. Если бы каждый из нас посадил для своего ребенка или любимого человека по деревцу, это было бы так прекрасно! Жаль, что такие качества у нас не воспитываются.

Как-то весной в Бишкеке был устроен большой городской субботник. На этом субботнике мы, послы разных стран: Метин Гокер (Турция), Рам Сваруп Мукиджа (Индия), Яо Пэй-Шень (Китай), Ален Малой (США), Михаил Романов (Россия), Назар Аббас (Пакистан), Мортеза Тавассоли (Иран), Александр Тумор (Белоруссия), мэр города Бишкек Борис Силаев и я посадили по деревцу на небольшой красивой площадке. В будущем это, безусловно, станет лучшей памятью о тех, кто здесь работал и жил. На том субботнике я посадил еще одно деревце в честь моей дочери Айчурек.

Конечно, одним – двумя саженцами не исполнить сыновний долг перед нашей землей. Но разве не из малой благодарности вырастает большая доброта?

Ни для кого не секрет, что атмосфера Земли отравлена различными газами, пылью и радиацией, что порождает огромную опасность для нашей планеты. В связи с тем, что воздух во многих городах мира с миллионным населением отличается особенной загрязненностью, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к мнению, что в такой среде нельзя находиться детям до 8 лет. В списке этих городов числится и Алматы...

Айтматов. Помню, как около десяти лет тому назад Токио, с населением более 13 миллионов человек, из-за большой загрязненности воздуха столкнулся с серьезной проблемой. Скопление жилых домов, учреждений, различных предприятий, бесчисленное количество заводов и фабрик, непрерывный шлейф выхлопных газов автомобилей и автобусов поставили этот гигантский центр великой культуры и новейшей технологии на грань катастрофы. Дошло до того, что многие горожане, спасаясь от смога, вынуждены были надевать на лицо маски, наполненные чистым воздухом.

Как, по-твоему, решили эту проблему трудолюбивые японцы?

Сначала они объявили конкурс на должность мэра Токио. Было решено – кто предложит самый лучший и быстрый проект по очистке городского воздуха, тот и станет мэром. В итоге из нескольких тысяч претендентов выбрали одного, предложившего лучший научный способ решения проблемы. Этот человек и возглавил городскую власть. Следуя данному обещанию, новый мэр в течение шести месяцев добился того, что Токио был причислен к самым чистым городам мира. Думается, такой человечный и волевой руководитель, избранный в жесткой конкурентной борьбе, был бы полезен в любом городе, ставшем центром развития и прогресса.

Шаханов. В последнее время наши ученые все чаще бьют тревогу по поводу уменьшения озонового слоя Земли. Это происходит от большого количества выделяемых в атмосферу вредных отходов промышленного производства, в частности, сажи. А изменение природного равновесия между этими двумя важнейшими составляющими любой жизнедеятельности означает нарушение биологической связи между всем сущим на земле, живой и неживой природой.

Вероятно, Вы помните фантастический роман Александра Беляева «Продавец воздуха», где говорится о том, как на Земле стало не хватать чистого воздуха и тут же появился предприниматель, который на этом основал свой бизнес. При этом богачи с тугими кошельками с избытком скупали необычный товар, запасаясь им на долгое время, а бедные люди, не имеющие достаточных средств, ползали по земле, припадая к каждому кусту в поисках глотка воздуха, и в страданиях влачили свое жалкое существование.

Как бы эти небывлицы, рожденные творческой фантазией писателя, не стали в будущем жуткой реальностью.

А разве весь земной шар не стал в XX веке огромной ареной борьбы за технический прогресс?

При этом, по сравнению со средними веками, количество разрушительных землетрясений, уносящих сотни тысяч человеческих жизней, и столь же губительных наводнений увеличилось в несколько раз. Быть может, это протест самой природы против безжалостного отношения к себе людей, их ненасытности и беспечности.

Безмерна круглосуточная добыча нефти и газа, угля и других полезных ископаемых, когда человек, даже и не доходя до земного ядра, полностью высасывает из земли все содержимое и превращает ее в пустую скорлупу. В целом, признавая, что в природе нет ничего лишнего, мы расписываемся в том, что в весьма вульгарной форме нарушили равновесие в ней.

Простой пример: после извлечения из земных недр нефтяных или газовых запасов место выработки остается фактически пустым. (Только в последние годы стала использоваться технология заполнения таких пустот водой.) И эти опустошенные выработки, как выяснилось, не только сейсмически опасны, но и оказывают вредное воздействие на живую природу в целом.

Разумеется, это не означает отрицания необходимости извлечения полезных природных ископаемых. Задача в том, чтобы использовать при этом новейшие способы разработки месторождений, дабы не раскаиваться впоследствии в непоправимых ошибках, зная, что раскаяние пришло слишком поздно.

Айтматов. Несколько лет тому назад, поздней осенью, огромные стаи лебедей, гусей и уток, летевших из Казахстана и Кыргызии в теплые края, сбились с пути, прилетели в студеную Якутию и там погибли.

Специалисты утверждают, что птенец, вылупившийся из яйца, например, на берегу Иссык-Куля, впоследствии каждой весной и до конца своей жизни безошибочно будет возвращаться в родные места. И так все перелетные птицы, улетающая перед зимними холодами в Африку, Индию, арабские страны или на Цейлон, они возвращаются тем же путем обратно, с точностью следуя воздушным потокам.

В чем же причина роковой ошибки несчастных птиц, погибших в морозной Якутии? Предполагается, что тому виной содержащаяся в воздухе с превышением всех норм радиация, которая повлияла на снижение чувствительности пернатых. Так может ли обойти двуногое население планеты эта радиация, уродующая жизнь птицам в воздухе и животным на земле?

Шаханов. В своем романе «Тавро Кассандры» Вы неоднократно описывали китов, которые в нарушение всякой логики, по необъяснимым причинам вдруг устремлялись к берегу и выбрасывались на него, обрекая себя на неминуемую гибель. В этом странном самоубийстве самых крупных обитателей планеты кроется своя тайна. Однако пытливый читатель должен понять кроющуюся здесь тревогу за будущее человечества, протест против агрессии людей по отношению друг к другу.

Помню, Вы писали, что нарушение небольшой биологической связи на Земле повлечет за собой нарушения во всем единстве системы Человек – Солнце – Вселенная. И для того, чтобы наступил конец света, вовсе не обязательно непременно взорвать атомную бомбу или дожидаться всемирного потопа. То, что мы знаем о заблудившихся птичьих стаях, о массовом самоубийстве китов, созвучно этим размышлениям.

Айтматов. В природе нет ничего лишнего. От самого разумного на земле существа, каким мы считаем человека (а это вопрос спорный) до самого низкоорганизованного – червяка и насекомого – все являются равноправными членами живой природы. Их единство и взаимосвязь представляют собой огромную биологическую систему. И стоит выйти из строя одному из ее механизмов, как неизбежно нарушится отлаженная деятельность одного из звеньев системы.

К примеру, в одной из приморских местностей решили, что чайки поедают слишком много рыбы, и сочли необходимым их истребить. Задача была выполнена, но спустя некоторое время в море началась эпидемия некоего заболевания. Оказалось, что жертвами чаек становятся главным образом больные, ослабленные рыбы и таким образом происходит естественная дезинфекция водного пространства. Выходит, что чайки фактически выполняли роль санитаров.

Шаханов. В свое время в Китае, в период культурной революции приняли специальные постановления, предписывающие полное уничтожение мух, комаров, мышей и воробьев. По этому поводу Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызии Яо Пэй-Шень поведал мне интересную историю.

– В январе 1958 года, – рассказывал он, – в Китае было обнародовано государственное постановление о мерах борьбы с четырьмя видами вредителей, причинявших китайскому

народу огромный материальный ущерб и наносящих здоровью людей не менее значительный вред.

Весь народ, от мала до велика, должен был воспринять этот документ как грандиозный шаг на пути строительства светлого будущего.

Это движение к «весне» превратилось в массовое, всенародное мероприятие. В то время я учился в школе в небольшом городке Люйхэ близ Шанхая и тоже принял в нем самое активное участие.

Ежедневно наши уроки начинались с отчета каждого ученика о количестве пойманных мышей, убитых мух и комаров. Некоторые из школьников, самые хвастливые, приносили в школу связки дохлых мышей и спицы с наколотыми на них мухами и комарами. И тот, у кого было больше уничтоженных «врагов» нации, считался лучшим учеником, достойно выполнившим важное государственное задание.

Следом пришел черед воробьев. Соскочив с постели чуть свет, мы хватили в руки ведра, тазики, бамбуковые палки, барабаны, словом все, что могло производить шум и грохот, и собирались у школы. Затем учителя расставляли нас по постам – одних отправляли на крыши домов, другие забирались на деревья, третьи рассыпались по дворам, по углам улиц и вдоль дорог. У других горожан тоже были свои, заранее намеченные места. Все были готовы, и тогда в городе раздавался оглушительный грохот, стук, дробь и скрежет, который дополнялся криком, визгом и хрипом осипших от усердия людей.

Воробьи, ошалевшие от этого дикого шума, кружили еще какое-то время над городом, но, устав от бесконечного полета, устремлялись прочь, на вольные просторы. Мы же, наивные, надеялись, что уставшие летать над нами птицы вконец обессилят и рухнут к нашим ногам. Самые неугомонные и настырные бросались вдогонку за птицами и преследовали их сколь было сил...

Ну, а жители и школьники Пекина, Шанхая и других крупных городов были счастливее нас: они просто гонялись толпами за воробьями по всем улицам. Вся периодическая печать того времени оценивала эти действия как героические и регулярно в подробностях освещала происходящее.

Откуда нам было знать, к чему приведет эта смехотворная и необдуманная широкомасштабная охота. В стране развелось множество мелкой и порой опасной мошкары, от которой раньше людей благополучно избавляли, оказывается, те же воробьи.

При этом надо сказать, что в отсутствие воробьев урожай зерновых отнюдь не стал выше.

Вот еще один урок, который преподнесла людям природа.

Айтматов. Порой чей-то собственный эгоизм при соответствующих условиях порождает государственный эгоизм. Сколько из-за него удивительного утеряно нами в природе.

Но что пользы от запоздалых раскаяний?

Расскажу любопытную притчу. Одного инопланетянина, прилетевшего на нашу планету, спрашивают: «Как выглядит Земля сверху?» «Земля похожа на хрустальный дворец, в котором люди напоминают беспечных рогатых бычков», – ответил он.

Как метко сказано, не так ли?

Азбуку экологического воспитания мы должны начать преподавать с детского сада и школы. Детям необходимо с ранних лет понять, что бездушное и легкомысленное отношение к природе порождает большие беды.

Сказывают, будто и Солнцу, льющему свое благодатное тепло на Землю, суждено погаснуть. Выходит, состарилось оно. Не говоря уже о нас, ведь и Земля имеет свой век. И до-

сталось ей на этом веку немало. А помочь ей, спасти ее может лишь человек, его любовь к ней и милосердие! Только это может уберечь всех от возможной трагедии.

В нынешнее время государственный эгоизм, о котором я уже говорил, особенно распространен. Он заявляет о себе по принципу: «На моей земле я сам хозяин, что хочу, то и творю: хочу – высушу реки и озера, захочу – обращу поля в пустыни, вырублю леса и рощи, а то и спалю их вовсе – никто мне не указ!» Такая неразумная политика уже навредила окружающей среде и продолжает губить ее. Не надо забывать о том, что если в одном месте высохло озеро, это обязательно скажется на климате другого места и на флоре третьего.

Поэтому одной из главнейших обязанностей, стоящих перед человеческим обществом, является создание глобальной всемирной программы по защите природы.

Иначе наш хрустальный дворец может рухнуть, а все человечество уподобится Кожажа-шу, проклинаящему свое бездумье, жестокость и самонадеянность.

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Я самым наилучшим образом отношусь к творчеству Чингиза Айтматова. Что привлекает меня в этом писателе? Привлекает ум. Природа наделила его обширным умом. А ум в современной литературе – это все-таки главная ценность. Ум. А не всякого рода эмоциональные приспособления, более или менее эффективные, на что еще порой бывает падок современный читатель.

Сергей Герасимов, выдающийся кинорежиссер

Он ярко национален и тем прекрасен. Но одновременно сила его и в том, что он не замкнут в этой национальности, он шире и распахнутей, он вобрал в себя и еще общеземное и общечеловеческое.

Сергей Баруздин, известный русский писатель

С какой бы точки зрения ни рассматривали мы произведения Айтматова – со стороны содержания или сюжетного построения, или включаясь в тот разнообразный ряд литературных образов, который ему уже удалось создать, или же мы захотим проследить за его мыслью там, где она исторична, где ее истоком является легенда, а то наоборот, обратимся ко всему тому, что отражает прежде всего наш сегодняшний и, даже (по выражению не совсем удачному) представляет собой «взгляд в будущее», – всюду мы обнаружим ту же гармоничность, при которой все это есть, существует явно и ярко, но ничто не выпирает слишком сильно, ничто не угнетает, а все находится в соотношении, называемом безупречным чувством меры.

Сергей Залыгин, известный русский писатель

Собираясь высказать то, что я думаю о «Джамиле», я испытываю нерешительность. Но все же я скажу: для меня это самая прекрасная на свете повесть о любви... Короткая, но великая повесть. Повесть о любви, где нет ни одного лишнего слова, ни одной фразы, которые бы не нашли отклика в сердце человеческого...

*Луи Арагон, выдающийся французский писатель
и общественный деятель*

Чингиза Айтматова по праву можно назвать одним из самых глубоких умов среди величайших писателей XX столетия. Как художник, он наделен даром улавливать и предощущать сложнейшие конфликты, сокрытые в потаенных недрах бытия.

Рустан Рахманалиев

МАР БАЙДЖИЕВ

ОДНАЖДЫ ОЧЕНЬ ДАВНО

Повесть

Мой юный друг!

Я хочу рассказать тебе сказку, которую создал мой народ много веков назад. Послушай внимательно, ибо расскажу ее не для того, чтобы занять твое свободное время и оторвать тебя от каких-то важных дел, хотя знаю по своему опыту, что в юности все дела без исключения кажутся самыми важными. Но пролетят годы, и ты сам поймешь, что же было самым важным, самым главным в прожитой тобою жизни. Она пройдет через жестокое решето времени: отсеется все мелкое, незначительное, легковесное, и перед взором твоим, как чистые, ясные зерна, предстанут те события, которые питали твой разум и твое сердце. Это и будет испытанной, осознанной опытом жизни мудростью, которую ты обрел, пока шел по земле. Так происходит с каждым человеком, с каждым народом, государством – всем человечеством.

Свои познания о бытии человек всегда стремился увековечить на граните, папирусе и пергаменте, в устных творениях и печатных книгах, передавал их от поколения к поколению.

Я расскажу тебе древнюю сказку, которая сегодня очень похожа на правду. Итак, мой друг, слушай.

...В горах выла пурга. Красные скалы трещали от лютого мороза. С хребтов с гулом сползали тяжелые снежные лавины. Синий лед мертвой хваткой сковал горные потоки. С высокой каменной кручи застывшим водопадом спускалась ледяная глыба. Внизу, в пологой котловине, напоминающей чашу, до самого дна замерзло голубое озеро. Лежали запорошенные снегом мертвые птицы. Тощие волки, рыча, терзали оледенелую падаль.

В долине маленькой речушки, берущей начало из теплого родника, защищенной с обеих сторон высокими хребтами, приютилось десятка два убогих юрт – кочевье охотничьего рода ак-илбирс. Здесь было тихо. Только там, наверху, злая пурга срывала с далеких вершин охапки сыпучего снега, и белая пыль туманила желтый диск холодного солнца. Казалось, весь мир затонул в белой мгле. Снег засыпал юрты, из тундуков струился синий дымок – единственный признак жизни. Из крайней юрты едва доносился плач ребенка.

У входа в войлочный домик, свернувшись калачиком, дремал лохматый пес. Легкий холодный вихрь шевелил его злой седой загривок.

В ветхой юрте, покрытой сверху шкурами козорогов, горел костер. В большом черном казане кипела вода. У огня тянул трубку хозяин дома Касен – человек средних лет. Длинные волосы ниспадали ему на плечи. Рядом сидела девочка лет семи-восьми, облокотившись на колени отца. Узенькие черные глаза ее светились нездоровым голодным блеском.

Касен гладил голову девочки:

- Завтра откроется небо и пошлет нам пищу, потерпи...

- Ку-у! У-у! – стонал грудной ребенок.

Мать пыталась из смуглых мягких грудей выдавить струйку молока. С темного соска на губы младенца капнуло молоко, но малыш уже не реагировал: капелька потекла по его щеке. Женщина громко всхлипнула. Касен поднял на нее тяжелые глаза, взял руку ребенка, засунул ладонь под мышку – пульса не было... Он встал, набросил шубу и вышел. Холодный ветер начал трепать полог юрты, словно хотел затушить костер и лишит людей последнего источника жизни. Девочка на четвереньках доползла до выхода, отыскала сырмятный шнур и закрепила полог.

Проваливаясь в сугробы, Касен направился к красной скале, где зиял вход в каменный грот. Здесь жила старая Сайкал-эне со своим великовозрастным сыном. Она лечила от всех болезней, отгоняла злых духов, в трудные дни холода, засухи и голода вымаливала у всевышнего спасение и благополучие. Сайкал-эне была самым старым человеком охотничьего рода, а может, была старше всех людей, живущих тогда на киргизской земле, – ей было более ста лет. Однако, несмотря на столь преклонный возраст, она обладала ясной речью и мудростью, считалась матерью и старейшиной рода «белых барсов». Ее каменное жилище было похоже на дом старой колдуньи. У входа, как верные стражники, стояли каменные идолы. С потолка свисали палочки с древними письменами тайных знаков, засушенные змеи. На стенах торчали пучки разных трав и листьев, кудлатые гривы диких животных, чучело дикой козы. В центре грота сидела сама хозяйка. В огромном черном казане она кипятила целебные травы и корни, что-то бубнила себе под нос. У ног старухи тихо скулил ее сын Саяк. Ему давно перевалило за пятьдесят, у него были длинные седые волосы, седая жидкая борода, вислые усы, но глаза были детские, доверчивые. Саяк был юродивый.

- Сейчас, потерпи, малыш! Суф! Суф! Святая трава! Отгони от сына моего голод! – сказала Сайкал-эне, достала деревянную чашку, налила травяного отвара, протянула сыну. Юродивый поднял голову, прислушался к хрусту снега, взял чашку.

- Ау! – тихо, как ласковый нес, пролаял он и похлопал рукой по земляному полу.

Мать поняла, что кто-то идет, приоткрыла платок, обнажив ухо с огромной серебряной серьгой, прислушалась. Сайкал-эне была слепая. Вошел Касен.

- Сайкал-эне, небо хочет забрать моего сына, – сказал он.

Саяк подбежал к Касену, лизнул в щеку, в глазах его появились слезы. Тот ласково погладил юродивого за сочувствие.

Сайкал-эне налила в чашу горячий настой травы.

- Дай жене и сыну, – сказала она. Касен взял чашу и вышел.

Саяк спрятал лицо в коленях матери и заскулил. Старуха подняла руки к чучелу дикой козы, взмолилась:

- О Святая Кайберен! Ты всегда была добра к роду своему, давала нам мясо и жизнь. Попроси у неба немного солнца и тепла, не дай погибнуть моим и твоим детям!

Коза, чуть склонив голову, смотрела на старуху закостеневшими глазами, в них тускло мерцал отсвет костра.

Вдруг юродивый поднял голову, словно его осенила какая-то мысль. Он вышел за порог и, проваливаясь в сугробы, побежал к дальней юрте, где жил вождь охотничьего рода Кожожаш. Холодный ветер трепал жалкие лохмотья Саяка, взъерошенные седые волосы, но бедняга слабо ощущал жару и холод.

Дом Кожожаша мало чем отличался от других охотничьих юрт, разве что у входа была прибита голова дикого козла – знак того, что здесь живет вождь племени. На стенах висели шкуры волков и лис, на полу были расстелены медвежьи шкуры, на особом месте – луки со стрелами и дротики. У костра сидел полуобнаженный Кожожаш высокий, стройный, крепкого сложения. Длинные густые волосы его свисали до плеч; рядом его сын Калыгул – мальчик лет десяти, из-за пазухи его торчала головка щенка. Жена охотника – смуглая красавица Зулайка – деревянной поварешкой наливала в деревянные чаши жидкий бульон. Долго шаря в казане, она, наконец, достала маленький кусочек мяса, положила его на дасторкон из дубленой кожи, кивнула сыну, чтобы он пригласил деда, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами и походившего на мертвеца. Отец Кожожаша Карыпбай, унаследовавший от отца своего Ак-Ильбирса отвагу, дерзкий характер и меткий глаз, управлял охотничьим родом почти полвека. Однажды, выйдя на большую охоту, он натянул тетиву лука и вдруг заметил, что правая рука его дрожит, а пущенная стрела, лишь слегка поранив бок косули, упала на землю. Тогда Карыпбай понял, что к нему подкралась старость, забрала силы. Вечером он собрал старейшин и сообщил, что больше не может управлять родом. У вождя должны быть сила и другие достоинства, которых нет у других. К счастью, сын его Кожожаш был самым сильным и выносливым, самым добрым и справедливым, самым мудрым джигитом рода «белых барсов». А как охотнику ему не было равных, может быть, и на всей киргизской земле. Дротик он метал дальше всех, в убегающую козу он успевал всадить две стрелы – одну в шею, другую в ляжку.

Старейшины избрали Кожожаша своим вождем. Старая Сайкал-эне попросила у неба благословения, и юному Кожожашу охотники доверили свою жизнь и судьбу. Почти все вопросы Кожожаш решал единолично, а когда дело касалось жизни и смерти, он выносил это на суд старейшин во главе с Сайкал-эне.

- Ата! – позвал мальчик.

Старый Карыпбай открыл глаза, приподнялся на локтях. Мальчик поднес деревянный тазик. Из чугунного длинногорлого чайника полил ему на руки теплой воды. Старик вымыл руки, кивком головы поблагодарил внука. Женщина положила перед ним мясо. Старец

отрезал крохотный кусочек, остальное отдал мальчику, опять кивком приказал вернуть его Зулайке. Женщина вопросительно глянула на мужа.

- Старики легче переносят голод, – хриплым голосом сказал Карыпбай.

Кожожаш слегка кивнул жене. Она взяла мясо, отрезала сыну маленький кусочек, остальное отложила в сторону, видимо, не решаясь есть при свекре.

В юрту вошел Саяк, молча сел на почетное место.

Зулайка взяла деревянную чашу, отлила от каждого понемногу и поставила перед юродивым. Саяк посмотрел на мальчика и старика, которые медленно, со вкусом жевали мясо. Кожожаш кивнул жене, чтобы она угостила Саяка. Зулайка отрезала половину своей доли мяса и положила в чашу юродивого.

Саяк радостно заскулил, взял свою чашу и кинулся к выходу.

- Что ты задумал, малыш? – спросил Кожожаш. – Ешь сам! Саяк покачал головой и жестом изобразил плачущего ребенка.

- О, божья душа! Ну, неси, неси! – разрешил Кожожаш.

Саяк, держа перед собой дымящийся бульон и оставляя на снегу неровные следы, побежал к юрте Касена. Почти у самого порога он поскользнулся и упал, чашка опрокинулась, и все ее содержимое ушло в снег. Саяк приподнялся, начал лихорадочно шарить в сугробе в надежде найти кусочек мяса, но, не найдя его, сел на карточки и заплакал, как малое дитя.

Рыжий пес, лежавший у входа в юрту Касена, лениво поднял кудлатую голову в сторону реки и коротко пролаял, вернее, простонал:

- Оу-у!

Саяк поднял голову, и вдруг глаза его засветились радостью.

Там, на другой стороне речки, журчащей среди белых, укрытых снегом валунов, в белой мгле маячила одинокая фигура козы. От воды шел пар. Коза копытцем разбивала прибрежный ледок и щипала пожухлую траву, вмерзшую в грунт.

Саяк, прихрамывая и восторженно визжа, через сугробы поспешно направился к юрте Кожожаша.

Дикая коза с тревогой посмотрела на человека, но, увидев, что тот удаляется, успокоилась, опустила голову и принялась щипать мерзлую траву.

Кожожаш вышел из юрты, держа наготове лук со стрелой. Саяк осторожно, как кошка, перебежал от юрты к юрте, видимо, сообщал охотникам, что у стоянки появилась добыча.

Кожожаш, прячась за серые скалы и ледяные глыбы, начал пробираться к реке. Но как только он оторвался от последней юрты, коза заметила человека и устремилась вверх по склону. Охотник, по пояс, утопая в снегу, начал преследовать ее. Касен и еще два охотника с луками и дротиками двинулись за ним.

Из юрт высыпали изнуренные голодом и белой стужей старики, дети, женщины. Они смотрели вслед охотникам и молились:

- О небо, дай нам пищу! Не дай уйти добыче! Саяк возбужденно топтался на месте и радостно скулил. Он знал, что стрела Кожожаша не пролетит мимо цели.

Коза, разрезая мокрой грудью рыхлый, сухой снег, увлекаемая за собой преследователей, все дальше и дальше уходила от стойбища. Касен и охотники, не в силах двигаться быстро, остались далеко позади. За козой поспевал один Кожожаш.

И животное и человек были истощены зимним голодом, лютым морозом, но жажда жизни влекла обоих вперед.

Охотник несколько раз натягивал тетиву лука, но сильный боковой ветер уносил стрелу, она теряла убойную силу, падала в стороне. Временами человек в изнеможении па-

дал лицом в снег, лизал ледяную корку. Животное, заметив, что человек останавливался, переводило дыхание, пристально следило за ним: он мог в любой миг выпустить опасную стрелу.

Кожожаш собрал последние силы, устремился вверх чуть быстрее козы. Расстояние между ними сократилось настолько, что можно было стрелять. До вершины оставалось совсем немного, добыча могла уйти. Охотник припал на колени, задубевшими пальцами натянул тетиву лука. Засвистела стрела. Коза ткнулась головой в снег. Кожожаш радостно засмеялся, поцеловал лук, отбросил его в сторону и упал на спину, чтобы перевести дыхание.

Снизу, восторженно крича, карабкались Касен и охотники. Целая свора собак, утопая в сугробе, с визгом и лаем устремилась вверх. На стойбище обнимались айльчане и молились всевышнему:

- О небо! Мы благодарны тебе! Ты спасло нас от голодной смерти!

Саяк гордо бил себя в грудь, тряся лохмотьями, плясал и визжал от радости.

Кожожаш, довольный собой и удачей, раскинул руки и улыбался: он знал, что теперь пища будет, и люди продержатся до появления солнца. Ему представлялось, как они сидят вокруг костра, пьют горячий бульон. Он даже почувствовал запах вареного мяса – тонкие, чувственные ноздри его чуть заметно задрожали, но тут же до него дошел слабый стон, и он поднял голову.

Коза, оставляя за собой кровавый след, медленно шла вверх. Из левой лопатки ее, где торчало древко стрелы, сочилась струйка крови.

Собаки с визгом и лаем обогнали Кожожаша, начали преследовать козу, прижали ее к красной отвесной скале. Коза смотрела на них большими черными глазами, полными страха и обреченности.

Охотники, радостные и довольные, приближались к добыче. Все были уверены, что она не уйдет. Кожожаш вынул кинжал, на четвереньках пополз вверх. И вдруг глаза их встретились. Глаза человека и глаза животного. Коза смотрела на человека с мольбой. Животное тяжело дышало большим надутым животом. Из набухшего вымени ее бежала струйка молока. И человеку вдруг показалось, что это вовсе не животное перед ним, а беременная женщина с простреленной грудью. Только глаза ее были очень длинные и необычные. Кожожаш невольно зажмурился, упал лицом в снег. Когда он поднял голову, коза смотрела на него так, словно просила пощады и помощи. Из левой лопатки ее вытекала кровь. Кожожаш встал, добрался до козы, отогнал собак, вынул из лопатки животного стрелу, подставил ладонь под набухший сосок. Ладонь наполнилась теплым молоком. Он позвал за собой собак и пошел вниз.

Собрав последние силы, коза медленно начала уходить вверх по склону. От красной струйки на лопатке шел пар – кровь застывала на морозе.

Касен и охотники только теперь добрались до Кожожаша. Они готовы были растерзать его за то, что тот отпустил добычу. Кожожаш показал на молоко в ладони. Молодой охотник схватил лук, вставил стрелу. Касен отвел его руку.

- Люди умирают от голода, а мы жалеем скотину! – крикнул юноша.

- Она стельная, – спокойно сказал Касен.

Охотники спустились вниз, где ждали их старики, дети и женщины.

Коза шла по гребню скалы. На фоне белого неба четко вырисовывался ее черный силуэт.

Кожожаш вернулся домой, бросил у порога лук, стрелу, сел у огня, развязал вымокшие чарыки. Зулайка латала шубку из козьей шкуры. Калыгул помогал матери. Карыпбай лежал на почетном месте с закрытыми глазами.

- Почему ты отпустил козу, она поднялась на дыбы? – спросил сын.
Кожожаш молча смотрел на огонь. Перед ним возникли молящие глаза раненой козы, и вновь она превратилась в беременную женщину с длинными необычными глазами.
- Это была Святая Кайберен, – ответил Кожожаш.
- А как ты узнал ее? – хрипло спросил отец, не открывая глаз.
- Она превратилась в женщину, – ответил Кожожаш.
- Это плохая примета, – прохрипел отец.
- Это я знаю, – отозвался Кожожаш.
Зулайка перестала шить и с тревогой посмотрела на мужа.
- А что будет? – спросил мальчик, заметив страх Зулайки.
- Не знаю, – ответила мать.
- Ата, что будет, если встретить ее? – спросил мальчик у деда.
- Святая Кайберен – мать всех диких животных, она хозяйка всех наших гор, земли и воды. Она охраняет разумных и добрых. Тот, кто обидит или прольет ее кровь, будет проклят небом, исчезнет с лица земли со всем своим родом, – пояснил старец.
- Я искупил свою вину, отец. Я помог уйти ей живой, – сказал Кожожаш.
- Ты поступил правильно, мой сын. А ты, Зулайка, как только потеплеет, походи в Святую пещеру, помолись небу. Пусть оно простит твоего мужа за кровь Святой Козы, – сказал Карыпбай.
Зулайка послушно кивнула головой.
- Ой, родной мой! Ой, единственный мой! – послышалось за юртой.
Это вопила Батма, прижав к груди мертвого ребенка, завернутого в пеленки.
- Бери! Забери и меня-а! Проклятая зима! – кричала она, разрывая на себе платье, обнажив вислые пустые груди.
Касен подошел к жене, чтобы успокоить ее. Батма схватила его за шубу.
- Будь проклят день, когда я пришла к тебе! Неужели я вышла замуж и пришла сюда, чтобы погибнуть от голода и стужи?! Уйдем к моим родным, в долину, там есть мясо и хлеб. Там тепло! Ты слышишь? Уйдем, пока не подошли все!
Касен молча гладил ее распущенные волосы. Он был не в силах что-либо ответить и помочь материнскому горю... Студеный ветер уносил вопль женщины вдаль, с размаху швырял на ледяные скалы, искаженным страшным эхом возвращал назад, чтобы ни бог, ни солнце не слышали о земных страданиях живых. Из юрт высыпали изнуренные люди, молча смотрели на Батму. Никто не отвечал ей, не утешал.
- Пусть накричится – легче станет, – сказала старая Сайкал.
В каменном доме Сайкал-эне собрались старейшины рода. Старуха, как идол, восседала на почетном месте рядом с чучелом серой козы, которая невидящими глазами смотрела перед собой.
- Сайкал-эне, небо не шлет нам ничего, кроме снега и холода. Кони наши подошли от джута. Надо спуститься в долину, просить у кочевников мясо, иначе погибнем, – говорил Кожожаш. – Атантай откочевал в верховья Ак-Сая. Пешком три дня пути. Если он даст лошадей, два дня пути назад. За пять дней умрут все наши дети. К Мундузбаю надо идти через ледяной перевал. Тот, кто пойдет, может погибнуть, и волки не оставят его следов.
Присутствующие опустили головы, молчали. Все ждали, что скажет старая Сайкал-эне.
- Надо идти к Мундузбаю, другого спасения нет. Пусть пойдут двое! Кто? – спросила старуха и протянула вперед сухую, как саксаул, руку.

Все подавленно молчали – никто не хотел рисковать жизнью. Кожожаш обвел взглядом сидящих охотников – ни звука, ни движения. Он поднялся, подошел к старухе, опустился на колени. Она провела ладонями по его лицу.
- Кожожаш? Кто рядом? – спросила она, поводя рукой в пустоте.
- Я пойду сам, – ответил Кожожаш.
- Один погибнешь, – сказала старуха и слегка оттолкнула его от себя.
- Я, – сказал пожилой охотник Тугел.
- Ты стар, – сказала мать-Сайкал.
- Я, – сказал худощавый охотник.
- Калыс? Подойди ко мне, – позвала старуха. – Дай мне твою левую руку. Охотник Калыс подошел к ней, протянул левую руку.
Сайкал-эне взяла его за кисть, нащупала пульс.
- Ты истощен голодом, – заключила она.
С места поднялся Касен, опустился рядом с Кожожашем. Старуха провела рукой по его лицу.
- Касен, берегите друг друга, – сказала она.
Старуха взяла деревянную чашу с жидкостью, щепотью отдала каплю небу, вторую – земле, третью – Серой Козе, остальное протянула охотникам. Кожожаш поцеловал руку старухи, сделал глоток из чаши, передал Касену, тот сделал глоток и возвратил старухе.
Сайкал-эне подняла руки к небу:
– Да будет гладким ваш путь, да будет вашим спутником дух предков. О небо, храни моих детей! О Святая Кайберен, хозяйка воды и гор, – обратилась она к чучелу козы, – укажи им верный путь в своих владеньях, не дай заблудиться в Великих горах, не оставь нас без обоих крыльев.
Слова старухи повторили все. Саяк заскулил, ласково лизнул ее сухую шершавую руку.

Была пурга, заметая землю и небо снежной пылью. Кожожаш и Касен, держась за руки, почти на ощупь спускались вниз. Касен поскользнулся, провалился в сугроб, друг с трудом вытащил его. Путь был долгий и длинный, несколько раз они попадали под снежные лавины, грелись под скалами, вставали, снова шли.
День близился к концу. Пурга усилилась. Крепче стал мороз. Охотники в изнеможении опустились на лед, чтобы перевести дыхание. Касен повернулся к Кожожашу и увидел, что тот засыпает. Он вскочил на ноги и изо всех сил начал трясти его.
- Не надо... не надо... дай поспать, – бормотал Кожожаш.
- Вставай! Ты замерзнешь! – кричал Касен, натирая ему снегом лицо, голову, грудь. Кожожаш постепенно пришел в себя и, как медведь, начал ползать на четвереньках.
Он ползал до тех пор, пока от его головы не пошел пар.
Наконец они добрались до Синего перевала. Здесь высились причудливые ледяные скалы, зияли глубокие щели и обрывы. Охотники привязали к ногам железные когти, шаг за шагом начали преодолевать опасный путь. Малейшее неловкое движение могло окончиться гибелью обоих. Они были связаны крепким волосяным арканом. Надо было добраться почти до самого края ледяной площадки, по кромке соскользнуть вниз. Под ними зияла бездонная пропасть. Кожожаш, как огромный змей, полз по гладкому льду, следом двигался

Касен, придерживал его – цеплялся за маленькие ледяные уступы и впадины. Вдруг Кожожаш не удержался, поскользнулся и увлек за собой Касена. Тот ухватился за льдину, но она оказалась хрупкой, и оба охотника, как на салазках, устремились по ледяной глади вниз. Тщетно пытались они удержаться за какой-нибудь выступ, их неумолимо несло к обрыву. Пронзительный крик потряс горы, страшным эхом отозвался из черного ущелья.

С противоположной кручи сорвалась лавина, и наступила могильная тишина. Сквозь морозный туман равнодушно просвечивал желтый диск холодного солнца. Кожожаш висел над пропастью. Его удержал волосяной аркан.

- Брат Касен! Брат Касен! – звал он, но тот не отвечал. Касен застрял между двумя глыбами льда, с виска его стекала кровь. Он был без сознания.

Кожожаш понял, что настал его последний час.

- Святая Кайберен, хозяйка воды и гор, прости! Я не узнал тебя и нанес рану, пролил на землю твою святую кровь. Пусть твоё проклятье кончится на мне. Оставь в живых единственного сына и мой род! – взмолился Кожожаш и заплакал.

Касен медленно пришел в себя, окровавленными руками пытался подтянуть аркан, но не мог. Аркан скользил в его руках.

- Брат Касен, режь аркан! Спасайся! Если не дойдем до кочевья Мундузбая, погибнем оба, и весь наш род погибнет от голода. Режь! Не жалея меня! Мне спасения нет! Я проклят Серой Козой! – кричал Кожожаш.

Касен попытался встать на ноги, но глыба льдины, за которую он держался, угрожающе затрещала. Нож вместе с поясом и походным куржуном лежал чуть в стороне.

- Брат Касен! Режь аркан! – кричал Кожожаш снизу. – Спасайся! Касен через силу карабкался к ножу, его подгоняли крики Кожожаша.

- Я знаю! Ты не хочешь убивать меня! Меня не жалея! Пожалей наших детей, жен и матерей! – умолял тот.

Кожожаш попытался развязать крепление на поясе, но узел был завязан намертво, и тогда охотник начал грызть волосяной аркан.

Касен осторожно подбирался к ножу.

Кожожаш неистово грыз аркан, по щекам текли слезы, с подбородка стекала кровь.

Тем временем нож оказался в руках Касена, и он начал выбивать во льду лунки – одну, вторую, третью, продвигаясь все ближе к Кожожашу.

Аркан был колючий и поддавался тяжело. Из рта Кожожаша шла кровь, но он продолжал грызть тонкие волосяные нити. Еще немного, и Касен освободится от непосильного груза. Кожожаш обессилел, скулы его стянуло судорогой. Аркан начал медленно расплетаться... Касен зацепился за лунку, подтянулся на ладонь, уперся во вторую лунку, подтянулся еще. Аркан расплетался, и теперь их соединила лишь тонкая полоска. Волоски начали лопаться, и в тот миг, когда смерть неотвратимо глянула ему прямо в глаза, Кожожаш почувствовал вдруг, как натянулся аркан, и успел ухватиться за его конец. Касен сделал очередную зарубку и из последних сил подтянул аркан к себе.

Громкий хохот потряс горы. Оба друга сидели на краю нижней кромки льдины, исцарапанные в кровь, но радостные и счастливые оттого, что победили смерть. Где-то сверху слышался сильный гул. Охотники увидели, что прямо на них движется лавина. А через миг потонуло в снежной пучине...

Кругом царило белое безмолвие. Солнце освободилось от тумана и залило землю ослепительным светом. На белой снежной глади появилось два темных пятнышка: голова Кожожаша, за ним – Касена.

Прошло немного времени, пока охотники вылезли из-под снега. Они привязали ко лбу защитные кисти из черного конского волоса и двинулись в путь. Друзья шли по ущелью, выбирались на косогор, спускались вниз. Поняв, что давно сбились с пути, продолжали идти, надеясь на свое чутье, пока не иссякли последние силы.

Охотники лежали на снегу не в состоянии двигаться дальше.

- Смотри! – вдруг крикнул Касен и схватился за лук.

Кожожаш открыл глаза и увидел чудо: прямо над ними на возвышенности стояла коза.

- Не надо! – успел крикнуть Кожожаш и схватился за стрелу.

Коза скрылась за бугром. Охотники, проваливаясь в сугробы, устремились за ней. Но козы не было, остался лишь ее след. Было видно, что она прошла только что, и обессиленные люди уже не шли, а ползли по козьему следу. След обогнул белую скалу, и вдруг глаза охотников засияли. Там, внизу, плескалось лазурное озеро, на берегу стояли юрты. Из тундуков струился синий дымок, на лугах чернели табуны и отары. В долине было тихо, уютно, тепло.

- Вот она! – крикнул Кожожаш.

Высоко над ними, на горной вершине, на фоне едва заметного солнца вырисовывался четкий силуэт козы.

- О Святая Кайберен, хозяйка воды и гор! – взмолились охотники. – Спасибо тебе!

Белую юрту правителя рода Мундузбая можно узнать сразу. Она отделана богатым ярким орнаментом как снаружи, так и внутри. Сам бай – красивый, крепкий человек лет пятидесяти, с бритой головой, в богато расшитых одеждах, облокотившись на цветные подушки и потягивая длинную трубку, читал книгу мудростей Юсуфа Баласагунского.

В юрте было уютно и тепло, пахло вкусной пищей. В казане варилось мясо. У бая было две жены. С первой он прожил десять лет, но не имел детей, поэтому с ее разрешения взял вторую жену: привел в дом дочь бедняка из соседнего аила, прожил с ней пять лет, но ребенок так и не появился. Жены, как и полагается, жили в разных юртах – старшая в большой, младшая в меньшей, иногда они собирались в большой юрте. Старшая жена – сорокалетняя Бегаим, женщина с красивым надменным лицом была занята вышиванием. Младшая – милостивая курносая Айке, стоя на коленях, месила тесто.

- Хозяин дома, почему не расскажете своим женам о мудростях, написанных в книге? – сказала ласковым, журчащим голосом старшая жена, не отрываясь от рукоделия.

- А это очень интересует вас? – спросил Мундузбай, отложив книгу.

- Разве хозяин дома не знает, что его жен интересует все, что интересует его? – лукаво спросила Бегаим. – Не так ли, сестра?

Айке застенчиво кивнула.

- Это книга мудростей. В ней говорится о том, как быть счастливыми, – ответил бай и начал читать:

В обширном крае хана-мудреца
Жил мирно волк и рядом с ним овца.
В его владеньях общею тропой
Ягненок с волком шли на водопой.

- О-у! – воскликнула старшая. – Как это можно?

- В этом-то вся тайна, – ответил бай.

За юртой залаяли собаки и, судя по удаляющемуся звуку, побежали в сторону гор.

Бегаим набросила на плечи шубу и вышла наружу. Айке тут же подбежала к мужу, опустилась на колени и подставила шею для поцелуя. Мундузбай поцеловал и с наслаждением понюхал ее волосы.

- О моя ласковая, дождусь ли я, когда от тебя запахнет грудным молоком? – сказал он.

- Все зависит от вас, – лукаво ответила Айке, оглянувшись на дверь и жадно вытянула губы, прося трубку.

Мундузбай, не выпуская из рук, протянул ей кальян. Молодка затаилась, с наслаждением зажмурила глаза, попросила еще.

- Хватит, маленьким нельзя, – бай ласково погрозил ей пальцем.

- Ну да-айте, – по-детски взмолилась женщина.

Мундузбай вновь протянул кальян. Айке затаилась и в знак благодарности подставила шею для поцелуя.

Вошла Бегаим и молча остановилась у порога. Мундузбай не решился при старшей жене поцеловать Айке, потрещал ее по щеке.

Айке встала, с вызовом прошла к чыгдану, с гордым и независимым видом продолжала месить тесто.

- Бай-аке, к нам идут какие-то странные люди, – с тревогой сообщила Бегаим. Мундузбай на всякий случай снял со стены меч и сунул его под тахту, на которую были сложены стеганные одеяла.

Собаки загалдели у самого дома. Открылся полог юрты.

- Ассалам алейкум! – в юрту вошли охотники.

- Ой! – в страхе вскрикнула Айке.

Пришельцы едва держались на ногах. Одежда и обувь на них оледенели, на усах и бровях настыли сосульки. Вид у них действительно был пугающий.

- Не узнали? – спросил Касен. – Мы «белые барсы».

- Что-то мало похожи на барсов, – засмеялся бай.

Женщины хихикнули. Кожожаш зло посмотрел на них. Те притихли.

- Постой, постой! А ведь действительно «барсы»! – воскликнул Мундузбай. – Брат Кожожаш! Зять Касен?!

- Бай-аке, – обратился к Мундузбаю Кожожаш, – дайте нам двух лошадей и мяса. Весной вернем шкурами волков и куниц.

- А если я вам дам не две, а сто лошадей? – лукаво прищурился бай, испытующе глядя на охотников. Те опешили: не ожидали такого щедрого посула. А Мундузбай продолжал раскручивать нить своего замысла: – Ойроты вновь подняли головы. Спускайтесь в долину, мы с вами сколотим крепкую руку, нападём на Дондок-батыра, угоним его табуны, и у каждого охотника будет по три лошади.

- Охотники на людей не нападают. Такова наша святая клятва, – произнес гордо Касен.

- А если ойроты нападут на вас?

- Будут уничтожены!

- Хорошо, – неожиданно смягчился бай, – выберите себе полсотни лошадей. Весной, когда расцветут тюльпаны, приезжайте на девичьи игры. Пусть джигиты наши потянутся в силе и ловкости, а девушки покажут свою красоту и наряды. Если появится незваный гость, надеюсь, не откажете в поддержке?!

- Барсы не дадут вас в обиду, бай-аке! – поклялся Кожожаш.

Айке с восхищением посмотрела на молодого охотника, о котором, видимо, слышала не однажды. Женщина ждала ответного взгляда, но Кожожаш словно не замечал ее.

- Байбиче, накормите гостей, – распорядился бай. – Спасибо, джене, мы сыты, – глядя на Бегаим, гордо отказался Кожожаш, хотя глаза его слезились от вкусного запаха мяса, идущего от кипящего казана.

- Не отведаешь пищи из рук хозяйки – путь твой будет неудачным, – сказала Бегаим.

Айке тем временем налила в фарфоровые пиалы дымящийся бульон и протянула охотникам. А те смотрели друг на друга и не принимали пищу.

- Не смущайте руку юной хозяйки, – сказал бай.

Кожожаш поднял голову. Айке действительно была юной и прекрасной. Она лукаво улыбалась и держала перед ним белую пиалу. Глаза их встретились. Кожожашу ничего не оставалось, как принять из ее рук пиалу и поблагодарить.

Бегаим крошила мясо, Айке резала лапшу. Глаза у нее были удлинённые и необычные. Кожожашу показалось вдруг, что он видел эти глаза, когда ранил дикую козу, и животное глянуло на него с мольбой и страхом.

Гости размлели от тепла, горячей и сытной пищи.

После бешбармака Мундузбай приготовил кальян и протянул Кожожашу.

- Что это? – удивился охотник.

- Ханский табак. Придает человеку бодрость и доброту, – пояснил Мундузбай. Кожожаш взял кальян, затаился.

- Хорошо? – спросил бай.

Кожожаш расплылся в широкой блаженной улыбке и затаился еще раз...

Джигиты Мундузбая, оглашая окрестность гортанными срывающимися криками, носились за табуном. Наконец они отбили тучных кобылиц, догнали у самых гор и начали ловить, набрасывая на них укурук – петлю на длинном шесте.

Когда Мундузбай и гости вышли из юрты, ветер подул со стороны белых хребтов и нагнал в долину снежные пушинки.

Получив лошадей, охотники двинулись в обратный путь. Отъехав от байского аила на почтительное расстояние, Кожожаш оглянулся. У юрты стояла одинокая женская фигура, едва различимая сквозь белый туман легких снежинок. Охотнику показалось, что он очень близко видит ее горячий взгляд, и ему вновь почему-то вспомнилась женщина, которая пригрезилась ему в облике раненой козы.

Айке долго смотрела вслед уходящим охотникам, смотрела до тех пор, пока они не слились с горами, потом взяла ведра и медленно пошла к реке. Высокая, стройная и, кажется, влюбленная...

Ночью прекрасной Айке не спалось. Она лежала в своей белой юрте с открытыми глазами, по щекам ее текли слезы.

- Что случилось? – в тревоге спросил Мундузбай. Вместо ответа женщина прижала его руку к своему лицу.

- Тебя обижает Бегаим? – спросил бай. Айке отрицательно покачала головой.

- Может, ты недовольна своей жизнью? Такое даже не снилось ни тебе, ни твоим полунимцам, – обиженно сказал бай.

- О бай-аке, разве счастье только в достатке?.. Когда я слышу детские голоса, у меня ноют соски... А когда вы уходите к сестре Бегаим, я прижимаю к груди вот это, – она показала самодельную куклу, завернутую в одеяло. – Иногда среди ночи мне кажется, что она плачет, я вскакиваю, обнажаю грудь, а она не берет и молчит как мертвая, – заплакала Айке.

- Что делать, сердце мое! Бог не дает нам детей. Я страдаю не меньше тебя. Годы идут, а в доме моем тишина. Когда сомкну глаза, родственники растащат скот, а враги разорят мой род. А ты у меня совсем молодая...

Айке спрятала свое красивое лицо на груди мужа.

В долине свистел ветер, готовый вырвать колья и оторвать юрту от земли. Женщине показалось, что их войлочный домик, как перекасти-поле, несется по холодной бескрайней пустыне...

Все, кто мог ходить, собрались у юрты Кожожаша. Касен вывел кобылицу на площадку, связал ей ноги волосяным арканом, трое мужчин потянули за конец. Кобылица со стоном повалилась на бок.

- Омин! – Касен воздел руки к небу, провел ими по лицу. Все мужчины повторили его жест. Касен взялся за нож.

Карыпбай лежал в юрте и едва дышал. Калыгул смачивал ему губы свежей кобыльей кровью. Старик медленно слизывал ее языком.

Когда туша кобылицы была разделана, старик Калыс начал делить мясо на каждую юрту: в каждую кучку он бросал по равному куску мяса, по равному куску жира, по равному куску внутренностей.

Разделив мясо, привели слепую Сайкал-эне, усадили возле расстеленной шкуры, где лежали кучки мяса.

Калыс взял долю мяса и спросил:

- Кому?

- Брату Касену, – ответила старуха. Касен взял свою долю, понес домой.

- Кому?

- Брату Тугелу.

- Кому?

- Брату Карыпбаю. Кожожаш взял свою долю.

- Кому?

- Малышу!

Саяк взял мясо, подбежал к матери, лизнул ее в щеку. Старуха ласково потрепала его за ухо.

Когда мясо было роздано, Калыс вышел в центр.

- Кто обижен? – спросил он.

- Никто, – ответили ему.

- Пусть мясо это превратится в кровь и силу! – благословила старая Сайкал. И вскоре из всех юрт заструился синий дымок.

...Алые языки пламени облизывали черное днище казана, где варилось мясо. Зулайка заиграла на деревянном губном комузе. Над горами поплыла тихая несложная мелодия. Она нарастала, добавляла к себе новые звуки, новые краски.

Кожожаш сидел у огня и слушал мелодию. На коленях его дремал Калыгул. Перед его глазами возникло прекрасное лицо молодой жены Мундузбая. Она улыбалась, обнажив белые ровные зубы. И глаза у нее были необычные...

С прозрачной сосульки застывшего водопада упала жемчужная слезинка, полетела вниз, в чашу, со звоном разбилась о гладкую поверхность голубого льда. Прозвенела вторая, третья... десятая капля... Зашумел водопад.

Солнце! Оно сияло на ледяных пиках далеких хребтов, отражалось от красных скал. Реки, горы, белые долины, синие еловые леса, юрты, лица людей – все было залито ослепительным солнцем! Зацвели тюльпаны. Защебетали птицы. Зазеленели склоны. С ледников хлынули дремавшие доселе бурные потоки.

На лужайке появилась Серая Коза с двумя козлятами. Ее можно узнать сразу: у нее светлее окраска, прихрамывает на переднюю ногу. На возвышенности, вскинув могучие рога, застыл вожак стада – старый козерог Ала-Баш. Ни запах, ни звук опасности не пройдут мимо его широких ноздрей и чуткого уха. Но Кожожаш хитрее старого Козерога. Кошачьей поступью он крадется к стаду. Вот он натянул тетиву, нацелился в Серую Козу. Коза подняла голову и посмотрела в сторону охотника. Он узнал ее и невольно перевел лук на другую жертву. Засвистела стрела. Молодой козерог покатился вниз по склону. Прямо перед Кожожашем появился козленок и застыл в страхе.

- Топай! Топай! Мал еще! – сказал Кожожаш и озорно свистнул.

Козленок дал стрекача. Охотник, довольный, засмеялся, оглушая горы. Стадо устремилось вверх. Впереди мчался седогрудый Ала-Баш. Стадо скрылось за склоном. Кожожаш поднялся во весь рост. Козероги вытянулись в цепочку и мчались так, словно у них выросли крылья. Они прыгали через ущелья, через кочки, камни и речки. Серая Коза с двумя козлятами мчалась чуть в стороне. Кожожаш невольно залюбовался красивым, стремительным бегом стройных животных.

Охотники шагали домой, увешанные дичью. Кожожаш нес на плечах козерога. На поясах других охотников болтались серые зайцы, на плечах трепыхались живые куропатки. Казалось, прибавь еще несколько таких серых крылышек, и люди поднимутся над землей. На встречу с шумом и восторженными криками выбежали мальчишки и кудлатые псы.

У подножия серой горы зияла большая пещера. Ветер трепал одинокий кустарник, увешанный разноцветными тряпочными лоскутиками. Из пещеры доносился гул женских голосов. Внутри пещера представляла собой затейливые сталактитовые катакомбы. С потолка свисали причудливые сосульки, падали жемчужные капельки. Внизу плескалась теплая вода, шел легкий пар, где-то бурлил горячий родник. Сквозь отверстие в потолке падали косые лучи. Под каждым лучом по пояс в воде стояла обнаженная женщина и «держала» в ладонях свое маленькое солнце. Ловила свой солнечный луч и жена Кожожаша Зулайка.

Мать-Сайкал, как каменный идол, сидела в глубине пещеры.

- О святая мать-Умай – покровительница младенцев! – говорила она, подняв руки к лучу солнца, падающему с потолка пещеры. – Не откажи моим дочерям и снохам в счастье родить сына! Не откажи испытать гордость материнства!

Женщины, подняв руки к солнцу, повторяли заклинания старухи.

- Пошли, о создатель, зачатъе, чтобы вырос плод во чреве, и чтобы живая кровинка пуповины упала на землю предков! – молила другая.

- Береги детей моих от злых духов, от смерти и увечий войны, – говорила старуха.

- Небо и духи предков, храните землю нашу и наш род от набегов!

- Небо и духи предков! Дайте разум вождям родов наших, не дайте погибнуть брату от брата...

- О святая мать-Умай, храни душу и сердце от соблазна, храни брачную постель в святости, в чистоте и сохранности.

- Храни огонь в моем доме! Храни от стужи и голода моего сына, моего верблюжонка, храни отца его от злых духов, храни его от любви и нежности другой женщины. О Святая Кайберен, хозяйка воды и гор, прости мужу моему за его проступок, он не узнал тебя зимой и нанес тебе кровавую рану, не накажи его слепотой, увечьем и гибелью, – шептала Зулайка.

- О прозрачная вода! Очисти душу и тело! Пусть болезни и страдания растворятся в твоих теплых, чистых потоках! – молила старуха.

Женщины произносили заклинания вразнобой, по самые плечи погружаясь в теплую ключевую воду. Голоса их, как большие птицы, попавшие в колодец, бились о стены и воды пещеры, сплошным гулом наполняли пустоту, и через отверстия, откуда виднелся кусочек голубого неба, уносились к белеющим пикам Великих гор и дальше, видимо, к богу.

Выйдя из пещеры, женщины, уже одетые и гладко причесанные, в белых и красных платках, оторвали с подолов своих платьев лоскутки, привязали к «святому кустарнику», затащили тихую грустную песню и по одинокой тропинке двинулись вниз.

Карагул с мальчишками играл на лужайке. Вместе с ними резвился черный, лохматый теленок яка. Мальчишки залезали на спину яка, падали, кувыркались на траве. Серая Коза с двумя козлятами паслась где-то рядом, любовалась детьми.

С высокой скалы низвергался водопад. В Голубой Чаше купались Кожожаш и Зулайка. Они резвились и играли, как могут играть счастливые дети природы. Солнце согревало их теплыми лучами, шелковистая лазурь горного озера ласкала их смуглые гладкие тела. Мириады жемчужных брызг окружали их радугой. Сочные травы, пахучие горные цветы, раскидистые кустарники диких ягод укрывали их от посторонних глаз. Они были родными, вольными, вечными жителями Великих гор.

Кожожаш лежал на траве и смотрел на плавающие причудливые облака. Зулайка опустилась рядом, ласково обняла мужа, но он, кажется, даже не заметил ее прикосновения. Перед его глазами стояло прекрасное лицо Айке. Она улыбалась, обнажив белые, ровные зубы. И глаза у нее были необычные...

- Кожожаш, – тихо позвала Зулайка. Кожожаш вздрогнул и посмотрел на нее.

- Кого ты сейчас видел? – спросила Зулайка.

- Святую Кайберен, – ответил Кожожаш.

- Ты боишься? – спросила она.

Кожожаш задумчиво кивнул головой в ответ.

- Я помолилась небу, оно простит тебя, – сказала Зулайка. Кожожаш обнял ее большой, сильной рукой...

К Голубой Чаше подошли олени и начали пить воду.

Присутствие людей, видимо, не смущало их – здесь никто никогда не обижал животных...

Подпоясанный арканом Калыгул спускался вниз по крутой скале. Карыпбай стоял наверху, держал конец аркана, подстраховывал внука, с волнением наблюдал за каждым его движением. Мальчик добрался до гнезда, достал неуклюжего лохматого беркутенка и начал подниматься вверх. Над ним угрожающе закружилась орлица. Она пикировала над самой головой мальчика, тот отмахивался палкой. Калыгул выпустил несколько стрел, птица улетела прочь.

В капкан попался снежный барс. Охотники с рогатинами и веревкой окружили его. Барс страшно скалил острые как нож зубы. Зеленые глаза его смотрели на людей со смертельной ненавистью. Неистово рыча, он бросался на каждого, кто приближался к нему. Его длинный, пушистый хвост с черным кончиком извивался, как огромная змея. Касен подошел к барсу ближе всех, сунул в пасть конец палки. Барс схватил палку и начал грызть ее. Другой охотник изловчился и набросил на когтистую лапу зверя петлю. Кожожаш в один миг схватил извивающийся хвост. Теперь хищник был не опасен. Охотники туго затянули лапы, поперек открытой пасти засунули сук, накрепко перевязали барса и понесли на палке...

В долине буйно расцвели желтые тюльпаны. Аил Мундузбая выглядел празднично, белые войлочные дома были украшены свежими орнаментами. Люди одели свои лучшие одежды, нарядили коней, набросили на них яркие попоны, надели сбруи и уздечки, отделанные чеканкой из серебра и латуни. В центре аила стояли двухколесные тележки с фургонами. В одной из них сидел купец в чалме и длинном халате. Со всех юрт выходили айльчане, несли купцам войлочные коврики, дорожки, сшитые из козьих шкур, статуэтки из кости, кожу, украшения для лошадей и прочие поделки, меняли свои изделия на женскую одежду, чай, фаянсовую посуду и сладости.

Возле большой юрты Мундузбая были поставлены еще две юрты, одна белая – для невесты, другая серая – для гостей. В юрте бая собрались именитые аксакалы рода. На почетном месте на атласных подушках восседал толстый купец в шелковых одеждах, рядом с ним красивый юноша в расшитом халате, в белой чалме – видимо, жених, чуть поодаль еще два гостя – один долговязый, другой маленький, проворный. Перед гостями был расстелен обильный дасторкон. В длинных бутылках поблескивала рисовая водка.

- Родные, мы давно знаем и уважаем купца Султанбека. Он привозит нашим детям и женщинам одежду и украшения, поит нас чаем и кормит сладостями. Но сегодня он прибыл к нам с важным делом. Он просит отдать мою сестру Жаркын за его сына. Каков будет наш ответ? – спросил Мундузбай.

Старцы степенно молчали. Наконец поднял голову седобородый Бектен.

- Мы хорошо знали и дружили с отцом Султанбека, ты дружишь с ним самим, теперь, видать, бог решил породнить нас. Коли пришел покупатель – товар надо отдать, – важно произнес старец.

- Что скажут аксакалы? – обратился Мундузбай к сидящим.

- Мы согласны, – отозвались старцы.

- Чтобы наш друг и сват остался доволен, помимо перечисленного приданого, я передам всю прислугу – трех лучших джигитов вместе с их женами. Они будут помогать молодым по хозяйству. Каков будет ваш совет? – спросил Мундузбай.

Старцы молчали. Никто не ожидал, что бай решил преподнести своему свату столь дорогой подарок.

- Ты выдаешь сестру и волен дать ей любое приданое. Провожать девушку вместе с ее прислугой – обычай наших предков, – сказал старый Бектен.

- Передайте их родителям, что каждая семья получит за них возмещение, – сказал Мундузбай.

В аил въехали Кожожаш, Касен, на жеребчике – Калыгул, за ними десятка два охотников, вооруженных луками и дротиками, девушки в самотканых одеждах, с маленькими луками. На руке мальчика восседал белый сокол.

В конце весны юноши и девушки рода ак-илбирс спускались в долину на девичьи игры. Здесь они встречались, влюблялись, договаривались о женитьбе. Брак внутри рода был строжайше запрещен.

- Здравствуйте, тетушка. Что за праздник у вас? Уж не третью ли жену берет ваш бай? – спросил Касен у женщины.

- Купцы приехали из Кашгара байскую сестру сватать. Начались девичьи игры, – ответила женщина.

Охотники двинулись к юрте Мундузбая. Стройные, молодые, красивые. Ватага мальчишек бежала за ними.

- Белые барсы едут! Охотники едут! – кричали они.

Из юрт выходили любопытные. Девушки смотрели на охотников с тихим восхищением, лукаво перешептывались, приветливо улыбались. Джигиты аила смотрели на стройных гордых девушек, подбирали себе невест.

Кожожаш и Касен подошли к гостевой юрте. Навстречу вышла Айке и приветствовала их поклоном. Увидев ее, Кожожаш смутился, невольно прикрыл рукой заплатку на рукаве.

Айке подошла к мальчику и поцеловала в щеку.

- Чей ты сын? – спросила она.

- Кожожаша, – ответил мальчик.

Айке молча прижала Калыгула к груди и тут же отошла, словно боялась выдать свои чувства к его отцу.

- О-о, вольные охотники пожаловали! – обрадовался Мундузбай. Калыгул вручил баю сокола.

- Пусть будет крепким путлице вашего сокола! – сказал Кожожаш.

- Спасибо, сын мой, – Мундузбай поцеловал мальчика. – А это мой подарок тебе! – он снял свой широкий пояс, украшенный серебряной чеканкой. – Будешь носить, когда станешь настоящим джигитом.

Касен вывалил из курджунов великолепные шкуры снежных барсов и куниц. У гостей разгорелись глаза.

- Принимай, байбиче, подарки! – обратился Мундузбай к старшей жене.

- О-о! – восхитилась Бегаим.

Купцы похвалили шкуры, начали рассматривать их и переговариваться между собой.

- Мы прибыли на девичьи игры и привезли свой долг! – с достоинством произнес Кожожаш.

- Пусть барсы твои располагаются в гостевых юртах, – сказал Мундузбай. – Девушек поместите в белой девичьей юрте. Байбиче, налей-ка им жидкого огня, – приказал он.

Бегаим, приветливо улыбаясь, налила гостям водки. Касен поднес пиалу к губам – неприятный запах рисовой сивухи ударил в нос. Он поморщился и вернул пиалу хозяйке. Гости рассмеялись. Кожожаш с вызовом посмотрел на иноземцев, залпом осушил свою чашу, и страшная гримаса исказила его лицо. Охотник выбежал за дверь. Раздался взрыв хохота.

- Точь-в-точь, как вы в первый раз, – сказала Бегаим. Мундузбай смеялся до слез, но вдруг замолк и уставился на дверь. Кожожаш держал натянутый лук.

- Это яд! – сказал он, глаза его горели лютой ненавистью. – Ты хотел погубить нас! Мундузбай захохотал еще пуще, взял бутылку, сделал несколько глотков из горла и налил жене.

Бегаим выпила с удовольствием. Кожожаш опустил лук. Калыгул осторожно спрятал свой маленький лук. Никто не заметил, когда он успел достать его.

- Налей ему с медом, – приказал бай.

Жена налила охотникам из другого сосуда. Кожожаш и Касен переглянулись и нехотя выпили. Касен блаженно погладил живот и протянул пиалу.

- Еще! – попросил он.

- Э! Пока хватит! Пусть дойдет до сердца. А потом еще! – засмеялся Мундузбай. Толстый купец что-то шепнул долговязому.

- Ваш уважаемый сват интересуется, нет ли у охотников весенних рожек маралов и пятнистых оленей? – спросил долговязый.

- Охотники едят мясо, рога они не едят! – рассмеялся Кожожаш.

- Нам нужны рога, в них содержится мужская сила, – невозмутимо ответил долговязый.

- В рогах мужская сила? – теперь уже захохотал Кожожаш. – А куда вы свою девали? Видимо, выпитая водка начала действовать на него. Наступила неловкая пауза.

- Мои братья живут далеко в горах, – извинился Мундузбай. Купец снисходительно улыбнулся.

- Платить будем жидким огнем и вот этим, – он вытащил из-за спины пороховое ружье. – Знаешь, что это такое? – Он протянул ружье Кожожашу.

Тот повертел ружье в руках, заглянул в дуло, недоуменно пожал плечами, отдал Касену. Касен внимательно рассмотрел ружье, взвесил в руке, передал мальчику.

- Может, ты знаешь? – спросил Касен.

- Китайская дубинка! – догадался Калыгул. Гости и хозяин расхохотались.

- Молодец, угадал! – невозмутимо сказал долговязый и спрятал ружье. Айке, наливая кумыс, пыталась поймать взгляд Кожожаша.

Джигиты бая вели к дому Мундузбая маленького щупленького человека. Рубашка его была изорвана. В руках у него была горсть белых бус из фальшивого жемчуга. Ниточка порвалась, на землю сыпались белые шарики, следом бежали мальчишки, подбирали бусинки. Из юрты вышел Мундузбай.

- Биялы из рода артыков украл у купца бусы, – доложил один из джигитов и толкнул вора в спину.

Мундузбай остановил его знаком.

- Ты решил опозорить мой род перед высокими гостями? – спросил бай. Вор, отвернув от бая свое окровавленное лицо, молча шмыгал носом.

- Что будет тому, кто украл? – обратился Мундузбай к людям, стоящим вокруг. Никто не ответил.

- Согласно шариату – надо отрубить левую руку, – сказал кто-то.

Один из джигитов обнажил саблю, словно тут же хотел привести приговор в исполнение.

Вперед вышел старец, перекинул через шею камчу.

Бай жестом остановил джигита. Молоденькая миловидная женщина прижала к груди малыша и заплакала.

- Прости моего единственного жеребенка, уважь мою седую голову, бай-аке. Жена подарила ему сына, а он решил подарить ей бусы. А бусы стоят пять баранов, – вымолвил старец.

- Шесть! Шесть! – завопил купец, сидевший в двуколке.

- Я же ничего не просила, – всхлипнула женщина с ребенком. Мундузбай посмотрел на нее.

- Отсчитайте купцу шесть баранов из моей отары, – распорядился он.
Старик бросился к баю, начал целовать его руку и благодарить за доброту и великодушие.
- А ты, Биялы, вместе с женой поедешь в Кашгарию, я подарю тебя нашему зятю, будешь служить ему, а жена твоя будет служить моей сестре. Узнаю, что ведешь себя непристойно, велю отсечь тебе голову, – сказал бай и направился к юрте.

- Бай-аке, как я проживу, если сын мой уйдет на чужбину? – взмолился старец.
- Ты получил шесть баранов. После свадьбы получишь еще четыре, – ответил Мундузбай и ушел в юрту.

Биялы, его жена Сонун и старец остались стоять на месте в полной растерянности.

На возвышенном месте были расстелены расшитые красочными узорами войлочные ширдаки и ала-кийизы. Гости расположились отдельными кучками так, чтобы разговоры одних не были слышны другим. На самом почетном месте сидели самые почтенные аксакалы – седобородые старцы. Они вели разговоры о стародавних временах, вспоминали события давно минувших дней. Дальше расположились мужчины среднего возраста и гости, прибывшие из других племен и родов. Они острословили и смеялись. В стороне сидели почтенные старухи в белых элечеках и бархатных одеждах, оценивающе смотрели друг на друга, на молодух, обслуживающих гостей, молча пили чай. Молодые люди сидели подальше от взрослых гостей, пели любовные песни – секетбаи, играли на комузе, шутили, смеялись. Проворные молодухи и юноши разносили гостям мясо, кумыс, чай и прочие угощения. Кожожаш и Касен сидели с людьми своего возраста, рядом пристроился Калыгул и смотрел на все с большим любопытством. Иногда сын что-то, шепотом спрашивал у отца, тот терпеливо слушал и отвечал ему. Мальчик впервые попал на такой праздник, поэтому многое ему было в диковинку.

Джигит в бархатном красном малахае, отороченном мехом, подошел к Мундузбаю и сказал ему на ухо:

- Бай-аке, Биялы из рода артыков вместе с женой бежал в горы. Он не хочет идти в слуги к Султанбеку.

- Поймать, повесить на позорном столбе! – повелел бай. Джигит отвесил поклон и кивнул всадникам, которые стояли чуть в стороне и нетерпеливо ждали приказа. Всадники помчались в сторону гор.

Биялы из рода артыков с женой Сонун и грудным ребенком, собрав свои незатейливые пожитки, тем временем бежали вверх по течению горной реки. За ними, оставляя завесу пыли, с гиканьем и криками гнались байские джигиты.

Преследователи на резвых конях начали настигать беглецов. Биялы круто повернул коня.

- Иди вброд! – приказал он жене. Женщина не повиновалась.

- Прочь! – крикнул Биялы и стеганул ее камчой по спине.

Сонун, обливаясь слезами, нехотя пошла вперед. Найдя пологое место, она начала переходить реку вброд.

Джигиты приближались. Биялы достал боевую дубинку с железным грузилом – шалкэтме и ринулся на преследователей. Четким ударом он свалил первого джигита, бросился на второго. Но тот успел увернуться. Беглец отбивался, джигиты пытались набросить ему на шею аркан. Биялы удалось свалить еще одного джигита, и теперь он бился против двоих, казалось, миг – и он сумеет вырваться, но снизу появились еще трое. Беглец отчаянно сопротивлялся. Джигиты набросили на него аркан, свалили на землю.

- Куда же ты задумал бежать, дурень? – сказал джигит в красном малахае, наступив ему на горло.

- Я не скотина, чтобы меня дарили!.. – прохрипел Биялы.

- А кто же ты? – ехидно спросил джигит.

- Человек! – ответил Биялы.

- Расскажи об этом баю, – сказал джигит в красном малахае и кивнул джигитам. Веревка натянулась. Чтобы аркан не затянул шею, несчастному пришлось бежать за всадниками.

Сонун видела всю эту картину с другого берега реки и рыдала, прижав к груди ребенка. Она вернулась назад и обреченно двинулась к аилу. Биялы бежал за джигитами, на спине его краснели полосы от ударов камчи.

...Начались конные игры. Юноши соревновались в ловкости и быстроте. На полном скаку они поднимали с земли монеты, шапки. Потом начался оодарыш – борьба на конях. Острые схватки разгорелись между охотниками и местными джигитами. «Белых барсов» можно узнать сразу: у каждого на плече красовалась полоска из барсовой шкуры. Кожожаш с азартом вступил в игру, и ему не было равных. Стащив с коня очередного соперника, он искал глазами ту, ради которой старался, и встречал ее горячий ответный взгляд. Айке стояла в окружении молодых женщин и была самой красивой...

Беглеца завели на холм, где стояла большая клетка из бревен, в центре площадки был вкопан столб с перекладиной.

Биялы привязали за ноги и повесили вниз головой.

Он попытался вырваться.

- Попался на крючок – не дергайся, – предупредил джигит в красном малахае. Джигиты ушли, оставив беглеца одного.

Все были заняты свадебными играми, и никто не видел того, что творилось у позорного столба.

Биялы висел вниз головой, – на его шее и висках вены вздулись, как прутья. Люди собрались на площади, где начиналось развязывание верблюда.

- Молодухи и женщины! Кто хочет развязать верблюда и забрать его себе? – призывно кричал глашатай, разъезжая на коне.

В центре площади был вкопан маленький столб, к которому привязали за поводок верблюда. Огромный черный двугорбый верблюд, капая пенистой слюной, жевал жвачку и гордо поглядывал вокруг, словно понимал весь смысл происходившего. Мундузбай и его гости расположились на специальной тахте, перед ними был расстелен дасторкон с яствами. Толстый купец перекидывался с хозяином шутками, беззвучно хохотал мягким животом.

- Молодухи и женщины! Кто развяжет черного верблюда, тот получит в придачу белую верблюдицу! Спешите получить этот приз, пока бай-аке не передумал! – кричал глашатай.

В толпе смеялись женщины, шутя подталкивали друг друга, но никто из них не осмеливался выйти в круг. Толстый купец подозвал глашатая, что-то шепнул ему на ухо. Глашатай взял у него большую шкатулку, вышел в центр круга.

- Женщины и молодухи, кто развяжет черного верблюда, тот получит в придачу белую верблюдицу, а наш дорогой гость из Кашгарии обещает вот этот подарок, он высоко поднял шкатулку над головой. – Она наполнена дорогими украшениями! – прокричал глашатай.

Но никто не отзывался на его призыв. Мундузбай подозвал глашатая и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул головой и вновь вышел в круг.

- Женщины и молодухи! Кто развяжет верблюда, наш бай-аке обещает выполнить любое желание! – объявил он.

Глаза Биялы налились кровью. Солнце светило ему в лицо. На пыльную землю падали капли пота.

- Вышла! Вышла! Смотрите! – зашумели в толпе.

Беглец открыл глаза и сквозь деревянные решетки увидел, как две старухи вывели женщину, укрытую с ног до головы черным шелком.

- Кто это? Чья это жена? – спрашивали в толпе.

Все приподнялись с мест, никто не знал, которая из женщин осмелилась выйти в круг. Старухи сняли с ее головы покрывало, и все ахнули. Биялы застонал. Это была его жена.

- Сонун! Сонун! Жена Биялы из рода артыков! – криком передавали сидящие тем, кто был дальше от центра.

- Самая красивая молодка долины! Неужто разденется?

- На кой черт ей верблюды!

- Украшений захотела! Дура!

- А муж-то что скажет?! – судачили в толпе.

Две старухи вывели женщину, начали медленно снимать с нее покрывало.

- Если твое тело белее тела моей старухи, возьму тебя младшей женой! – озорно крикнул кто-то.

Мужчины засмеялись.

- Тебя на одну-то не хватит! – дерзко ответила Сонун. Раздался взрыв хохота.

Между тем старухи продолжали раздевать ее. Сонун ловким движением сорвала с головы красный платок, и густые черные волосы рассыпались на ее плечах.

- Ах, шайтан! – с досадой сказал кто-то. Все рассмеялись.

Биялы временами открывал глаза, видел свою жену и извивался, как червяк. Женщину раздели. Волосы, ниспадающие почти до колен, прикрывали ее грудь и спину. Она спокойно и грациозно шла к верблюду. Биялы отвернулся. Он не хотел видеть ее позора.

- Не торопись! – крикнул кто-то вслед Сонун. Раздался дружный хохот.

Толстый купец что-то шепнул глашатаю.

- Если уберешь волосы спереди, наш сват отдаст тебе рулон шелка! – прокричал глашатай.

- Пусть сошьет себе саван, – ответила женщина.

- О-о! – застонали мужчины.

Толстый купец масляными глазами смотрел на женщину и скалил кривые зубы.

- Если уберешь волосы, бай-аке исполнит два твоих желания! – крикнул глашатай. Сонун дерзко и вызывающе оглянулась на шумящую толпу и вдруг одним ровным движением убрала волосы, обкрутила вокруг шеи. Толпа охнула и затихла. Сонун действительно была прекрасна. Высокая, стройная, белотелая, гордая и недоступная, она смело шла к столбику. Она казалась ожившим изваянием, или, вернее, самой богиней красоты, и все, кто только что шумел, смеялся и острил, замолкли и любовались удивительным созданием природы, совершенством и красотой женского тела.

Когда Сонун развязала поводок верблюда, раздался гром восторженных криков. Старухи тут же набросили на ее плечи черное покрывало.

Женщина быстро оделась, забрала ребенка, спокойно, подошла к баю. Джигиты протянули ей маленький сундучок, открыли крышку – в нем было несколько витков жемчужных бус, зеркало, сурьма для глаз, гребень, приколка и прочие украшения. Сонун оттолкнула от себя сундучок, прямо глянула в глаза Мундузбая.

- Ты красивая и смелая женщина! – сказал бай. – Проси, что хочешь.

- Кинжал! – Сонун протянула руку.

- Красавицам нельзя играть ножом, – пошутил купец. Все рассмеялись.

- Это мое первое желание! – потребовала Сонун.

Мундузбай развязал свой боевой пояс, бросил к ее ногам. Сонун подняла пояс, вынула кинжал из ножен.

- А теперь я выполню второе свое желание, – сказала она. Все замерли, молча смотрели на нее и ждали.

Женщина поднялась на холм, разрешила ремни, которыми был привязан Биялы. Он рухнул на пыльную землю. Кто-то принес ведро воды, окатил его с ног до головы. Биялы пришел в себя, встал, подошел к жене, приподнял ее лицо за подбородок, со всего маху влепил пощечину и пошел прочь. Сонун упала в пыль и горько заплакала. Люди начали поднимать и утешать ее.

С наступлением ночи начались долгожданные девичьи игры. Каждый джигит, каждая девушка и каждая молодка в течение года сочиняли и обдумывали свою песню. Мелодия могла быть старой, традиционной, а вот слова каждый обязательно должен был сложить сам. Не имеешь своей песни, прослынешь глухим, косноязычным, никчемным человеком, а такому трудно найти себе желаемую пару. У подножия зеленого холма рядом расположились невеста и ее подружки. Чуть ниже, на небольшом расстоянии – джигиты.

Юноша пел посвящение своей избраннице. Та отвечала своей песней. Если слова были по сердцу собравшимся, тут же дружно раздавались возгласы одобрения, пара выходила в круг, становилась друг к другу спинами, поворачивалась лицами, целовалась. Каждый поцелуй сопровождался шумными возгласами.

Ты стоишь на том берегу,
Да глубока река Ак-Суу,
Вброд пройти я не могу,
Я уношу с собой тоску! –

пропел Кожожаш, обращаясь к Айке.

Речей твоих серебряный ручей
Не напоит тоску моих очей.
Я жажду счастья и любви, томлюсь...
Скажи, когда я досыта напьюсь? –

спела Айке.

- Жаш-аа! – одобрили сидящие.

Айке вышла в круг, повернулась лицом к Кожожашу, они поцеловались.

- Буду ждать у раздвоенной сосны! – успела шепнуть Айке.

Когда взошла луна и накрыла землю желтым светом, они встретились в условленном месте.

- Увези меня к себе! Я рожу тебе красивых дочерей и рослых сыновей, – горячо шептала Айке, обняв охотника за шею. – Я буду рабыней твоей Зулайки.

- В дом твоего мужа я вошел как брат и гость, – говорил Кожожаш. – Ты знаешь клятву моих предков.

- А ты приди как враг. Приди и отбери меня! – Так поступают все, кто имеет власть и силу, – шептала Айке.

Кожожаш качал головой.

- Сегодня последний день луны. Подари мне ребенка, я хочу маленького ребеночка... – шептала Айке, в исступлении целуя Кожожаша...

Джигиты раскачивали длинные качели из волосяных арканов, на каждой из них устроилось по две девушки.

Давай, джигит, качай и пой.
Качай, – раскачивай с плеча.
Чтоб небо стало вдруг землей,
Ладонь чтоб стала горяча, –

пела молодежь.

Калыгул качался на другой качели с ребятишками.

Качели поднялись вверх, и мальчик увидел, что Айке обнимает его отца. Калыгул слез с качелей, снял с плеча лук. Когда он прибежал к раздвоенной сосне, держа наготове лук, Айке была уже одна. Она стояла на коленях, подняв руки к небу.

- О мать-луна! Ты видела все. Прости меня и пошли мне зачать! О черное небо! Прости меня и закрой своим мраком мою тайну, – молилась женщина.

По щекам ее текли слезы. Мальчишка невольно опустил лук и пошел прочь. Аильчане и гости продолжали веселиться. Слышался звонкий смех, песни, шутки.

Мундузбай, угрюмый и расстроенный, ожидал в юрте Айке. Бегаим сидела рядом и с сочувствием смотрела на мужа. Оба молчали. За юртой послышались шаги. Айке шла к дому, напевая песню, которую пела на девичьих играх.

- Она, – сказала Бегаим.

Вошла Айке, увидев мужа и Бегаим, судорожно сжала в кулаке красный тюльпан.

- Хорошо поешь, – ехидно сказала Бегаим.

Мундузбай внимательно посмотрел на Айке, кивнул Бегаим, чтобы она ушла. Бегаим встала.

- Будешь гневаться – мудрость уйдет от тебя, – посоветовала она мужу и вышла из юрты.

- Где ты была? – спросил Мундузбай, подняв на нее тяжелые глаза. Айке сжала губы и молчала.

- Ты хочешь уйти с ним? – спросил Мундузбай.

Айке сняла со стены плетеную камчу, вручила мужу, бросилась к его ногам.

- Избейте меня до потери крови, чтобы я умерла! – попросила она.

Мундузбай поднял камчу. Женщина покорно лежала у его ног, обнажив тонкие красивые плечи. Она была готова принять любое наказание. Бай переломил рукоятку камчи, со злостью бросил в огонь и вышел из юрты. Айке подняла голову, увидела, что муж ушел, прижала к груди самодельную куклу и заплакала.

Утром в белой юрте оплакивали проводы невесты.

Мы девочку нашу в шелка пеленали,
От зноя и стужи ее охраняли.
Ой, бедная птичка, слезинка моя,
Теперь ты уходишь в чужие края, –

плакала Бегаим.

Золотое кольцо ты надень,
Забранится свекровь – ты молчи.

С бирюзой кольцо ты надень,

Свекор обидит – смолчи!

Если муж твой окажется строг,

Улыбкой ответь на упрек.

Чтоб не стал он в сердцах поминать

Отца твоего и бедную мать, –

голосила Айке.

Плакали и прощались со своими родными и те, кто уходил вместе с невестой в качестве приданной прислуги.

- Он, единственный мой! Да как же мы без тебя?! – рыдала старуха, обняв сына.

- Не забывай нас. Будет мир и спокойствие – мы приедем с отцом. Только береги себя. Не плачь, – причитала женщина, обняв дочь.

- Чего плачете? Они будут жить у купца, как у бога за пазухой. Нечего плакать! – сердился джигит в красном малахае.

На голову невесты надели элечек – символ того, что отныне она считается женщиной. На шею надели бусы, к концам волос привязали серебряные украшения – теперь она хозяйка дома. Верблюдов навьючили приданым невесты, пригнали лошадей, коров, овец. Мундузбай подвел великолепного оседланного коня – подарок жениху. Седло, уздечка, кожаная попона были отделаны чеканкой из серебра и золота. Бегаим набросила на плечи жениха бурку из белого войлока.

Из белой юрты вывели невесту. Купец и его люди нетерпеливо ждали, когда кончится церемония прощания.

К юрте Мундузбая примчался всадник.

- Ойроты! – прохрипел он и замертво свалился с лошади, между лопаток его торчало древко стрелы.

Черная пыль затмила солнце и землю. Тысячный табун ошалело помчался к аилу, увлекая за собой верховых лошадей и жеребят, пронесся между юртами и ушел к лесу.

Со стороны гор с дикими криками и воплями неслись конные ойроты. Они были одеты в боевые доспехи, в руках сверкали кривые сабли, вперед летели зажженные стрелы. Горела трава, застилая горы и небо огнем и домом, нагнетая ужас и смятение.

В аиле Мундузбая началась паника. Из юрт выбегали полусонные джигиты, хватались за свои копыя, торчащие у входа, но было поздно – налетчики подошли совсем близко. Кони, порвав свои поводья, вырвав коновязи, ушли вместе с табуном. Аильчане хватали орущих детей, стонущих стариков, бежали к лесу. Ойроты орудовали у крайних юрт – загорелась первая, вторая...

Это была личная дружина молодого калмыцкого правителя Дондок-батыра. Отец его, Бакей, жил в мире и дружбе с киргизскими племенами, всегда был желанным гостем, неизменно приезжал на большие свадьбы, погребения и поминки знатных людей. Как-то он решил женить своего единственного сына на киргизской красавице Айжаркын. Девушка отказалась и поклялась покончить с собой, если попытаются выдать ее насильно.

Дондок-батыр выслушал доводы отказа и молча развернул коня... Однако самовлюбленный и чванливый, он затаил глубокую обиду и, как только скончался отец, сколотил крепкую отчаянную дружину из юных воинов, взял в свои руки полную власть, начал совершать кинжальные набеги на соседние кочевья, угонял лошадей, насильно уводил девушек.

С особым нетерпением Дондок-батыр и его дружина ждали весны, когда в долинах начинались девичьи игры. Кочевье Мундузбая всегда славилось своими красавицами: девушки здесь были высокие, стройные, узколицы и белотелые. А ранней весной, когда в Большую долину со всех кочевий съезжалась молодежь, – это было действительно замечательное зрелище. Девушки, ладно и ярко разодетые, в круглых шапках из выдры и лисы, украшениях из коралла, перламутра, молодки в белоснежных элечеках с длинными бусами из жемчуга на резвых конях с красивым снаряжением, отделанным чеканкой из серебра, латуни и желтой меди, выглядели прекрасными.

Дондок-батыр точно рассчитал время и черным смертоносным вихрем закружил над Большой долиной.

Налетчики смяли пеших джигитов, рубили их саблями, били дубинками, вытаскивали из юрт женщин, тащили их за волосы, рвали на них одежду...

В центре аила небольшой отряд джигитов, выставив длинные копья, оказывал сопротивление. Мундузбай, застигнутый врасплох, пеший, с мечом в руке, доблестно отбивался от врагов.

Толстый купец и его люди спешно толкали свои двуколки, пытались расположить их полукругом – привести в боевой порядок.

Маленький Калыгул ловко вскарабкался на большую сосну, снял с плеча свой лук и всадил стрелу в толстый зад ойрота, который наклонился, чтобы схватить за косу бегущую девушку. Мальчишка засмеялся. Толстый ойрот никак не мог понять, откуда вылетела злополучная стрела. Заметив мальчугана, он начал стрелять в него. Но ветви сосны были густые, Калыгул ловко увертывался. В какой-то момент он изловчился и пустил стрелу, которая для врага оказалась роковой. Ойрот рухнул с коня, древко торчало в его горле. Подоспел другой ойрот и кинул горящий дротик в гущу хвои. Сосна затрещала, как факел. Калыгул в страхе начал карабкаться вверх, языки пламени устремились за ним.

Часть налетчиков бросилась преследовать беглецов. Касен с несколькими охотниками, взобравшись на невысокую скалу, метко поражали врагов из луков. Лужайка наполнялась поверженными врагами. Налетчики окружили скалу, начали метать зажженные стрелы и дротики. Вокруг охотников горела сухая трава, стелющаяся по земле арча. Касен был ранен в руку. Истекая кровью, он продолжал стрелять сквозь огонь и дым, тетиву натягивал зубами.

Личная охрана Мундузбая была перебита.

Группа «белых барсов» встала полукругом у юрты невесты, где собрались в основном девушки и Айке, отбивалась от налетчиков. Охотники стреляли без промаха.

Кожожаш на коне без седла рогатой дубинкой отражал удары нападающих на него врагов.

- Ата-а! – в отчаянии звал Калыгул.

Кожожаш повернулся на крик. Сосна горела факелом. Нижнюю хвою съел огонь. Лишь на самой макушке осталась кисть ветвей, откуда доносился плач мальчика. Ойроты стреляли в него из луков. Кожожаш вырвался из окружения, примчался к горячей сосне, метким ударом выбил из седла одного врага, второго, раскроил череп третьему, снял аркан и кинул на сосну. Мальчик хотел прыгнуть, но было страшно. Внизу пылал огонь, веревка оказалась на почтительном расстоянии, и сук, на который попала петля, начал гореть. Мальчик замешкался.

- Прыгай! – приказал отец.

Мальчик прыгнул, как кошка, уцепился за веревку, соскользнул вниз.

- Беги в лес! – крикнул Кожожаш.

Веревка сгорела и упала. Мальчишка, в обгоревшей одежде, скрылся в лесу, Кожожаш радостно засмеялся и бросился назад, к белой юрте.

Биялы на неоседланном коне, вооруженный кривой ойротской саблей, загнал байского джигита в красном малахае в рожицу, выбил у него копьё, начал избивать его камчой, видимо, решил отомстить за свои обиды и позор жены.

- Прости, Биялы! Пощади! – кричал джигит, закрываясь рукой от ударов камчи. Но Биялы был беспощаден и жесток.

- Смотри! – вдруг крикнул джигит.

Четверо конных ойротов, набросив петлю на Сонун и двух девушек, тащили их к лесу.

Биялы кинул джигиту его копьё, и они вдвоем ринулись отбивать женщин. Враги отчаянно сопротивлялись, но Биялы и джигит в красной шапке сумели одолеть насильников: двух убили, двое бросились наутек. Биялы и джигит начали преследовать их. Биялы мчался вперед и уже догонял врагов, но тут раздался крик. Он обернулся, увидел, что джигит склонился на луку седла, и между лопаток его торчит древко стрелы. Биялы развернул коня и вернулся к нему. Женщины успели скрыться в лесу.

Купцы расположили свои двуколки полукругом у гостевой юрты, зарядили ружья и ждали.

В аил вошла свита ойротского предводителя, спокойно проехала мимо горящих жилищ, убитых и раненых людей. Впереди двигались дружинники с копьями. Они приближались к белой юрте.

Ойроты содрали с белых юрт войлок, обнажив клетчатые стены, загнали туда окровавленного бая. Бегаим, Айке и сестра в свадебном наряде прижались к нему. Налетчики обступили их тесным кольцом и ждали своего предводителя. Кожожаш на всем скаку ворвался в гущу врагов, начал орудовать дубинкой, укладывая одного за другим. К нему подоспел Касен, в руке у него была трофейная кривая сабля.

Свита предводителя подошла совсем близко. Уже было видно чванливое, самоуверенное лицо ойротского хана. Свита остановилась, хан поднял руку.

- Та! – крикнул он и опустил руку.

Копьеносцы бросились на байские юрты, но в этот миг могучий грохот потряс небо. Несколько копьеносцев оказались на земле; кони шарахнулись и бросились назад. Второй залп выбил из седла еще несколько налетчиков. Из юрт выбежали те, кто уже приступил к грабежу и насилию. Через некоторое время вся орда, оставив пленных женщин, в дикой панике неслась в сторону гор. Выстрелы звучали вслед, наводя ужас и страх. К байской юрте подъехал Биялы. На своем седле он привез смертельно раненного джигита в красном малахае, осторожно опустил его на землю и ускакал.

- Спасибо тебе, брат Биялы, – сказал ему вслед джигит. Женщины подняли его и унесли в юрту.

Бегаим перевязывала раны Кожожаша и Касена. Айке латала обгоревшие сыромятные штаны Калыгула. Мальчишка стоял тут же, обернувшись полотенцем.

- Благодарю вас, «белые барсы», – сказал бай. – Вы с честью выполнили свое обещание. Не будь вас и огненных стрел свата Султанбека, я бы не справился с Дондоком. Вот что значит единая крепкая рука. Семьям погибших воинов передайте мои глубокие соболезнования. Они получат должное возмещение.

- Что может возместить моих погибших братьев? – ответил Кожожаш.

- Война есть война. В такой битве не миновать ни крови, ни смерти. Мужайтесь, не поддавайтесь скорби, – с сочувствием сказал Мундузбай.

- Да, да, это так, – Касен вытер рукавом слезы.

Мундузбай снял с пояса меч в золотых ножнах, протянул его Кожожашу.

- Это был меч моего деда. Дарю тебе, как доблестному воину, – сказал бай. Кожожаш взял меч, поцеловал, отвесил поклон благодарности.

...Охотники с интересом рассматривали диковинное оружие. Долговязый купец показал, как оно действует, положил на ладонь Кожожаша свинцовую пулю. Касен взял у купца ружье, выстрелил, попал в цель. Он понял, что в его руках могучее оружие, которое может поражать цель с дальнего расстояния, почти независимо от силы и направления ветра. Кожожаш любовно погладил приклад, нежно потрогал теплое дуло, нащупал маленькую мушку, нехотя отдал ружье хозяину...

- Ну, как? – спросил долговязый. Кожожаш показал большой палец.

- В день новолуния будем ждать вас в крепости Таш-Рабат. Везите панты и шкуры, у вас будут вот такие же гремящие стрелы и жидкий огонь, – сказал долговязый.

Домой «белые барсы» везли богатые трофеи, гнали небольшой табун – возмещение за охотников, павших в бою.

Три девушки долины влюбились в трех охотников, которые отличились не только в спортивных турнирах, девичьих играх, но и в смертельной схватке с врагом. Девушки доверили свои сердца своим возлюбленным и согласились быть похищенными, как только поутихнут оплакивания погибших от рук врагов. Две девушки из стана охотников, видимо, выбрали себе достойных джигитов долины, утром их не оказалось в гостевой юрте, сводницы и снохи сообщили, что ночью их «похитили», и они сидят за брачной ширмой в шелковых платках.

На осень намечалось сразу пять свадеб. В течение всего лета джигиты той и другой стороны будут готовить подарки в виде движимого и недвижимого имущества, чтобы, как только живот белого верблюда лопнет от сытости (так кочевники называют осень), преподнести свои дары родителям девушки, вымолить у них прощение, после чего начнутся взаимные угощения и брачные торжества. Каждый близкий родственник пригласит молодую чету к огню и одарит соответственно своему достатку.

«Белые барсы» неторопливо ехали по тенистому ущелью. Почти у каждого к седлу был привязан боевой трофей: кривая ойротская сабля из чистой стали, кольчуга или шлем. А у трех юношей по-весеннему горела грудь, по той простой причине, что у каждого из них за пазухой хранился носовой платок, вышитый и подаренный любимой девушкой.

Кожожаш ехал молчаливый и угрюмый, не вступал в привычные шуточные разговоры и вспоминал о событиях в Большой долине. Разумеется, сейчас он не мог осознать всю глубину и сложность случившегося. На душе было тревожно, он не мог понять, с чем связано его смятение: то ли причиной тому была головокружительная встреча с прекрасной Айке, то ли предвкушение того, что скоро в его руке засверкает могучее оружие, способное поражать цель с любого расстояния независимо от силы и направления ветра, а может, это был страх, вселившийся в него с того самого дня, когда он на белый снег пролил алую кровь хозяйки воды и гор – Серой Козы. Не мог он знать и того, какое страшное потрясение ждет его впереди...

Кожожаш вытащил из курджуна сладости, шелковый платок, широким небрежным жестом, чем-то подражая Мундузбаю, бросил перед женой.

Калыгул вытащил меч в золоченых ножнах, вручил деду. Карыпбай обнажил его, полюбовался блеском великолепной дамасской стали, потрогал лезвие, нахмурился и отбросил в сторону.

- Это был меч его деда, – сказал старец. – Плохая примета.

- Мы заработали его в честном бою, – сказал Кожожаш.

- Если друг подарил тебе нож – кончится кровью, – сказал Карыпбай.

Кожожаш насторожился, посмотрел на жену. Зулайка набросила на себя яркий платок, и на какой-то миг вместо жены перед ним предстала прекрасная Айке... Кожожаш налил себе и отцу рисовой водки.

- Жидкий огонь! Возвращает молодость, – пояснил Кожожаш. Отец медленно осушил деревянную чашу. Кожожаш ждал реакции.

- Кисловатая, – спокойно сказал старец.

* * *

Кашгарские купцы второй день ждали охотников в условленном месте – в старинной заброшенной крепости Таш-Рабат, расположенной высоко в горах на пути к перевалу. В центре двора, обнесенного глухой глиняной стеной, были натянуты цветные шатры.

На сторожевой башне стоял стражник с подзорной трубой и всматривался в долину, откуда должна была появиться свита Кожожаша.

Толстый купец сидел у главного шатра. Перед ним была расстелена рисованная карта местности.

- Они живут где-то здесь. Путь лежит через Синий перевал. Дорогу знают только охотники, тайна пути передается по наследству, – вода по карте рукой, пояснял долговязый. – Мундузбай не хотел, чтобы Кожожаш имел огненное оружие, – осторожно заметил он.

- Мы – торговые люди. Для нас главное – выгодно продать свой товар, – сказал толстый купец.

Имея равные силы, они начнут ссориться между собой, – оторвался от карты долговязый.

Тем лучше для нас. Может случится так, что они уничтожат друг друга, а эти горы и пастбища достанутся нам, – засмеялся толстый купец.

- Едут! – доложил стражник.

Вдали показался караван. Охотники ехали, навьючив на лошадей шкуры и мешки с пантами. Купец, приветливо улыбаясь, вышел навстречу. Охотники вывалили перед купцами коротенькие рожки и разные шкуры. Толстый купец отобрал мягкие рожки, жесткие отбросил в сторону и снисходительно засмеялся:

- Эти, старые, можешь забрать себе, – и кивнул слуге.

Тот принес ружье и бутылки с рисовой водкой. Кожожаш осмотрел ружье, передал Касену. Касен осмотрел ружье, передал дальше.

- Вы принесли стоимость одного ружья. Через месяц ждем вас здесь, – сказал долговязый. Ударили по рукам.

Весь охотничий род собрался у дома Кожожаша посмотреть на диковинное оружие.

Над стойбищем кружил коршун. Кожожаш поднял ружье. Грянул выстрел – птица упала к его ногам. Охотники начали рассматривать ружье, передавали из рук в руки, качали головами, цокали языками, удивлялись, восхищались.

Несколько мальчишек с собаками, крича и улюлюкая, бежали вверх по ущелью. На вершине горы по обеим сторонам узкой щели расположились охотники с луками и короткими дротиками. Кожожаш сидел на самом вершине с ружьем наготове. Гиканье, свист, лай доносились снизу, шум быстро приближался. Вдруг на лужайку выскочили несколько пятнистых

олений и устремились вверх, туда, где притаились охотники. Полетели стрелы и дротики, животные начали падать. Сверху раздался выстрел Кожожаша, испуганные олени устремились вниз, но снизу поднялась целая свора собак и мальчишки с луками. Животные бросились врассыпную по косогору, бежали прямо на охотников, а те метко поражали их стрелами и дротиками. Возвращались охотники с большой добычей, веселые и довольные, набив много козерогов и пятнистых оленей. Вдруг они увидели, что далеко внизу, у подножия хребтов, тянутся две струйки белой пыли.

- Брат Кожожаш! Чужие! – сообщил молодой охотник.

Всадник вел на поводу верблюда. Между двумя горбами расположилась женщина с ребенком. Касен поднял ружье и выстрелил в воздух. Всадник услышал выстрел и повернул на звук. Когда они подъехали ближе, все узнали Биялы и его жену Сонун. Верблюд был навьючен разобранной юртой и прочим домашним скарбом.

- Мы ушли от Мундузбая, идем к тебе, брат Кожожаш, – сказал Биялы.

- Как вам удалось бежать? – спросил Касен.

- Айке помогла. Она родила сына. Бай празднует рождение наследника, – сообщила Сонун. Домой Кожожаш вернулся озадаченный и расстроенный. Навстречу выбежал Калыгул, взял у отца ружье, начал играть с ним. Зулайка, приветливо улыбаясь, подошла к нему, взяла коня за уздечку, хотела что-то сказать, но муж, не взглянув на нее, молча ушел в юрту.

- Что с тобой, Кожоке? Ты не рад, что приобрел огненную стрелу? – спросила Зулайка, протягивая ему чашу с холодной джармой.

- Айке родила от меня сына, – ответил Кожожаш, не поднимая головы.

- Что? – женщина хотела сказать еще что-то, не смогла, побледнела, но тут же взяла себя в руки. – Мне все время снилась ведьма, – еле слышно произнесла она.

Кожожаш вышел из юрты.

Зулайка плакала. Калыгул стоял рядом и вытирал ее слезы.

- Ты видел ее? – спросила Зулайка. Мальчик кивнул.

- Красивая? Мальчик кивнул.

- Красивее меня?

Мальчик кивнул, а потом спохватился и отрицательно покачал головой. Зулайка обняла сына.

- Ты мой единственный! – зарыдала она.

* * *

Обломок луны, как золотая монета, разрубленная пополам, медленно плыл по мрачному небосводу, скользил сквозь тяжелые лохмотья рваных туч, всплывал среди голубых звездочек и повисал над Великими горами, бросая на землю тусклый желтый свет и длинные сумрачные тени.

Зулайка лежала в постели и ждала, когда все заснут. Несколько раз она хотела встать, но не могла – то старик начинал кашлять и кашлять, то сын разговаривал с кем-то во сне. Но вот, кажется, все затихли, задышали спокойно и ровно. Женщина тихо поднялась, сняла со стены меч, юркнула за дверь. Она подошла к реке и, глядя на луну, помолилась, потом обнажила меч. При тусклом лунном свете сталь сверкнула холодным, зловещим блеском.

Зулайка приставила острие к своей груди, и в тот самый миг, когда упругая сталь должна была пронзить ее хрупкое сердце, раздался крик Кожожаша. От неожиданности Зулайка выронила меч, зарыдала.

- Как ты оказался здесь? – спустя минуту, обнимая мужа, спросила она. Кожожаш, не отвечая, целовал ее глаза, волосы, умолял простить его, плакал... Потом они сидели на камнях и слушали шум реки.

- Не дели свое сердце пополам. Забери его. Бог не дает мне второго ребенка. У Калыгула будет брат, а у нас – два сына, – сказала Зулайка.

- О моя добрая! – Кожожаш опустился перед ней на колени.

* * *

По глубокому черному ущелью, очертя голову, мчался всадник. Опустив поводок, доверившись инстинкту коня, он скакал вниз, словно за ним гналась стая голодных волков. Это был Кожожаш. Он мчался в долину, где прекрасная Айке родила ему сына.

Золотой обломок луны вынырнул из-за черной тучи и осветил юрту Айке. Охотник осторожно привычной поступью белого барса подошел к двери. Айке лежала на спине и смотрела на далекие звезды, глаза ее светились материнским счастьем. Малыш причмокивал, прижавшись к ее сладкой груди.

- Айке-е! – тихо позвал Кожожаш.

Айке вздрогнула, в страхе прижала ребенка к себе.

- Это я, – сказал Кожожаш.

Он раздвинул войлок юрты и смотрел на нее, ласковый и счастливый.

- Зачем ты здесь? – в тревоге спросила женщина.

- Отдай мне сына! – взмолился Кожожаш.

- Мое счастье должно быть со мной, – сказала женщина, закрыла лицо ребенка руками.

- Уйдем в горы, пока темно, – шепнул Кожожаш. Айке покачала головой.

- Айке, ты не знаешь, что такое воля и синее небо! Будем жить вместе. Зулайка согласна!

- Мой сын – наследник Мундузбая, – ответила женщина. – Он объявил об этом всенародно.

- Это мой сын! Он кровный потомок «белых барсов», – сказал Кожожаш.

- Ты свое получил, – горько усмехнулась Айке.

- Айке, я не могу жить без тебя. Долгими ночами вместо звезд я вижу твои глаза! – взмолился Кожожаш.

Наконец женщина не выдержала и, забыв обо всем, бросилась в объятия любимого, начала целовать его.

- Мой милый! Мой единственный! Теперь уходи! Мундузбай все знает. Он убьет тебя! – взволновалась она.

- Мундузбай предлагал мне дружбу, – спокойно произнес Кожожаш.

- Он заманит тебя и погубит. Меня отравят, как только отниму сына от груди. Им нужен наш ребенок!

- Нет, нет! Этого не будет!

- Если мы уйдем к тебе, бай не потерпит позора. Он закупил ружья, – сообщила Айке. – Джигиты учатся стрелять. Они разорят твой род, а тебя убьют. Если Бегаим отравит меня, собери силы и отними у них нашего ребенка! – умоляюще сказала Айке.

- Я заполучу много огненных стрел и приду как враг. Я не позволю, чтобы чужие руки прикасались к тебе и моему сыну! – поклялся Кожожаш.

Где-то залаяли собаки. Ребенок заплакал. Кожожаш поднял малыша, несколько раз поцеловал. Кто-то приближался к юрте.

- Спасайся, – успела шепнуть Айке.

Кожожаш, как тень, мелькнул между юртами. Через некоторое время раздался топот копыт. В темноте грянули ружейные выстрелы.

Кожожаш мчался среди скал. Ему казалось, что он все еще слышит умоляющий голос Айке.

* * *

В каменном доме Сайкал-эне собрались все охотники. Здесь шел мужской совет.

- Братья, Мундузбай собирает силы. Он хочет убить нас, а наших жен и детей продать в рабство, – говорил Кожожаш. – Мы должны дать ему достойный отпор.

- Он купил у китайцев три ружья, – сообщил Биялы.

- Что ты предлагаешь, брат Кожожаш? – спросил Касен.

- У каждого охотника должно быть вот это! – Кожожаш поднял ружье и потряс им над головой. – Мы должны заготовить много шкур и много пантов, иначе нас ждет гибель и рабство.

С этого дня в мирном кочевье охотников началась хлопотливая жизнь. Каждый хотел иметь свое собственное ружье, поэтому охотились дни и ночи: делали ловушки, ставили капканы, устраивали загоны, стреляли без разбору и без пощады – заготавливали панты и шкуры. Никто не знал истинных причин, побудивших Кожожаша готовиться к кровавой встрече с Мундузбаем. Привыкшие верить каждому слову своего доблестного вождя, «барсы» были уверены, что Мундузбай хочет напасть на них, разорить, женщин и детей продать в рабство.

Ночами Кожожаш смотрел в открытый тундук и вместо звезд видел прекрасные глаза Айке, ощущал теплоту маленького существа – своего сына, который соединил их навеки вечные. И хотя они были за высокими снежными вершинами, за крутыми перевалами и глубокими ущельями, так же, как и эти голубые звезды, из своего далека излучали свет, посылали к нему свое таинственное тепло, и оно проникало в глубину его сердца, лишало покоя и сна. Думая о своей будущей жизни, Кожожаш верил, что в доме его будет покой и согласие. Он надеялся на доброту преданной Зулайки, на тонкую мудрость Айке. «Она умела мириться с коварной и бесплодной Бегаим – сумеет поладить и с безропотной Зулайкой», – думал он. «Приди как враг и отбери меня. Так поступают все, кто имеет власть и силу». Эти слова сказала Айке, и он запомнил их. Кожожаш не хотел кровопролития и братоубийства. Заполучив десяток ружей, он решил окружить кочевье бая и потребовать Айке и сына. Вождь «белых барсов» был уверен в том, что при виде грозного оружия мудрый Мундузбай не станет возражать...

* * *

Ровно в день второго новолуния, как было условлено, Касен с группой охотников прибыл в крепость Таш-Рабат. Четыре лошади были навьючены гибкими рожками пятнистых оленей. сыромятной кожей козорогов и косуль, великолепными шкурами снежных барсов,

красных лисиц и куниц. Охотники были уверены, что на этот раз им удастся заполучить несколько ружей, но предприимчивые купцы воспользовались отсутствием Кожожаша и под разными предлогами «взвинтили» цену, выдали всего одно ружье и много рисовой водки. Следующая встреча была назначена на конец лета, в день третьего новолуния. Купцы обещали привезти много оружия и много пороха.

В горах гремели выстрелы. Охотники ходили двумя группами. Одну возглавлял Кожожаш, другую Касен. Туши убитых пятнистых оленей гнили в ущельях, у ручьев на лужайках, – словом, там, где настигала их меткая пуля или свистящая стрела. Мясо козорогов терзали волки, грызли собаки, клевали вороны, грифы, тащили шакалы... У каждой юрты на шестах висели туши вяленого и копченого мяса, сушились натянутые шкуры. Женщины и дети едва успевали засолить и обработать добычу, хлопотали от зари до захода солнца. Так было в последние дни весны...

А в середине лета солнце опустилось так низко, словно хотело поближе разглядеть каждую букашку, каждую травиночку, живущую на земле; и казалось, ночует оно не где-то за снежными пиками далеких гор, а лишь на короткое время скатывается за склон ближайшего хребта, чтобы, едва передохнув, вновь повиснуть над стойбищем огненным, всевидящим, гневным оком. Мутная горячая пыль, как необузданный селевой поток, впадающий в лазурное озеро, медленно растекалась и застилала голубое небо; воздух становился серым и тяжелым, как свинец. Даже ночью жар проникал через войлок юрт, через тело, нагревал кровь, безжалостной хваткой сжимал дыхание.

Столетняя Сайкал-эне не помнила, чтобы в Великие горы приходила такая жара. На склонах хребтов пожухли и сгорели травы.

Утих могучий водопад. Теперь вместо мощного пенистого потока стекала мутная струйка. Начало высыхать голубое озеро. Лишь на самом дне оставалось еще немного воды. Стаяли белые снега далеких вершин. С серого горизонта исчезли облака, как будто и они, напуганные гремящими выстрелами, вместе с птицами и животными бежали в края, где было тихо и прохладно.

Охотники группами и в одиночку ходили по лесам и полям и возвращались с пустыми руками. Разве что в капкан или силки попадутся заяц или куропатка. Иногда кому-нибудь удавалось у самых ледников подстрелить заблудшего козерога, но довести его до стойбища было невозможно – беспощадное светило делало свое черное дело, и мясо становилось непригодным к употреблению.

Саяк целыми днями лежал у ног матери и скулил, как голодный щенок.

- В разгар лета у нас нет кусочка мяса. С утра до вечера – тарарах! Тара-раах! Уничтожили, распугали всех птиц и зверей. Обидели Серую Козу, – ворчала старая ведьма, выходила из юрты, невидящими глазами поворачивалась к востоку, ощутив горячее дыхание суховея, поднимала сухие, как саксаул, руки. – О небо! Дети мои испугали тебя гремящими стрелами! Прости их! Дай нам воду и пищу! – умоляла она.

В юрту падали косые лунные лучи. Кожожаш лежал с открытыми глазами и, как всегда, вместо звезд видел глаза прекрасной Айке и маленького сына. Вдруг он заметил, как отец осторожно поднялся с постели и на четвереньках пополз в сторону чыгдана – к углу, где хранилась пища, долго шарил там, нашел длинногорлую бутылку из-под рисовой водки, запрокинув голову, ждал, когда обжигающая капелька упадет на язык...

- Отец, – тихо позвал Кожожаш. Старик вздрогнул от неожиданности.

- У меня сохнет кровь! – хриплым голосом проговорил он. – Чувствую – осталось мне очень мало, духи предков зовут к себе. Найди капельку жидкого огня, – взмолился он.

- Жидкий огонь кончился. Скоро приедут купцы, а у нас ничего нет. Животные бежали от засухи, – сказал Кожожаш.

- Спускайтесь в степи. Мясо сайгаков съедобно, а рога содержат мужскую силу, – посоветовал старец.

* * *

Охотники с гиканьем и криками гнались за стадом сайгаков – степных антилоп. Стадо было огромное и насчитывало, вероятно, несколько тысяч животных. Степь была открыта на все четыре стороны: ни кусточка, ни бугорочка, за которыми можно укрыться, – одни солончаки, охотники стреляли из ружей и луков на полном скаку, вдогонку. Падали сайгаки – одни от пуль, другие, не выдержав стремительного бега.

Над безбрежной степью зажглись звезды. Охотники расположились в жидком саксаульнике, разожгли костры, пекли на вертеле туши, разделявали их, обрабатывали шкуры, засыпали солью.

- Брат Кожожаш, Биялы заболел, теряет сознание, – доложил охотник. Биялы лежал на земле, положив голову на седло. Он бредил.

- Ружье... дайте ружье... я хочу отомстить Мундузбаю за Сонун и за себя! Я хочу убить его, – кричал он в агонии.

Двое держали его за руки.

- Это от солнца... На ноги и голову положите что-нибудь холодное, – распорядился Кожожаш.

Охотники откопали из-под песка бурдюк с водой, намочили тряпки, положили больному на голову и на грудь.

- Завтра двинемся за барханы, в саксаульный лес, сайгаки ушли туда, – сказал Кожожаш.

- Брат Кожожаш, надо возвращаться домой, – посоветовал старый охотник Бакас. Он с опаской смотрел по сторонам. – Я не нашел ни одной черепахи. Это не к добру.

- А может, здесь и не бывает черепах! – возразил Касен.

- Дядя Бакас соскучился по своей старухе! – пошутил кто-то.

Охотники дружно засмеялись. Дядя Бакас обиженно махнул рукой и отошел в сторону.

Настала тревожная ночь дикой пустыни. Розовая луна медленно покидала звездный купол. На разные голоса выли степные гиены, но уставшие охотники спали мертвым сном. Только старый Бакас лежал с открытыми глазами.

По самой земле, поднимая скупую пыль, потянуло горячим ветерком, тихо потрепало кончик его жидкой бородки. Старик насторожился, поднял голову, прислушался. Он уловил голос большого ветра, идущего где-то далеко в степи.

Бакас разбудил Кожожаша.

- Брат Кожожаш. Начинается песчаная буря. Так было сорок лет назад, когда мы пришли сюда впервые. Мы потеряли трех джигитов и восемь коней, – тревожно сообщил он.

- Бей в добулбас, – распорядился Кожожаш. Старик стал бить в небольшой глухой барабан.

Охотники начали торопливо седлать коней, грузить туши сайгаков.

- Надо уходить на юго-запад! – сказал Бакас.

Он посмотрел на предутреннее небо, провел глазами линию по трем звездам и указал направление пути. Охотники, слегка прищипывая лошадей, двинулись по степи.

Когда из-под земли вынырнуло кроваво-красное солнце, песчаная буря свирепствовала во всю.

На белых такырах не было ни пыли, ни растительности, горячий ветер откуда-то гнал по степи тысячи круглых колючих кустарников, песок хлестал по лицу, бил лошадей по глазам, трепал хвосты и гривы, рвал на людях одежду, мешал продвигаться вперед, и вокруг ни кусточка, ни бугорочка, куда можно было бы спрятать голову.

- Смотрите! – вдруг крикнул кто-то из охотников.

Чуть в стороне сквозь песчаную мглу едва просвечивали силуэты каких-то строений...

Это были древние развалины глиняных стен. Всюду виднелись следы огня, черные ямы вырытых в земле очагов, тут и там белели кости людей и верблюдов. Однако развалины показались охотникам райским дворцом спасения. Они сняли с лошадей вьюки, сами расположились вдоль стен.

Буря бушевала два дня и две ночи. Вокруг ни воды, ни травы. Берегли каждую каплю. Две лошади подошли и лежали среди тюков засыпанные песком.

- Дядя Бакас, – позвал Биялы. Старый охотник поднял голову.

- Я не могу больше. Пойдемте, – сказал он.

- Куда? Дальше пустыня. Ветер. Надо ждать.

- Я не могу ждать... Я хочу пить и есть. Я хочу убить Мундузбая, – горячился Биялы. Глаза его лихорадочно блестели.

- Выпей мою долю, – старик подал ему маленький бурдюк.

Биялы жадно допил остатки воды, вывернул бурдюк и начал лизать влажную кожу.

- Теперь ложись, – приказал старик.

Биялы лег на свое место. Когда старый Бакас заснул, он подкрался к нему, взял лук со стрелами, пошел по направлению ветра и исчез во мгле. Утром охотники обошли все развалины, каждый песчаный бугорок – Биялы нигде не было.

Ветер стих также внезапно, как начался, и только сейчас охотники почувствовали страшное зловоние. Затыкая носы, они выкопали из-под песка вьюки: туши сайгаков и шкуры кишели червями. Закопав истлевшие трупы лошадей, сайгачье мясо и шкуры, охотники двинулись в путь по солончаку. К вечеру они заметили, что далеко в стороне от них кружат грифы.

- Биялы погиб, – высказал догадку Касен, указывая на птиц.

Биялы лежал, прижав к груди стрелы. Грифы успели обезобразить его лицо. Могилу начали копать ночью при луне. А когда взошло солнце, прах Биялы уже покоился под серым песчаным холмиком. Охотники провели ладонями по лицам и тронулись в путь, палимые беспощадным солнцем голодной степи. Лошадей оставалось все меньше и меньше. Они падали, не выдержав зноя и жажды. Да и люди едва держались на ногах. Воду раздавали по норме: здоровым по глотку, больным по два. Те, кто был покрепче, шли пешком, коней вели на поводу.

* * *

Старая Сайкал сидела в своем каменном доме у огня. Вокруг нее расположились дети. Низким гортанным голосом она пела старинный сказ об охотнике и проклятии Серой Козы:

– Пстой же, охотник!– кричала Коза.
Послушай, что скажет несчастная мать.
Пстой, не стреляй, во чреве ее
Жизнь зачата, неужели убьешь?
Дай ей материнского счастья вкусить,
Увидеть родное дитя, вскормить,
Прижать его к сердцу, обласкать...
Ведь ты человек! Ты должен понять! –
Умоляла Коза.
Охотник оглох, не слышал Козу,
Он хищником стал,
Как волк, он рычал.
Натягивал лук свой, стрелял и стрелял! –

речитативом пела старая Сайкал.

Саяк лележал у ее ног и, как дитя, плакал навзрыд.
Мальчишки слушали старуху, шмыгали носами.

Серая Коза поднялась на дыбы:
– Всевышним будь проклят весь род твой и ты!
Ты глух. Не услышал ты просьбы моей.
Весь род уничтожил мой, малых детей.
Я горькую чашу испила до дна.
На старости лет я осталась одна.
Остались с тобой. Нам обоим не жить.
Досель я просила – теперь буду мстить! –

закончила старая Сайкал-эне, налила из котла воды, начала пить...

Наступила тишина. Дети сидели, боясь шевельнуться. Даже Саяк перестал плакать и смотрел на мать.

Над ними склонилась застывшая Серая Коза. В остекленевших глазах ее зловеще плясали отсветы костра.

- Иду-ут! – послышалось снаружи.

Девочка лет двенадцати вбежала в каменный дом.

- Сайкал-эне! Идут! – радостно сообщила она.

Мальчишки гурьбой выбежали наружу и затихли: к стойбищу приближались изнуренные голодом и изможденные дальней дорогой люди. Они шли, поддерживая друг друга, как после кровавого побоища. Далеко позади одиноко плелся конь Кожожаша...

* * *

Засухе, казалось, не будет конца до тех пор, пока солнце не выжжет все живое, на вершинах Великих гор не испарится последний снег.

Скала, где некогда шумел водопад, трещала от раскаленного солнца.

Вместо голубого озера зияла пустая высохшая чаша.

Утром старая Сайкал выходила из юрты, смотрела в небо невидящими глазами, печально качала головой:

- Нет, не будет дождя.

Ночью старая Сайкал выходила из своей юрты, смотрела невидящими глазами на луну, с тоской качала головой:

- Нет, не будет дождя!

Трескались раскаленные камни. Утихли муравейники. Глубоко в землю ушли насекомые. Горы опустели. Травы пожухли, сравнялись с серой землей. А солнце продолжало висеть над ветхими юртами охотников, посылая смертоносные лучи, и не было пощады живым.

Ранним утром к дому Кожожаша подошел молодой охотник.

- Брат Кожожаш, исчезла юрта брата Касена. Обыскали всю округу. Нет ни его, ни семьи, – сообщил охотник.

На том месте, где стояла юрта Касена, остался круг стоптанной травы, а там, где только вчера был очаг, слабо дымился обгорелый чурбан. Вокруг молча стояли охотники. Подошел Кожожаш.

- Он ушел к Мундузбаю, – сообщили ему.

- Ружье? – спросил Кожожаш.

- Унес с собой, – ответили ему.

- Предатель, – сказал Кожожаш и сжал ружье.

- Это Батма виновата, она увела его к своим родичам, – сказал один из охотников...

* * *

Кожожаш с ловкостью снежного барса прыгал с камня на камень, по висячим корням арчи скользил вниз, вплавь перебрался через горный поток, в какой-то миг голова его исчезла под белой пеной, но он выплыл, выбрался на другой берег, по крутому склону взобрался на хребет.

Внизу, в долине шел Касен и вел на поводу тощего коня, навьюченного скудным скарбом. В седле сидела Батма с ребенком. Кожожаш соскользнул вниз, и перед Касеном выросла его грозная фигура. Кожожаш держал своего бывшего друга «на мушке».

Касен протянул руку ладонью вперед.

- Кожожаш, пощади! Двое детей моих погибли от голода и стужи. Остался один, если умрет этот – род мой оборвется. Батма обезумела от горя, – сказал он.

Батма прижала к груди больного ребенка и глупо улыбалась.

- Ты предатель! – Кожожаш направил ружье в грудь Касена.

- Я хочу жить! – сказал Касен, опустив руку.

- Ты изменил дружбе и братству! – Кожожаш нажал на курок, но выстрела не последовало. Видимо, заряд отсырел, когда он перебирался через реку. Кожожаш перезарядил ружье и – вновь осечка. Он отбросил ружье в сторону, снял с пояса широкий кинжал и пошел на бывшего друга, как на лютого врага.

Касен вмиг снял с плеча ружье, метким выстрелом выбил кинжал, перезарядил, взял Кожожаша «на мушку».

- Ты хочешь напасть на Мундузбая, нарушить клятву предков. Остановись, пока рука твоя не обагрилась кровью человека! – потребовал Касен.

Кожожаш наклонился, чтобы поднять кинжал, но Касен выстрелил еще раз, и кинжал, сверкнув холодной сталью, улетел неведь куда.

- Это ружье добыто трудом всех братьев. Ты вор! – сказал Кожожаш. – Духи предков не простят тебя.

Касен вынул заряд, посмотрел на ружье, швырнул его к ногам Кожожаша, взял поводок коня и пошел дальше.

Кожожаш остался стоять на дороге с двумя ружьями. Без зарядов они были не страшнее двух палок.

- Ты уходишь, как трус! – крикнул Кожожаш.
- Я не хочу братоубийства! – отозвался Касен.

* * *

Недалеко от юрты стоял маленький як Калыгула. Несколько охотников подошли к нему, похлопали по спинке, зашли в юрту.

- Калыгул, – обратился к мальчику Калыс, – мать-Сайкал говорила с богом. Небо не пошлет нам дождя, пока не принесем жертву. У нас нет ничего живого, кроме твоего яка, – виновато добавил он.

Калыгул заплакал.

- Ты же не захочешь, чтобы я и все твои друзья умерли с голоду? – убеждал сына Кожожаш. Мальчик перестал плакать.

Яка поймали, привязали за рожки, привели к Калыгулу. Глотая слезы, он поцеловал своего друга, обнял за шею. Яка увели на лужайку. Старики сняли пояса, набросили на свои шеи. повернулись к восходу.

- О небо! Если род наш провинился перед тобой, виноваты мы. Прости нас, старых и грешных детей бренной земли! Если нужна тебе человеческая жертва, заведи нас и удовлетворись! Не трогай детей наших и внуков, дай им время цвести и продолжать род! Мы довольны, что ты создал нас, мы прожили, попили и поели, повидали судьбу, которую начертал ты на лбу каждого. Зубы наши пожелтели и стерлись от времени, состарились тела и души наши! Забери нас к себе, о небо! Не дай нам увидеть смерть своих детей и внуков, дай нам уйти раньше их. Не дай погибнуть животным и травам! Не пожалей капельку животельной влаги. Напой жаждущую землю, верни ей жизнь! О-о! Синее небо! – Старики опустили на колени и воздели руки.

Охотники повалили яка на землю.

- О Святая Кайберен, не гневайся на детей моих и храни нас от беды. Наполни нашу Голубую чашу водой! Пусть треснет земля – выйдет на свет зеленая поросль! Пусть лопнет вымя – польется молоко! – взмолилась Сайкал-эне.

По иссохшей земле разлилась алая кровь. Над Великими горами поплыли черные лохматые тучи. Саяк смотрел на небо и глупо улыбался. Тяжелая капля упала ему на лоб, покатила по щеке. Юродивый засмеялся, как младенец, слизнул дождевку.

Упала вторая капля, третья... Сверкнула молния. Громыкнул гром.

Дети сидели в каменном доме Сайкал-эне, Ждали, когда сварится мясо. Саяк исполнял танец одинокого стебелька: вот он лежит, изнывает от жажды и умирает. «Умирает» голова его, иссыхает тело, конечности, лишь один мизинчик пальца руки пульсирует нервно и судорожно в такт затихающему сердцебиению, кажется, вот-вот оборвется и этот последний признак жизни. Но вот пошел дождь, и стебелек начал оживать так же медленно, как умирал. встал на ноги и... О небо! О солнце! О жизнь!

Саяк в одних штанах плясал под ливнем.

Мальчишки с Калыгулом, раздевшись догола, подражали ему и восторженно хохотали.

Огромные ленивые псы глодали кости.

Спустилась ночь. Заблестели мокрые скалы. В каменном доме Сайкал-эне спали дети.

Чуть свет первым проснулся Калыгул и услышал шум воды.

- Водопад! – крикнул он и тут же вскочил на ноги. Дети выбежали из каменного дома. – Водопад! Водопад!

Обгоняя друг друга, мальчишки и девчонки бежали к Голубой чаше. Впереди мчался Калыгул. Саяк радостно скулил и ковылял за ними.

Добравшись до края котловины, дети замерли как замороженные. Там, внизу, голубело озерцо. Сверху низвергались жемчужные брызги. Вся долина была в ореоле яркой радуги. С разных сторон парами, в одиночку, с молодняком спускались козероги, пятнистые олени, косули, они жадно пили воду из Голубой чаши, поднимали головы, раздували ноздри, чуть передохнув, вновь припадали к долгожданной влаге жизни.

Калыгул вывернул свою одежду из козьей шкуры мехом наружу и на четвереньках пополз вниз по склону, другие мальчишки последовали его примеру. Дети подползли к Голубой чаше припали к воде и начали пить вместе с молодняком. Матки, видимо, приняли их за своих детенышей и вели себя спокойно. Напившись досыта, Калыгул надвинул на лоб шапку, подполз к козленку с короткими рожками и сделал стойку, козленок тут же поднялся на дыбы, они начали бодаться и резвиться.

Саяк остался на краю чаши и любовался игрой детей и козлят. Вдруг до его слуха донеслись звуки глухого барабана. Он поднял голову, заскулил, как щенок, и бросился к стойбищу.

Старый Бакас стоял на бугре и колотил в добулбас.

Из юрты выходили охотники, готовили луки, стрелы, звали собак. «Повезет ли тому, кто упустит пойманного зайца?» – гласит народная мудрость, а тут само стадо пришло к порогу голодающих охотников.

Подбадривая друг друга радостными приветствиями и шутками, охотники двинулись в сторону Голубой чаши.

- Стойте! – перед охотниками возникла слепая Сайкал.

- Животные пришли к нам, чтобы спастись от сухой смерти, а вы хотите убить их?! Святая Кайберен не простит! – закричала старуха, расставив руки. Саяк скулил и плакал, прижавшись к матери, пытался что-то сказать, но взрослые не обращали на него внимания.

- Сайкал-эне! Нам нужны ружья и лошади. Мундузбай готовит нападение. Касен предал нас. Он покажет дорогу, – сказал Кожожаш.

- Я спущусь к нему, не допущу братоубийства! – сказала старуха.

- Он бросит вас в глубокий зиндан и будет кормить, как собаку! Благословите нас на охоту! – потребовал Кожожаш.

- Нет! Нет! Не-ет! – старуха замотала головой. Кожожаш опустил ружье. Охотники затихли.

- Смотрите! – крикнул молодой охотник.

Большое стадо козеров, поднимая пыль, спускалось вниз по склону. Кожожаш увидел животных, и в глазах его заиграл огонь охотничьего азарта. Он зарядил ружья и двинулся к водопаду. Несколько охотников пошли за ним, а потом двинулись и те, кто не решался идти без благословения старой матери. Охотники, обгоняя друг друга, бежали к водопаду.

- О Святая Кайберен! Мои дети пошли убивать твоих детей! Я не могу остановить их. Прости меня! – впервые в жизни зарыдала старуха.

Саяк прижался к матери и завыл. Мимо старухи и плачущего юродивого пробежали охотники с луками и стрелами. Впереди гудел и манил водопад...

Кожожаш вскарабкался на гребень и... замер. Вокруг Голубой чаши безмятежно и спокойно паслись козероги: маралы, элики, резвились малыши, степенно ходили самки. Вожак стада старый Ала-Баш, раскинув могучие рога, стоял на бугре и тревожно поглядывал вокруг. Серая Коза, утолив жажду, лежала у его ног, устало жевала жвачку. В глазах Кожожаша заиграл огонь. Ему уже чудилось, как они бросают к ногам купца шкуры и панты, а взамен получают ружья. Много ружей. А потом в том же порядке, в каком шли ойроты, охотники идут на кочевье Мундузбая, только вместо луков и сабель у каждого ружье. Он знаками показал, чтобы охотники обошли чашу, прикрыли выходы и ждали сигнала. Кожожаш отыскал точку, откуда, как на ладони, была видна вся котловина и окрестности, деловито установил ружье, положил патроны, взял на мушку ближнего козла. По горам прокатился гром. Животные замерли, метнулись в разные стороны, начали падать один за другим: смертоносные пули настигали их и укладывали на землю. Два охотника едва успевали перезаряжать ружья. Животные бросились к кустарнику, но оттуда полетели стрелы и дротики. Дети, что играли внизу с козлятами, как только раздался первый выстрел, в панике бросились вверх. Помогая друг Другу, они начали карабкаться по узкому ущелью вместе с козлятами. Калыгул помогал малышам выбраться из Голубой чаши. Внизу металась Серая Коза с двумя козлятами. Кожожаш уложил козленка, потом второго.

Глаза Кожожаша горели огнем. Он ничего не слышал, ничего не видел, кроме добычи.

-Давай! Заходите справа! Гоните слева! Это наша последняя охота! – в азарте орал он и продолжал стрелять. Два проворных охотника наперебой заряжали ружья. Вскоре почти все стадо было перебито. Только у крутой скалы прижались друг к другу несколько козлят и вожак стада Ала-Баш с Серой Козой. Кто-то из охотников пустил в них стрелу.

- Не надо, оставим их на развод, – сказал Кожожаш и первым спустился в котловину. Ала-Баш вскинул могучие рога и ринулся на охотника. Кожожаш едва успел отскочить в сторону. Козерог пронесся мимо, развернулся и бросился вновь. Кожожаш выстрелил. Раненый вожак продолжал атаковать. Вторая пуля попала ему в сердце.

- Старый безумец! – сказал Кожожаш, снял с пояса кинжал, подошел к козерогу, чтобы снять с него шкуру и...

Дикий вопль потряс небо – среди мертвых козрогов лежал и его Калыгул. На груди мальчика краснела маленькая дырочка.

Кожожаш колотил ружье о камни, рвал траву и грыз землю, а потом упал на труп сына и затах. Охотники молча стояли вокруг.

Саяк, рыдая и скуля, подвел старую Сайкал. Старуха оцупала Калыгула...

- Серая Коза отомстила за своих детей! – сказала старуха.

- Прости меня, мать-Сайкал! – Кожожаш бросился к ногам столетней женщины.

- Ты проклят небом! – сказала старуха каменным голосом. Охотники в страхе отступили от Кожожаша.

Саяк взял старуху за руку и увел прочь. За ней двинулись все другие. На поляне остался один Кожожаш с мертвым сыном, среди убитых животных.

Вокруг цвели красные цветы. Со скалы падал красный водопад. В Голубой чаше бурлила красная вода. На багровом небе красное солнце уходило за красные скалы... Серая Коза ходила по поляне, обнюхивала мертвых козлят и плакала...

Кожожаш поднял голову и увидел... женщину с необычными глазами. Рваные одежды прикрывали ее стройное тело. Это была Айке. Она держала за руку мальчика в козьей шубке. Она улыбалась. С груди ее сбежала алая струйка крови. Точно так же, как в тот раз, когда он ранил Серую Козу. Кожожаш поднялся и пошел к ней...

Временами Айке превращалась в обыкновенную раненую Серую Козу. Из вымени ее струилось молоко. Серая Коза шла по горам, по долам, звала своих детей. За ней, как тень, шел Кожожаш. Он слышал ее блеяние и шел по крутым тропам, через высохшие русла рек, через еловые леса и колючие кустарники, через пески и болота. Вместо одежды – лохмотья. Борода, волосы – белые, взлохмаченные, красные глаза слезились от ветра и зноя. Он был страшен.

Серая Коза пядь за пядью поднималась по отвесной скале, увлекая за собой своего преследователя. Человек карабкался за ней. Вот она взобралась на вершину скалы, остановилась, словно ждала его. Кожожаш шел из последних сил, наконец добрался до вершины. Вот она, Серая Коза! Совсем рядом, ее можно схватить голыми руками, свернуть рога, задушить.

Злая судьба! Коза стояла с изодранными боками, хромя, жалкая, худая, беспомощная, но Кожожаш вместо нее видел прекрасную Айке. Она улыбалась. Кожожаш лег на живот и пополз как раненый змей. Серая Коза в отчаянии бросилась со скалы вниз, увлекая за собой лавину камней. Обратный путь был отрезан. Человек остался на маленьком выступе. Внизу – пропасть. Вверху – синее небо. Там парили черные грифы. Глаза у птиц зоркие, неподвижные. Они ждали добычу. Кожожаш схватил нож, ударил им по скале. Он откалывал куски гранита и продолжал стучать. Днем. Вечером. Ночью. Руки его были разбиты в кровь, нож изъеден. От скалы отлетали снопы искр.

Грифы спускались все ниже. Глаза их, хищные и неподвижные, не отрывались от умирающего охотника. А он продолжал высекал на граните то, что хотел сказать людям, пока жив. Солнце медленно поднялось из-за гор, осветило бездыханное тело Кожожаша, рукоятку ножа, рисунки, выбитые им на скале:

Солнце.

Человек.

Дымок, идущий из юрты.

Бегущие дети.

Козероги с могучими рогами.

Скелеты животных.

Солнце поднялось еще выше. На лужайке у ручья Серая Коза облизывала двух маленьких козлят.

В небе парили орлы. Кругом царил сказочная гармония природы. Цвели цветы. Щебетали птицы. Шумел водопад. Голубая чаша светилась в ореоле радуги.

Над горами звучали струны комуза, в мелодию которого вплетался гортанный голос столетней Сайкал-эне:

Ой, Карагул, мой верблюжонок!

Вот и нет тебя на свете.

Где мы найдем теперь тебя?

Ой, Карагул, мой верблюжонок,

Заставил сердце кровоточить.

Ой, Карагул, мой сосунок,

Зачем надел ты козью шкуру?

Шелохнулась там трава,

Дымок рассеялся едва,

К добыче бросился – о ужас!

Голова твоя мертва,

Когда я целился в тебя,

Почему молчала грудь?

Когда спускал курок ружья,
Зачем не дрогнула рука?
Ой, Карагул, мой сосунок!
Ой, Карагул, мой верблюжонок.

Голос древней женщины жутким плачем плыл над Великими холодными горами... Постепенно мелодия как бы ушла в глубину веков. Начал нарастать вой ветра. Скалу с рисунками замело снегом...

* * *

Вот какую грустную сказку сложил мой народ много веков назад, и дошла она до наших дней благодаря тому, что таит в себе глубокую мудрость. Ты хорошо знаешь, мой юный друг, что сегодня все добрые люди нашей теплой планеты стремятся сохранить чистоту воды и воздуха, жизнь людей и животных, плодородие нашей кормилицы Земли. Цивилизованный мир тревожно заговорил об этом только теперь, накануне двадцать первого века, но народ думал и заботился о природе еще в тот далекий период, когда не было на земле ни аэродромов, ни полигонов, ни автомашин. Во все времена народ был мудрым, неутомимым творцом: создавал полные поэзии песни, сказки, легенды, эпос и передавал их из уст в уста. Одним из таких творений является сказ об охотнике Кожожаше, который вступил в борьбу с Серой Козой, уничтожил все ее потомство. Серая Коза завела его в неприступные скалы и оставила его там навсегда. Так она отомстила за гибель своих детей – природа беспощадна к тому, кто пытается нарушить ее гармонию, обусловленную и сложенную миллионами лет.

Есть легенда и о другом охотнике, который в азарте добычи случайно застрелил родного сына. От этой легенды сохранился только плач-причитание. Известный кинорежиссер Т. Океев посоветовал мне соединить эти две легенды, и, как ты заметил, они легли в основу моего повествования! Я, надеюсь, у тебя хватит великодушия простить меня, если сказка показалась тебе скучной. Счастья тебе, мой друг!

ДРУГ МОЙ ВЕРНЫЙ – РУССКИЙ ЯЗЫК

Статья

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?»

Эти слова, сказанные выдающимся сыном Великой Руси Иваном Тургеневым более ста лет назад, я повторяю сегодня, как собственную молитву. Русский язык оказал благотворное влияние на судьбы моих предков, на мою жизнь и творчество.

Дед мой до Октябрьской революции окончил русско-туземскую школу, работал переводчиком в суде, в бунте 1916 года погиб в Китае. Отец мой, Ташим Байджиев, окончил русфак пединститута, учился у гениального лингвиста Е.Д. Поливанова, у выдающегося кыргызского литератора К. Тыныстанова.

В годы Великой Отечественной войны иссык-кульские писатели: Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Жума Жамгырчиев, Жекшен Ашубаев, Кусеин Эсенкожоев – погибли на фронте. Живым вернулся один мой отец. В бою под Киевом старший лейтенант Байджиев шёл за своей ротой, как и полагалось командиру. Шквальный огонь уничтожил весь первый эшелон. Отец был ранен, но остался жив. Он не отличался особым здоровьем, да и по росту был, как говорится, левофланговым. До командира роты он дослужился, разумеется, благодаря отличному знанию русского языка, что и спасло ему жизнь.

Двухязычным, или, как теперь говорят, билингвом, я был с детства. Выдающийся манасчи Рысмендеев, от которого отец записывал эпос «Манас», научил меня исполнять отрывки из него. В детском саду я читал стихи С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто. Четвёртый класс окончил в глухом аиле. Вернувшись во Фрунзе, пошёл в русскую школу и вновь начал с четвертого класса, так как в годы войны успел подзабыть русский язык. В 1950 году моего отца и его друга-соавтора Зияша Бектенова репрессировали как последователей буржуазных националистов А.Н. Веселовского, Е.Д. Поливанова, К. Тыныстанова, И. Арабаева: в своём учебнике по фольклору они называли С. Орозбакова и С. Каралаева выдающимися манасчи.

В предсмертном письме из Карагандинского лагеря отец завещал, чтобы я никогда не занимался языком и литературой, а поступил на строительный факультет.

В русскоязычной мужской школе № 6 обучалось около тысячи ребят. Здесь учились дети именитых родителей – писателей, секретарей ЦК, руководителей Совмина. И тем не менее каждый год меня избирали главным редактором школьной стенгазеты, а я соглашался, так как не мог представить себя прорабом.

В 1952 году отец умер в Карлаге от истощения организма. Я жил надеждой, что он добьётся оправдания и вернется домой. Но он ушёл из жизни с ярлыком «враг народа».

Сын Зияша Бектенова поступил на журфак МГУ, все экзамены сдал на «отлично», но министр просвещения Токтогунов с трудом зачислил его в институт связи: там был недобор.

Я корил себя за то, что не выполнил отцовского завещания и после седьмого класса не ушёл в стройтехникум. Уже бы работал и кормил семью. Но вдруг к десятому классу обнаружилось, что у меня от природы поставленный драматический тенор диапазоном в две с половиной октавы, причём абсолютно европейского тембра.

В те годы интеллектуальная молодёжь увлекалась классикой. На экранах демонстрировали музыкальные фильмы «Молодой Карузо», «Большой концерт», «Паяцы», «Кармен», «Евгений Онегин»; в оперном с аншлагом шли «Травиата», «Фауст», «Риголетто». Нашими кумирами были Лемешев, Нелеп, Пирогов, Рейзен и, конечно, итальянские певцы: Марио Ланца, Марио Дель Монако, Энрике Карузо, Тито Руффо, Тито Гоби.

На прослушивании в музучилище я спел арию из «Риголетто» в стиле Марио Ланца и киргизскую песню – точь-в-точь как её автор и исполнитель Абдылас Малдыбаев, который был председателем приёмной комиссии и директором музучилища.

- У отца твоего был точно такой же голос, когда мы учились с ним в педтехникуме, – сказал Малдыбаев и поцеловал меня. По щекам его текли слёзы.

В музучилище я поступил на первый курс по вокалу. Параллельно заканчивал десятый класс. Увлёкшись музыкой, быстро освоил ноты, сольфеджио; причём историю мировой оперы; выучил теноровые партии «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Риголетто», «Травиаты», «Кармен», «Паяцев», романсы Чайковского и Рахманинова, ну и, конечно, популярные итальянские серенады.

Мой педагог Серафима Ивановна Алексеева не чаяла во мне души. На занятия приносила бутерброды, после занятий кормила меня дома, зная, что мы живём впроголодь. В школьных кругах росла моя популярность – теперь уже как артиста. Моё имя переименовали на итальянский манер, и я был уже не Мар, а Марио. Однажды в клубе Советской Армии меня вызывали на бис четыре раза.

- В любом театре ты будешь на вес золота, – говорил мне муж Серафимы Ивановны, Николай Петрович, контрабасист оперного театра. – Тебя ждёт Большой театр и «Ла-Скала». У тебя редчайший голос. Публика будет рыдать и плакать. А девки будут сохнуть идохнуть.

А Малдыбаев, встретив мою маму на улице, сказал:

- Мария, ты не убивайся. Ташим оставил тебе талантливую сына.

Я жил и учился вдохновенно. Особенно щекотали моё юношеское самолюбие прогнозы Николая Петровича насчёт сохнувших идохнувших девок и рыдающей публики. Но, самое главное, я вдруг поверил, что могу утвердить себя как личность через искусство и тем самым восстановить поруганную и загубленную честь отца, его фамилию.

В 1954 году, окончив десятый класс и первый курс музучилища, я на ура прошёл в Московскую консерваторию.

В Москве было неуютно. Меня тяготило ощущение, что там, дома, я не только оставил полуголодную семью, но и ушёл от чего-то главного. К тому же с наступлением холодов начал мёрзнуть и голодать, застудил горло. В Москву я приехал в тряпочных белых ботинках на резиновом ходу, в лёгкой одежде, из которой заметно вырос. Вспомнил, как в Минкультуре мне обещали, что постпредство Киргизии в Москве возьмёт меня на особое попечение, и пошёл просить матпомощь. В отделе кадров увидел копию своей автобиографии, где жирным красным карандашом были отчеркнуты графы о социальном происхождении и семейном положении и поставлен знак вопроса.

Невольно вспомнились слова популярной в те годы кубинской песни:

Где б ты ни плавал,
всюду к тебе, мой милый,
Я прилечу голубкою сизокрылой.

Моя «сизокрылая голубка» в обличий КГБ нашла меня и здесь. Забегая вперёд, скажу, что в дальнейшем она находила меня, по каким бы волнам жизни я ни плавал, – даже после полной реабилитации отца.

Я купил плацкартный билет, две буханки хлеба, три банки кабачковой икры и через неделю прибыл во Фрунзе. Сразу же побежал в университет: может быть, зацеплюсь хотя бы на очном отделении филфака. Увы, поезд, как говорится, ушёл.

В 1955 году я поступил на филфак КГУ. Параллельно занимался на третьем курсе музучилища, продолжая выступать на концертах. Однако к своим музыкальным успехам я вскоре начал охладевать, отдавая предпочтение новому делу – русскому языку и литературе.

В КГУ приветствовали моё увлечение музыкой, но в музучилище вопрос поставили ребром: или-или. Меня вызывали к министру культуры, в оперный театр, обещали высшую ставку солиста, даже квартиру. Но я был неумолим! Кончилось тем, что я ушёл из музучилища. Особенно тяжело было расставаться с моей любимой Серафимой Ивановной.

- Бог не дал нам детей. Поверили, что на старости лет у нас появился сын, а ты уходишь, – заплакала старушка.

- Сима не спит, узнав о твоём отчислении, – вторил жене Николай Петрович. – Она мечтала вырастить из тебя большого артиста и гордиться. Может, не уйдёшь, а! Что тебе даст твой филфак? Ну, будешь учителем. Ну, будешь корпеть в читальных залах! А тут и слава, и почёт, и деньги!

Я сбежал с третьего этажа вниз. Опустился на каменную лестницу и расплакался. Какую же глубокую травму я нанёс этим одиноким и добрым людям. А может вернуться?.. Я выкурил сигарету, вышел во двор и поднял голову. На балконе два милых лица. Серафима Ивановна плакала. А Николай Петрович хриловатым голосом прокричал:

- Марик, не забывай нас! Мы всегда будем рады тебе! Я ушёл не оглядываясь. Боялся вернуться назад.

И больше я их не видел. Не хотел напоминать о несбывшейся мечте. А портрет моей милой Серафимы Ивановны храню уже полвека...

В университете я увлёкся теорией языка и литературы, старославянским языком, художественным переводом. Часами просиживал в читальных залах, как и предрекал мне Николай Петрович. Простудировал «Повесть временных лет», до сих пор помню наизусть фрагменты из «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» на языке оригинала.

К великому счастью, на филфаке работали педагоги, преданно любящие свой предмет. Многие из них когда-то учились и работали с моим отцом, на киргизском отделении преподавали его ученики. Мы, русисты, были влюблены в своих педагогов: Е.К. Озмителя, М.А. Рудова, Г.И. Хорольца, А.Е. Супруна, Г.С. Зенкова, Ф.А. Краснова. Я чувствовал себя, как в родной семье, среди старших братьев.

Вскоре состоялся XX съезд КПСС. Из тюрьмы вернулся друг моего отца Зияш Бектенов, в университете появился Хусаин Карасаев. Моего отца и его учителей – Е.Д. Поливанова и Касымалы Тыныстанова – реабилитировали посмертно.

Я учился и работал едва ли не круглые сутки. Содержал двух сестёр, брата и маму на гонорар за музыкальные радиопередачи, но в основном за переводы. С русского на киргизский переводил Чехова, Гоголя, Фурманова; с киргизского на русский – Токомбаева, Абдумомунова, Маликова. Меня посылали на всесоюзные семинары переводчиков, где я встречался с выдающимися писателями тех лет.

Свои научно-критические работы я писал, как правило, на русском языке, первые рассказы и пьесы – на киргизском. Родной язык кормил и придавал силы. Русский язык поил живительной влагой.

И это были самые счастливые годы моей юности, а может быть, и всей жизни.

Потом работал литературным редактором на киностудии, корреспондентом центральных газет. И всё это благодаря русскому языку.

А когда стали обретать популярность мои художественные произведения: повести, рассказы, сценарии, – пришёл и мой черёд испытать на себе, что такое зависть, клевета, несправедливость – злые силы, преследующие свободную творческую личность.

- Как волка ни корми – он всё в лес смотрит. Айтматов и Байджиев хотят отомстить за своих отцов, поэтому отображают негативные стороны нашей жизни.

Так говорил с трибуны парторг Минкультуры – бывший однокашник моего отца по педтехникуму. В 1948 году, будучи директором Института языка и литературы, он уволил его «за систематические идеологические ошибки», что послужило главным обвинением при вынесении приговора отцу.

Драматическая новелла «Дуэль», написанная на русском языке, была опубликована в журнале «Театр», затем поставлена в десятках театров Союза и за рубежом, в том числе в

трёх театрах Москвы. Однако постановку Т. Океева на киргизской сцене из репертуара сняли: в реплике персонажа о том, что «правда жизни – это движение материи, а всё остальное мораль и пропаганда», обнаружили выпад против отдела пропаганды ЦК КПСС.

Сборник рассказов и повестей «Чужое счастье» изъяли из продажи: в названии книги усмотрели неприязнь автора к счастливой жизни советских людей.

Другой бдительный «солдат партии» пронюхал, что мою пьесу «Поезд дальнего следования» печатают в журнале «Театр». По требованию ЦК КП Киргизии 40 тысяч экземпляров союзного журнала пустили под нож. Спектакль, поставленный в русском драмтеатре, запретили играть. Директора театра сняли с работы. Министру культуры, присудившему за неё первый приз закрытого конкурса, объявили выговор.

На всю жизнь запомнилось партсоборание в Союзе писателей 30 июня 1970 года.

Заведующий секцией по драматургии (опять-таки один из однокашников моего отца по педучилищу, автор моих переводов на русский) после короткого вступления о достижениях нашей драматургии перешёл на мою персону.

- С Байджиевым надо поступить так, как говорил Горький: «Если враг не сдаётся, его уничтожают», – заключил докладчик.

Министр культуры огласила сведения Всесоюзного агентства по авторским правам: мои пьесы идут в 98 театрах Советского Союза, в Германии, Болгарии, Чехословакии, Австрии, Румынии...

Тут поднялся наш самый почтенный аксакал и сказал, что он никогда не читал моей прозы, никогда не видел моих пьес, но считает своим долгом высказать по ним своё мнение:

- Пьесы Байджиева ставят наши идейные враги. Значит, в них есть антисоветские идеи. Рассказ одного нашего писателя похвалил Луи Арагон, за что автору дали Ленинскую премию. А этот Арагон оказался нашим врагом. Организовал выступление западных деятелей культуры против политики партии и правительства. (Аксакал имел в виду письмо двухсот деятелей культуры, осудивших ввод советских танков в Чехословакию.) А как пьесы Байджиева попадают за границу?

- Через русский перевод, – ответили ему.

- Министерству культуры надо запретить переводить пьесы Байджиева на русский язык, не выплачивать гонорар, – предложил аксакал.

- Он сам переводит свои пьесы, в Москве они проходят цензуру и уходят дальше, – ответила министр культуры.

И моим недругам пришлось прикусить языки. А я ликовав: меня спас мой верный, непобедимый русский язык.

Это треклятое собрание длилось до семи часов, а в восемь мне сообщили, что полчаса назад погибла моя девятилетняя дочь. Девочка не дождалась меня, в пять часов подошла к техническому бассейну и упала в воду. Я был убит горем... Телеграммы, звонки шли со всего Союза, но ни одна местная газета не опубликовала соболезнования.

Гибель любимой дочери так потрясла меня, что я не мог подойти к письменному столу. О чём писать? Для кого писать, если перестал верить в добро, в друзей, в людей, в правду! Не радовали меня приглашения на премьеры, хвалебные рецензии в союзной и зарубежной прессе, письма зрителей, благодарность режиссёров, актёров...

Невольно вспоминал трагическую кончину Есенина, Маяковского, Джека Лондона, слова Пушкина:

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:

Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.

Наверное, великий поэт писал эти строки в минуты горького отчаяния...

Не знаю, чем бы всё кончилось, если бы «Литературная газета» не пригласила меня своим штатным собкором. Думаю, опять-таки по той причине, что я был двуязычным.

В Москве, в Доме журналистов, в театрах, где ставились мои пьесы, в редакциях и издательствах – я везде оказался нужным человеком. Меня звали на работу в Москву – в Союзкино, в Ташкент – главным редактором «Узбекфильма», в Алма-Ату – редактором журнала «Простор»... И я начал побеждать своё горе, обретать веру в жизнь. Я снова взялся за перо. И начал писать исключительно на русском. И молился на него, повторяя слова Тургенева: «Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?.. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Вскоре появились мои книги, изданные в Москве. В театрах играли мои пьесы. В союзных журналах печатали мои переводы. На экранах шли фильмы по моим сценариям, получавшие премии и призы на всесоюзных и всемирных кинофестивалях. По моим пьесам и новеллам защищали дипломы будущие режиссёры театров и кино.

В союзных республиках мои произведения переводились с русского на языки народов СССР. Фильм, снятый на «Узбекфильме» по повести «Чужое счастье», получил первый приз Всесоюзного кинофестиваля за глубокое отображение советской действительности. По настоятельному требованию секретаря Союза писателей СССР А.Д. Салынского журнал «Театр» опубликовал драму «Поезд дальнего следования», после чего её начали играть на многих сценах страны, а позже сняли фильм «Поезд дураков».

На киргизскую сцену мои пьесы возвращались через два-три года, обойдя подмостки театров Союза и зарубежья. Киргизский вариант я делал сам – исключительно по просьбе театральных коллективов. Менял имена героев, вносил психологические нюансы, обогащал языковой колорит диалогов.

Официальные органы СМИ Киргизской ССР о моих литературных делах информации не давали. В официальных докладах Союза писателей Байджиев проходил под псевдонимом «и др.». Я числился в чёрном списке... А я и не переживал. Я был твёрд и спокоен. Я молился своему спасителю и верному другу – моему великому русскому языку.

ТРОПОЙ ЧЕЛОВЕКА

Диалог по поводу новой книги

Хотелось взять интервью у известного писателя. Классического интервью не вышло. И не потому, что не удалось встретиться. Просто Мар Ташимович Байджиев в разговоре слишком активен. Он не дожидается вопросов, а начинает говорить сам – о том, что считает важным, главным. И от собеседника не вопросов ждёт, а полнокровного, обмена мнениями. Не прочь и поспорить.

Начало нашей беседы, конечно, следует искать не там, в небольшом зеленом автомобиле, возле Киргизского Академического драмтеатра, куда Байджиев – драматург приехал на репетицию. Начало было в книгах. Книги заставляли переживать, думать.

Новый год уже стоял у порога. Легкий, мягкий туман ласкающе наплывал на обеснеженную улицу, время от времени неслышным шагом из тумана в туман переходили улицы редкие прохожие. Автомобиль стоял на одном месте. А мы ехали. Путь наш был не близок.

Владимир Мельник – Мар Ташимович, недавно в Москве вышла новая и, видимо, лучшая и в каком-то смысле итоговая книга Вашей прозы, под названием «Осенние дожди». Наш разговор будет отталкиваться от этой книги, но, в сущности, речь пойдет обо всем Вашем творчестве. И, естественно, первый вопрос, который хочется задать: как понимаете Вы назначение писателя? Какой мотив явился ведущим в Вашем собственном творчестве, что вело Вас по писательской дороге!

Мар Ташимович – Мне кажется, что у настоящего писателя всегда есть ощущение двух нравственных полюсов: добра и зла. Писатель живет между двумя этими полюсами. Или можно сказать иначе. Художник просто обязан ощущать, чувствовать, переживать – боль и любовь. Они постоянно сталкиваются, взаимодействуют и в мире, и в душе художника. А ведь это и есть драма. Без драмы нет личности, следовательно, нет и творчества. Писатель не состоится, если он не обращается к трагедиям века и мира, к драме взлетов и падений человеческой души. Из подлинно драматичных произведений последнего времени в качестве примера могу назвать «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова. Сам эпос здесь проникнут трагедией. Живое, человеческое, теплое постоянно сталкиваются в романе с мертвым, бездушным, напоминающим глухую стену. Большие изменения, происходящие в нашем обществе в последнее время, с особенной силой подчеркнули правоту Чингиза Айтматова.

В.М. – Не эти ли принципиально важные для Вас установки предопределили Вашу тягу к драматургии, и не только к драматургии, но и, я бы сказал, к «драматургической прозе»? Об этом, разумеется, уже писали и говорили неоднократно. В частности, в предисловии к «Осенним дождям» критик Вадим Ковский, заметил даже большее: проза Байджиева кинематографична.

М.Т. – Да, я сторонник динамичной, или, если угодно, драматургической прозы. Писатель не должен говорить за героя, помогать ему проявляться на сцене произведения. Герой должен жить сам, и о его состоянии читатель должен сразу догадываться по внешнему и внутреннему жесту, движению. Искусством такой прозы в полной мере владел, например, Хемингуэй, В финале романа «Прощай, оружие!» есть сцена: герой теряет свою возлюбленную. Для него это огромная потеря. Автор мог бы здесь развить подробнейший психологический анализ, перечисляя длинный список горестных ощущений героя. Но этого нет. Хемингуэй просто пишет, что герой пошел по улице. Он пошел – и все. Но по его спине я, читатель, вижу все, что переживает этот мужчина. Так же драматично, сочно, выразительно написана «Соть» Леонида Леонова. В «Русском лесе», на мой взгляд, появилась уже некоторая нарочитость. Такую же эволюцию в свое время пережил и Гончаров. Еще в детстве я прочел «Обыкновенную историю» – и она потрясла меня: с такой простотой и естественностью выразилась в этом романе глубокая трагедия человеческой личности. А вот «Обрыв» понравился меньше, в этом романе есть изощренность и условность.

В.М. – В связи с последним Вашим замечанием. Я вспоминаю, что в период работы над «Войной и миром» Лев Толстой произнес фразу, от которой потом отрекся: «Проза Пушкина гола как-то». Толстой в своем главном романе достиг высочайших вершин психологического анализа, но неизвестно еще, что читается с большим и напряженным интересом – описания действий героев или их внутренние монологи. Главное – движение мысли. А это возвращение к Пушкину. Помните, в «Станционном смотрителе» приехавший в Петербург Самсон Вырин заглядывает с великим душевным смущением в комнату, где на подлокотнике кресла

сидит его любимая Дуня и играет локоном гусара? Помните, в каком лаконичном жесте выразил Пушкин весь драматизм, всю невероятную психологическую сложность ситуации! Дуня вскрикнула и упала в обморок. Динамизм не утрачен, а что происходит с героями и почему? – читателю догадаться несложно. В недосказанности Пушкина есть место для роста читателя. Каждый раз по мере духовного взросления и мужания читатель неизбежно прочтет эту сцену иначе: глубже, драматичнее. И все же литература идет разными путями, которые то сходятся, обогащая друг друга, то вновь расходятся. Была, есть и будет психологическая проза, как есть и психологическая драматургия.

М.Т. – Я не против психологизма как такового. Я против видимости психологизма, колющей из романа в роман, из повести в повесть. Я понимаю, что есть иная писательская манера мышления, чем моя собственная – и признаю эту манеру, если это не манерничанье. Но порою видишь, что писателю нечего сказать людям, – и вот льются рекой «внутренние монологи», авторские отступления, заполняющие вакуум бессодержательности. Разве с этим можно согласиться? Чем сложнее писатель, тем он проще мыслит и изображает. Если ему есть что рассказать, он покажет самое действие, а не станет рассуждать о нем. И если действие это содержательно, концептуально, то не сомневайтесь: оно в равной мере и психологично!

Позволю себе прервать писателя на этом месте и обратиться к его творчеству. На мой взгляд, проза Мара Байджиева и драматична, и, несомненно, психологична. Но и то и другое ее качества не всегда заметны с первого взгляда. Ибо в ней царствует быт. Вот уж не первый год с повестки дня в критическом отделе «Литературной газеты» не сходит вопрос о так называемой «бытовой прозе». Нужна ли она? Полезна ли? Не является ли она «тройным конем» натурализма в нашей сильной богатыми реалистическими традициями литературе? Противники «бытовой прозы» говорят о том, что ей не дано передать масштабность и значительность событий современности. Защитники указывают на то, что все значительное проявляется через конкретное, бытовое, апеллируют к классике, вспоминая значительнейшие произведения русской литературы, насквозь пронизанные бытом, бытовыми отношениями людей.

В который уже раз, пока ломаются критические копья, а дискуссия еще только набирает силу, наученный горьким опытом читатель уже давно знает, что «сердце успокоится» выступлением солидного критика, который высказывает не бог весть какие истины. И мы вместе с этим умудренным читателем, можем сказать, предугадывая ответ надуманной задачки: «Какая бы ни была проза – философская или бытовая, лирическая или историческая, «деревенская» или «городская», – важно, чтобы это была проза, важно, чтобы она была талантливая, правдивая, интересная». Итак, быт. Автор «Осенних дождей» не просто внимателен к бытовым проявлениям жизни, – он «предан» быту, любит его, ценя достоверность, точную, емкую, выразительную деталь. Я бы сказал даже, что быт в его рассказах и повестях – равноправный действующий герой, и герой значительный. Главное его качество в байджиевской прозе – то, что он обладает способностью соединять и разделять живые человеческие души, делать людей счастливыми или одинокими.

Быт у Байджиева только с виду тих и спокоен, равнодушен к человеку. На самом-то деле он таит в себе бурю. В нем скрыта трагедия, готовая разразиться в любую минуту. Нужно обладать незаурядными душевными качествами, чтобы пройти «минное поле» байджиевского «быта». Иногда прозаик (порою излишне нарочито, как в рассказах «Ошибка» и «Суллу») сам раскрывает свой внутренний замысел, акцентируя в прозаичных, неприметных вещах скрытую в них энергию нравственного порядка. Столкновение быта и бытия порою

парадоксально. В начале рассказа «Сулуу» автор приводит, вкладывая в уста своей героини, известные есенинские строки: «Ты меня не любишь, не жалеешь». Первые слова, казалось бы, настраивают на поэтический лад, на любовную драму. И действительно, все это есть: и поэзия и любовная коллизия... Но все это погружено в быт и проявляется очень и очень бытовому. Вот как это выглядит в рассказе:

«Ты меня не любишь, не жалеешь, – сказала жена, едва я успел переступить порог.

В моей руке повисло помойное ведро... Мокрая половая тряпка угрожающе дрожала в ее свободной руке».

Итак, любовь и... помойное ведро, половая тряпка. «Все смешалось в доме Облонских», – скажем мы словами классика. Но не так ли и в жизни? Может быть, писатель слегка «передержал», чуть заметно заступил за черту гармонии и меры, – так что повествование приняло гротесковый и даже немного случайный характер. Что ж из того? Мы сейчас ведем речь не об оценках, а о направлении творчества. А оно, это направление, таково, что там, за бытом и рядом с ним, постоянно маячит бытие, мир, в котором все глубоко соразмерно и неслучайно.

Совершенно бытовым рассказ «Когда гибнет Чапай». Но уже в самом названии – драма человеческой души, гибель... Маленький мальчуган Марат, играющий во дворе «в Чапая», переживает настоящую душевную драму, ибо впервые в жизни сталкивается с предательством идеала. В рассказе или, скорее, в небольшой повести «Тропа» история души героя начинается опять-таки с кажущегося пустяка. С красивых серебряных пуговиц, пропавших у одноклассницы. Эти пуговицы неожиданно определяют всю дальнейшую жизнь героя. Повесть «Жил-был серый скакун», повесть немного печальная, погружает нас в быт городской жизни. А рядом с этим бытом – и по содержанию видимому, внешнему, а еще более в той внутренней лирической мелодии, которая звучит «за кадром», – скачет серый скакун, вырывающийся из быта, возносящийся над ним...

Зачем я рассказываю все это? Мар Байджиев пишет такую «бытовую» прозу, которая вырастает из быта, перерастает его, ставя перед человеком серьезные вопросы. Обсуждать ее целесообразность? Не пустое ли это занятие?

Нет, я совсем не намерен петь нашему автору пустые дифирамбы, просто речь об одной из важнейших и, несомненно, плодотворных особенностей его писательского мышления. Пристрастие к обыденному, к конкретике повседневной жизни определяет в его творчестве если не все, то весьма и весьма многое. Более того: и хорошие, сильные, и слабые стороны писательского дарования Мара Байджиева. Но – обо всем по порядку.

Байджиев – яркий, своеобразный рассказчик. В основании его рассказов всегда лежи мысль, и притом мысль отточенная, понятная и самому автору, и читателю. Мысль, н оставляет места для разнотолков... и, пожалуй, для игры воображения. Особенно это относится к рассказам начала 60-х годов, таким, как «Ошибка», «Сулуу», «Гражданочка». Сюда же я отнес бы и рассказы начала 70-х годов: «Преступление и наказание, или Красные уши» и «Ищу друга». Несмотря на то, что они написаны более опытной рукой, – в них все же стремление подчеркнуть, акцентировать, завершить одну мысль, одно господствующее настроение. В каждом из микросюжетов кроется своя неожиданность, заставляющая по-новому взглянуть на уже известное. Рассказчик любит своих героев. Даже когда они проявляют слабость, не могут подняться над собой, как, например, в «Ошибка», где лишь близость смерти жены пробуждает в герое нравственные резервы души, а затем, когда опасность миновала, он снова погружается в обыденность и прозу, – даже тогда писатель относится к своим героям сочувственно. Ведь они люди, а не машины. Хорошо, если они мужественны

и правильны, тонко и глубоко чувствуют, – хорошо, но как сильно притягивает быт, какой колоссальной измельчающей энергией он обладает! В таких сюжетах сразу ощущается попытка воссоздать «чеховское», – что так прекрасно удалось сделать в 60–70-е года русскому прозаику Юрию Трифонову. Но такое авторское сочувствие испытывают на себе лишь герои беззлобные, – в общем добрые и симпатичные люди. Но есть и другие, такие, как пожарник дядя Качкынбай в лаконичном рассказе «Преступление и наказание, или Красные уши». К ним и отношение другое: на место мягкой иронии и грусти заступает сатирическая гротесковость, жесткость описания, в основе которой – парадоксальное столкновение (прежде всего в самом человеке!) человеческого и жестокого, холодного: «Я инстинктивно почувствовал, – говорит мальчик, только что сделавший доброе дело и призывающий на такое же доброе дело взрослого, – что сейчас он большой теплой рукой погладит меня по голове, и потянулся к его биноклю. А он своей большой теплой рукой схватил меня за ухо и повернул его на сто восемьдесят градусов». Свою собственную неспособность к настоящему живому делу взрослый, ответственный человек, имеющий добродушный облик, вымещает на ребенке.

Более сложно организовано повествование в таких рассказах, как «Улыбка», «Воровка». В них заключено зерно повести. Здесь дело не ограничивается неожиданным поворотом сюжета (ожидание одного и появление, воплощение совершенно иного), хотя рассказчик и в этом остается верен себе. В рассказе «Воровка» сюжет делает сразу несколько зигзагов, меняющих ракурс читательского восприятия. Мужчина, Начальник Воды, как зовут его айлычане, ловит воровку, побывавшую в его доме. Воровка оказывается затем его женой. Создается иллюзия концовки, – тем более что у них рождается ребенок. И снова неожиданность: женщина уходит от Таштана. И еще: он возвращает в дом свою первую бездетную жену, и они вместе ждут возвращения сына, родившегося у Таштана от цыганки. Все эти неожиданные зигзаги наводят на мысль о новелле. Ибо происходит разрушение стереотипов. Стереотипов жизни, стереотипов мышления. «Воровка» – рассказ очень добрый и мудрый. В нем отразились лучшие черты национального характера, жизненный опыт киргизского народа. Доброту и мудрость проявляют все герои этой микроновеллы. Первая жена Таштана Айымкан сумела понять, что мучит душу бездетного мужчины – и сама решает уйти из его жизни. Ее слова дышат не гневом и обидой, а любовью, желанием счастья близкому, дорогому человеку: «Утром ты смотрел на играющих мальчишек, и в глазах твоих были слезы... Я уеду к родителям и дам тебе свободу. Только не торопись, найди себе подругу, которая бы не только рожала, но и ценила тебя. А мне купи плюшевое пальто, хромовые сапоги, чаю и сладостей для родителей, чтобы злые языки не говорили, что ты выгнал меня». Уходя, она думает о его будущем. Мудрость и доброту проявляют и старики, с которыми советуется Таштан перед тем, как жениться на цыганке: «А то, что она другой крови, другой веры – в твоих руках сделать ее нашей любимой дочерью и доброй снохой. Все люди равны перед создателем. Если крепок молоток, то и войлочный гвоздь в землю войдет. И если она будет встречать твоих братьев добрым поклоном и с чайником горячего чая, значит, жизнь твоя спокойна, и мы будем рады за тебя». Душевную широту обнаруживает и сам Таштан, когда проникает жалостью к цыганке и когда жалость переходит у него затем в любовь. Только поведение цыганки кажется не совсем совпадающим с этим общим гуманистическим настроением всего рассказа. Но в этом есть своя глубокая логика. Каждый герой живет по своим законам. Айымкан, Таштан, старцы – все они из одного мира, который диктует им меру вещей и стиль поведения. Цыганка – из другого мира, её тайна остается нераскрытой и непонятной остальными персонажами. Ясно лишь, что свобода, ее зов – оказались для цыганки

привлекательнее и неизбежнее, чем тихое место у домашнего очага. И еще одна мысль, на мой взгляд, заложена здесь автором в подтекст повествования. Скажу лишь кратко. Поведение всех обитателей айла, в том числе Начальника Воды, который «поил все живое», новую жизнь. Эту жизнь дарит миру цыганка, которая совсем не размышляет о будущем ребенке и которой он дается легко и без жертв – по закону природы и той самой свободы, которая затем уводит ее из айла. В этом заключается один из живых парадоксов, живых противоречий реального, порою жестокого мира.

И если уж говорить о драматизме байджиевской прозы, то как не вспомнить повесть «Тропа». Сам автор относится к «Тропе» несколько сдержанно, но мне-то кажется, что именно здесь, а не, скажем, в «Сером скакуне», писателю удалось создать подлинно трагический и очень цельный образ. Критик В. Ковский называет героя повести Абылкасыма «маленьким» человеком, автоматически подверстывая этот образ под сложившийся стереотип. Но согласиться с этим нельзя. В Абылкасыме нет ничего от «маленького» человека, – это просто человек. Человек в полном смысле слова. Личность. Его поведение в начале и в конце повести только кажется различным. Думается, что в повести речь идет не о росте души героя, не о «тропе» к самому себе, а о той трудной тропе, по которой всегда идет человек, если он верен самому себе. Это не разбитая дорога расхожих принципов и мнений, но именно тропа, по которой может пройти только один и только однажды.

Абылкасым верит в людей, в добро. Несмотря на свое физическое несовершенство, несмотря на несправедливость в отношении к нему, он не разочаровался в людях и, в конечном итоге, в своих идеалах. Ему пришлось проявить настоящее мужество, щедрость души, чтобы выстоять в неравной схватке с миром зла. Этот байджиевский герой вызывает огромное уважение своей простотой и незаметной, не бросающейся в глаза цельностью, крупностью характера. Это герой одного ряда с Едигеем Чингиза Айтматова, в них, если всмотреться, много общего. Хотя, разумеется, характер Абылкасыма значительно менее разработан, он лишь намечен в своих исходных чертах. Но зато какой характер! Ему совершенно чужда рисовка. Совершая настоящий подвиг, настоящий мужской поступок – во имя любимой женщины, которая не знает о его чувстве, – Абылкасым ведет себя как человек, у которого большое, нежное сердце и чистые руки. Решаясь, в конце концов, рассказать Асипе о своем чувстве и о том, как в действительности обстояло дело, из-за которого он взял на себя чужую вину, герой не хочет вызвать у женщины «ни жалости, ни сострадания, ни похвалы».

* * *

А зеленый автомобиль, стоя на месте, уткнувшись передними колесами в бордюр тротуара, мчался все дальше и дальше. Мар Байджиев говорит живо, увлеченно. В разговоре нашем уже звучат строки из вечного «Слова о полку Игоревом», имена Расина и Жанны д'Арк, режиссера Океева, Ван Гога и Гогена. Мы едем дальше и дальше...

Разговор был свободным: о чем-то мы забыли, чего-то не коснулись. И только об одном мы просто не могли не заговорить. Мар Байджиев пишет на русском и киргизском языках. Но и в том, и другом случае он очень национален. Читая его книги, нельзя не заметить этого. Взять хотя бы самый простой пример. В уже упоминавшемся рассказе «Воровка» поставлена проблема, которая явилась своеобразным прологом к эпосу «Манас». Писатель говорит о большом человеческом счастье, связанном с ребенком в доме. Если не слышно смеха ребенка, то дом пуст. Несчастье Таштана прозаик очень убедительно и без нажима подчерки-

вает, что горе его понятно всем без объяснений, понятно с полуслова. Большое несчастье прожить жизнь впустую, уйти из мира «без копытца», – как говорил, стена, бай Джакып в «Манасе». В представлении о ребенке сосредоточена вся духовная сторона жизни Таштана. Рассказ «Воровка» в чем-то оказывается близким айтматовскому «Белому пароходу», где та же тема осмыслена драматичнее, масштабнее. В «Воровке» герои добрые, человеческие, – в общем-то, всех их можно назвать единомышленниками. В «Белом пароходе» вокруг мотива бездетности завязывается целая буря страстей, где жестоко и определенно проявляются не гуманное, не человеческое – а слепое, животное начало. У Байджиева этот мотив встречается раз, – например, он тонко вплетается в проблематику повести «Однажды очень давно» – повести о стремлении всего живого к жизни, к продолжению рода. Богат и славен бай Мундузбай, но нет у него детей, а потому нет покоя, счастья: «Годы идут, а в доме моем тишина. Когда сомкну глаза, родственники растащат скот, а враги разорят мой род».

Вот об этом-то, о традициях вообще и особенно о национальных традициях сам собой завязался дальнейший наш разговор.

В.М. – Мар Ташимович, как Вы относитесь к литературным традициям, считаете ли необходимым опираться на опыт отечественной, мировой литературы, или каждый настоящий художник сам творец своего собственного мира, своих героев?

М.Т. – Только маленький, незначительный писатель творит без традиций. Это как бы человек без роду, и племени. Пришел – ушел. Появился ниоткуда и исчез в никуда. Писатель без традиций – это плохой признак. Иногда, правда, ошибаются. Было время, когда считали, что Некрасов поэт без традиций. Теперь так не думают. В Некрасове слышен и Жуковский, и Пушкин, и Лермонтов. Не потому ли по его следам пошла потом русская, а теперь уже и советская поэзия, поэзия народов СССР? Стоит вспомнить имена Твардовского, Исаковского. Во многом от него идет Евгений Евтушенко, а великий Блок в равной мере шел от Лермонтова и от Некрасова... Традиция – это не роскошь, а необходимость. Когда бьешься, мучаешься над идеей, вдруг замечаешь, что человечество уже давно думает над этим и пишет, но только пишет иначе, чем ты. Иногда традиция – это не только продолжение, но и спор. В любом случае традиция плодотворна. Когда французы эпохи классицизма, например Расин, обратились к античному искусству, – это не было их прихотью. Я думаю, они к этому времени доспели до больших мыслей и идей античности. Традиция – это не повторение пройденного, а движение вперед, к вечным идеям, это обязательно свое, но и общечеловеческое. С чем бы это сравнить? Пожалуй, с велосипедом. Зачем изобретать велосипед, когда он уже есть? Бери велосипед, но вот мотор к нему приделай сам. И езжай дальше. И еще о традиции: обращение к ней никогда не бывает случайным. Та или иная традиция начинает жить заново только в нужный момент. Художник волен обратиться в одно время к одной традиции, в другое – к другой. Но есть одна традиция, из которой художники черпают постоянно, ибо эта традиция универсальна. Я имею в виду фольклор, народное творчество.

В.М. – Вот об этом хотелось бы поговорить особо. В Вашей прозе чувствуется прочная национальная основа. Это одно из ее несомненных достоинств. В этом плане особенно, конечно, выделяется сложная по замыслу, многоплановая повесть «Однажды очень давно». Вы даже называете эту повесть сказкой. Но, думается, это не сказка, или сказка в самом широком и даже философском смысле. Здесь Вы обратились к национальному эпосу «Кожожаш», соединив его с легендой об охотнике, убивающем своего сына. Мне кажется, что именно обращение к фольклору, к национальному эпосу породило в Вашем творчестве столь масштабное по мысли произведение. При этом легенда о Кожожаше Вами переосмыслена: хрестоматии и учебники традиционно подают этот образ как положительный.

Ваш же герой переживает в повести нравственную эволюцию. Из самого справедливого, доброго, сильного и мужественного охотника племени «белых барсов» он становится человеком, переступившим какую-то незримую нравственную границу, человеком, приводящим собственное племя к гибели, убийцей собственного сына. В повести ясно выражен мотив самоуничтожения. Имеет ли право писатель на такое «вольное» отношение к устоявшемуся национальному эпосу?

М.Т. – Каждый художник неизбежно национален. Это он впитывает с детства, с молоком матери. Образ мышления, эмоциональное восприятие мира, определенные символы – все это писатель усваивает у родного народа раз и навсегда. В творчестве Чингиза Айтматова, например, легко уловить мотивы, идущие из контекста всемирной литературы, но осмыслены-то они очень определенно, очень национально! Многие его ровесники в киргизской литературе «подпитывают» свое творчество бесценным наследием веков мировой культуры. Но, читая и осмысливая Шекспира, Сервантеса, Джойса, мы остаемся киргизами, по-особому видим мир и его проблемы. Мне кажется, что понятие «мастерство писателя» во многом предопределяется его умением поставить общечеловеческие проблемы на родной почве. И еще мне хочется сказать о том, как соотносится общечеловеческое и национальное. На мой взгляд, первое поколение наших писателей было глубже, чем мы, в освоении национального самосознания киргизского народа. Их творчество было более цельным. Но им как раз и не хватало мастерства передачи своих чувств, мыслей. Возможно, им не хватало общения с мировой культурой.

Сегодня наши киргизские фильмы, пьесы, романы хорошо встречены за пределами республики, в том числе и за рубежом. О чем это говорит? О том, что нас понимают. Нас понимают люди, выросшие на других, отличных от наших, культурных традициях. Значит, наше национальное стало шире и глубже, значит, оно сумело вобрать в себя опыт иных культур – и теперь снова отдает в мировую культурную «копилку» свой вклад. В конечном итоге это говорит о равноправном взаимодействии, а значит, о зрелости.

Вы заговорили о моей повести «Однажды очень давно». Работая над этой повестью, я, пожалуй, впервые серьезно столкнулся с проблемой национальной эпической традиции. Действительно: можно ли писателю произвольно комбинировать национальный эпос, да еще «поправляя» традиционное толкование? Я думаю почему-то, хотя и предвижу возможные возражения, что двух ответов тут быть не может. Да, писатель имеет право на такую интерпретацию и на такое комбинирование, если это лучше, талантливее помогает ему передать его мысль. Традиция, в том числе и национальная, не лежанка, на которой отдыхают. Скорее, это дорога, по которой идут, работая ногами, головой, душой, всем телом. Традиция не догма, а борьба с догмой. Традиционно образ охотника Кожожаша трактуют как положительный. Это человек, который кормит племя, – и этим уже многое сказано. Во имя жизни племени он вступает в борьбу с природой, в смертную борьбу со священной козой-матерью. Он гибнет без сожаления о том, что сделал. Его можно трактовать как своего рода Прометея или Данко. Можно. Но можно и иначе, если вспомнить вторую часть, вернее, продолжение эпоса «Кожожаш». Ведь сын Кожожаша, пытаясь отомстить за смерть отца, приходит к неизбежному: к примирению, к любви, к породнению с природой, с козой-матерью. В этом огромной важности и смысла символ. Сегодня человечество стоит перед тем же выбором: идти против природы – и тем самым против себя, или идти с ней вместе. Исходя из всего этого, я и пришел к иному осмыслению традиционного эпоса. Актуальный для сегодняшнего дня смысл, я думаю, хранился в этом эпосе всегда, ибо перед человечеством вопрос о взаимоотношениях с природой встал не сегодня и не вчера, а с тех самых пор, как человек

выделился из мира природы. Перевод «Кожожаша» Ирины Волобуевой, на мой взгляд, может выступить в качестве одного из аргументов в этом споре: в ее переводе улавливается неоправданная жестокость Кожожаша в отношении к природе. Кроме того, мы должны помнить, что устный эпос доходит до нас, как правило, не в целом первоначальном виде. Часто мы видим лишь обломки первоначального смысла. Так, например, встает вопрос, почему коза в «Кожожаше» трактуется как черные силы природы? В киргизском фольклоре коза никогда не выступает как существо, несущее человеку зло. Сказители бесстрастно передают уцелевшую от веков форму, но часто при этом, видимо, утрачивается связь мотивов, логическая связь образов. Уже не совсем ясное все равно упоминается, хотя вместо материка мы видим как бы остров, со всех сторон омываемый водой. Пример такого явления можно найти не только в фольклоре, но даже и в письменной литературе: например, «Слово о полку Игореве», в котором очень много непонятных мест, загадок. В повести «Однажды очень давно» я попытался восстановить утраченную логику эпоса, звучащего так актуально. Человек не должен «исполняться ратного духа» против своей матери-природы. Его назначение и его достоинство в другом.

В.М. – Мар Ташимович, последний вопрос к Вам как к писателю-билингву. Вы пишете на киргизском и русском языках. Считаете ли Вы, что проза, которую Вы пишете на русском, должна обогатить русскую прозу, или Вы ставите перед собой задачу просто прозвучать на ином языке? Вообще Ваше отношение к современной русской литературе, Ваши симпатии.

М.Т. – Однажды при мне обсуждали прозаика, пишущего на русском. Один из присутствующих задал вопрос: «Товарищи, а вообще, не многовато ли пишется русской прозы? Значит ли, что проза, написанная на русском, есть уже русская полноправная, художественная, обогащающая литературу, проза?» С тех пор я задумался над этим вопросом, который теперь задали и Вы. Ответить на него однозначно, пожалуй, затруднительно. Тот широкий процесс, который проходит сейчас в литературах союзных республик и выражающийся во все большей тяге – и в прозе, и в поэзии – к русскому языку, еще потребует своего серьезного осмысления. Пока что волна такой литературы находится на подъеме. Это своего рода уникальный эксперимент, порожденный самой жизнью. У этого явления уже есть свои достижения, которые, думаю, действительно обогащают нашу великую многонациональную литературу. Ибо задана большая сила взаимообогащения, действует как бы огромный рычаг – русский язык. Но, может быть, в этом вопросе есть и другая сторона. Она особенно хорошо видна в поэзии. Собственно русская поэзия, например, Жуковский, Батюшков, Мандельштам и другие, иногда вела свои поиски истины и смысла не столько в языке, сколько на языке. Много ли таких поэтов, как Державин, Крылов, Кольцов, Есенин? Здесь, конечно, можно спорить. Но я хочу сказать, что сегодня многие прозаики, пишущие на русском, в том числе и я, работают также – не столько в языке, сколько на языке. И цели, и результаты этой работы несколько иные, чем, скажем, у Василия Белова, Валентина Распутина, Евгения Носова. Они создают художественный образ через язык, я – через мысль, сцепление логических связей. Все это, разумеется, относительно.

В русской литературе мне нравятся и близки хорошие, талантливые писатели. Например, Василий Белов, Распутин, Александр Вампилов.

* * *

Пока Мар Ташимович говорит, я смотрю из окна машины на мокрые декабрьские деревья, на притихшую в зимнем тумане галку, – слушаю. И думаю. Думаю о его творче-

стве, сравниваю свои впечатления от прочитанных произведений и авторские оценки. Не во всем соглашаюсь с писателем. Например, повесть «Тропа» можно оценить выше. Это победа. Жаль только – фальшивая нота испортила финал. Я думаю, что повесть должна была кончаться грустным, но очень светлым, не умело, но сурово и цельно написанным письмом Абылкасыма. А счастливый «хэппи-энд» затушевывал трагичность, высоту и мощь духа большого, крупного характера, найденного писателем. Не один В. Ковский соблазнился – в результате этой фальшивинки, проскочившей в произведении, – назвать Абылкасыма «маленьким человеком». Я думаю также, что в прекрасной повести «Однажды очень давно» неуместна дидактика, нарушающая контакт с умным читателем. Но я думаю и о том, что многое до сих пор мне было не так ясно, как после этой беседы. Особенно повесть «Однажды очень давно». Я понимаю теперь, что творчество Байджиева обладает пусть и не заметной с первого взгляда, но удивительной цельностью. Его ранние рассказы своими идеями (а без четко выраженных в каждом произведении идей нет Байджиева!) тесно связаны с поздними повестями. «Поздними» – звучит, конечно, очень условно. Какая бы, кажется, связь между маленьким рассказиком «Когда гибнет Чапай?» и философской повестью «Однажды очень давно»? А между тем она есть! Человек должен быть верен своим идеалам, всегда оставаться самим собой, человеком: об этом, в конечном итоге, все творчество Мара Байджиева.

Он полон энергии, новых замыслов. Спешит на репетицию, на запись, к рабочему столу. Застоявшийся автомобиль фыркнул, взревел...

– Поехали!

Беседовал В. Мельник

В БИТВЕ ЗА ИСТИНУ

Литературоведческая статья

На последнем съезде писателей Киргизии разгорелись горячие споры вокруг проблем культурного наследия. Как и всегда «притчей во языцех» было творчество дореволюционного акына-письменника Молдо Кылыча и первого киргизского профессионального писателя и ученого Касыма Тыныстанова, павшего от руки сталинских палачей. Когда подводили итоги форума, я предложил включить в резолюцию съезда пункт о создании специальной комиссии с тем, чтобы разобраться, в конце концов, в наследии этих двух ярких художников, о коих вот уже более полувека не смолкают споры. Вопреки агрессивным возражениям одного из старейших литераторов республики, немало сил потратившего на то, чтобы имя профессора Касыма Тыныстанова – истинного основоположника киргизской профессиональной литературы, журналистики, педагогики и лингвистики, было предано забвению, делегаты съезда под председательством Ч. Айтматова приняли и утвердили мое предложение. Избранный нами секретариат союза писателей начал работу по сбору библиографических и архивных материалов. Журналы «Ала-Тоо» и «Литкиргизстан», еженедельник «Кыргызстан маданияты» и другие официальные органы запланировали соответствующие публикации. В Москве начала свою работу специальная комиссия при ЦК КПСС по пересмотру дел жертв сталинского произвола, а по страницам центральных газет начали свой ход сенсационные публикации, раскрывающие истину 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годов. Почти

каждый день посмертно возвращались к жизни забытые имена, заключенные в темницах охраны. И вдруг в эти самые дни с самой высокой трибуны Киргизской Республики неоднократно прозвучали слова о том, что «некоторые представители художественной интеллигенции добиваются реабилитации буржуазных националистов: Молдо Кылыча и Касыма Тыныстанова». Тут же зашумели дискуссии, взаимные обвинения и, так же, как в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, иные горячие головы начали сводить счеты со своими оппонентами, выискивать друг у друга националистические тенденции и «вылазки». Создалось такое впечатление, будто по всему Союзу идет активное восстановление истины, а Киргизия сделала шаг назад и опрокинулась в пучину прошлого.

А произошло то же самое, что происходило в предыдущие годы: Сталин объявил, что с победой социализма усилится внутрикласовая борьба. Тут же начали искать и «находить» «врагов» народа. Жданову показалось, что вся страна кишит националистами и космополитами – нашли и таких. А в 1963 году Н. Хрущев, науськанный завистливыми консерваторами, обрушился с гневом на «отечественных апологетов буржуазной культуры» – абстракционистов, и в республиках тут же взялись за дело. Поскольку в Киргизии живописцы и скульпторы оказались сермяжными реалистами, двух абстракционистов нашли среди поэтов: один сочинил стихи без рифмы, другой – без ритма. А причиной новой акции были алмаатинские события 1986 года.

Декабрьская трагедия стала следствием того, что не была учтена ситуация текущего момента в республике, не была проведена предварительная разъяснительная работа среди широких масс. Но, тем не менее, «алмаатинские события» с легкой руки официальных информаторов прогремели искаженным эхом по всему Союзу. Аукнулось за рубежом, где неплохо поработали агрессивные антисоветчики.

В высшие инстанции республики двинулись ходоки, прихватив с собой пожелтевшие вырезки из газет 20-х и 30-х годов, в которых разоблачались и признавали свою вину враги народа – «буржуазные националисты». А по существу эти ходоки получили последний (дай бог, чтобы последний) шанс оправдать свои воззрения и поступки тех далеких лет. И, к великому сожалению, новое руководство нашей республики, которое еще не успело вникнуть в суть явлений, изучить его гносеологические корни, говоря проще, разгадать истинные цели добровольных информаторов и толкователей, решило, что перед ними добросовестные и преданные патриоты, озабоченные интересами государства и народа.

Начали выявлять «проявление фактов» и... нашли: в двух пединститутах студенты писали диктанты по русскому языку и получили мешок двоек. Вот как вы относитесь к языку всенародного общения! Все ясно. Арифметическим путем вычислили, что в сельхозинституте, к примеру, число студентов коренной национальности на несколько процентов превышает количество студентов других национальностей вместе взятых. Еще один факт, подтверждающий те же явления! Кстати, в те процентоманные дни в одной из соседних республик выявили, что из ста героев соцтруда более половины являются представителями коренной национальности и сделали вывод, что «рецидивы национализма» проникли и в самые высшие слои государственной власти. Началось интенсивное, массовое, интернациональное воспитание трудящихся. Пишущие товарищи, как и в 37 году, начали выискивать в трудах и высказываниях своих оппонентов соответствующие тенденции. Не обошлось и без тех, кто хотел использовать создающуюся ситуацию для достижения своей меркантильной мечты. На одном из собраний двое ученых мужей, кидаясь увесистыми цитатами из собственных писаний, обвиняли друг друга в буржуазном национализме. На страницах самых солидных органов появились странные публикации с постановкой

странного вопроса: нужно ли коренному населению изучать свой родной язык? Если в детских садах будут группы с русским и киргизским языками обучения, а в одном районе две разноязычные школы, не приведет ли подобное «деление» к изоляции и национальному отчуждению? – серьезно спрашивали другие, словно между группами собирались натянуть колючую проволоку под электрическим напряжением. Один из авторов ставил вопрос ребром: «Как это понять? О каком братстве народов можно говорить, если дети, живущие в одном дворе, по утрам будут уходить в разные школы: один – в киргизскую, другой – в русскую?» Как будто, уходя в разные школы, дети уходят в разные мироздания. (В нашей семье, например, мы с братом окончили разноязычные школы, но почему-то до сих пор остаемся родными братьями.)

Глубокий анализ упомянутых фактов выявил, что «национальная диспропорция» студентов сельхоз института объяснялась тем, что ведущие факультеты: зоотехнический, ветеринарный, агрономический и экономика сельского хозяйства – готовили в основном специалистов для отдаленных животноводческих районов республики, откуда абитуриенты приезжали с направлениями и гарантированной стипендией от своих колхозов и совхозов. Двойки по диктанту получили студенты русского отделения филфака. Получился тот же казус, что с героями соцтруда в соседней республике, когда выяснили, что подсчитывали кавалеров Золотой звезды в области животноводства, где люди занимались традиционным промыслом своих предков, а люди другой национальности просто-напросто не владеют этим ремеслом. Как видим, многие факты не подтвердились, а если и имели место, то имели другой смысл. Но тем не менее М. Кылыч и К. Тыныстанов вновь были объявлены националистами. Получилось так, что доклад М.С. Горбачева к 70-летию Советского Союза, вроде бы, ни коим образом не касается Киргизии, и репрессированные в тридцатых годах получили заслуженную кару. И вновь пошли ходки в высшие инстанции, правда, теперь уже другие: те, кто хотел добраться до истины. И вот долгожданная комиссия, в составе московских и киргизских литераторов, под личной опекой нового секретаря по идеологии ЦК КП Киргизии т. Шеримкулова М., получила разрешение на доступ к архивам. И пожелтевшие листы, покрытые пылью десятилетий, молчавшие до сих пор, заговорили, закричали, как дети, которых держали взаперти. Фальсификация, клевета, доносы, предательство, несправедливость, субъективизм, невежество – все это обрушилось с пожелтевших страниц как мутный селевой поток мракобесия. Основным мерилом оценки акынской поэзии, например, было отношение автора к великой трагедии народа – кончине В.И. Ленина. Если акын создал по этому поводу скорбные строки, значит, он демократ – ему прощались любые, даже антимарксистские воззрения; если же он не откликнулся или попросту успел скончаться до революции – значит, он представитель чужого класса, т.к. воспевал феодальный строй. Так было в частности с Молдо Кылычем, творчество которого подвергалось оценке и переоценке неоднократно (первая его поэма была издана отдельной книгой в 1911 г.). В двадцатые годы его объявляют «выразителем буржуазно-националистической идеологии», хотя акын родился и умер в юрте кочевника и, разумеется, слыхом не слыхивал, что где-то существует некая социальная формация со своей идеологией. В 1949 году литературовед Т. Саманчин, посвятивший творчеству акына научную диссертацию, после пресловутого доклада Жданова был осужден на десять лет. В 1958 году, после XX съезда КПСС, творчество Молдо Кылыча было реабилитировано, но в 1960 году пересмотрено вновь. «Основные произведения Молдо Кылыча, пропитаны буржуазно-националистической идеологией, т.к. изобилуют религиозными моментами, идеализацией кочевого быта и патриархально-феодального строя», – отмечается в Постановлении Бюро ЦК КП Киргизии от 5/V-1960 года.

Если сумбурную оценку произведений Молдо Кылыча, написанную в двадцатых годах, можно как-то оправдать тем, что республика едва избавлялась от сплошной неграмотности, то в 60-х годах акыну-кочевнику, «идеализирующего патриархальный быт», вешают ярлык буржуазного идеолога. И это люди вполне грамотные: академики и профессора, выпускники высшей партшколы, облаченные властью партийных, советских и научных руководителей, главные редакторы газет и журналов, доктора истории и философии, которые вроде бы должны были знать разницу между «идеализацией патриархального быта» и «буржуазным национализмом». Однако так было записано в «партийном документе», и акын как бы очутился за символической решеткой. Труды Молдо Кылыча были вновь изъяты из школьных хрестоматий, его имя не пропускал Главлит даже в ругательных статьях.

Касым Тыныстанов, автор первых учебников по киргизскому языку и литературе, поэтических сборников, прозаик, драматург, один из первых киргизских журналистов, первый нарком просвещения, словом, один из истинных основоположников профессиональной литературы и гуманитарной науки, близкий друг гениального русского лингвиста Е.Д. Поливанова, сосланного в те же годы в наши края, был расстрелян в ноябре 1938 года. Брату К. Тыныстанову удалось добыть копию «Обвинения» следующего содержания:

«Член антисоветской национальной организации «Алаш-Орда» с 1921 года, впоследствии влившейся в состав буржуазной националистической повстанческо-террористической и диверсионно-вредительской организации «СТП», готовил он (Тыныстанов) повстанческие кадры и вел подрывную деятельность на идеологическом фронте, протаскивая их в своих литературных произведениях. Приговор к расстрелу утвержден коллегией Верховного Суда СССР 5 ноября 1938 года, и на другой день приговор приведен в исполнение. Этому заключению предшествуют «признания» подсудимого о том, что в 1923 году опубликовал стихи, где упоминается слово «алаш» (единое название казахов и киргизов Семиречья – М.Б.), в 1928 году в учебнике по морфологии приводил пословицу, которая в условиях хлебопоставки могла быть использована как кулацкая вылазка. Заметив это, я в 1931 году сам выступил в печати, осудив это место в книге. По этому поводу также было решение ОК ВКП(б)». Далее подследственный начисто отрицает какое-либо участие в СТП (социал-туракская партия), каковой, может быть, на самом деле никогда не существовало. Но, тем не менее, на основании показаний двух «свидетелей», имена которых не буду называть, дабы не будоражить их потомков, суд вынес смертный приговор. Чем больше постигаешь истину, тем сильнее зреет в душе гнев и боль. Возьмем хотя бы обвинения «свидетелей» и следователя в том, что Касым Тыныстанов был членом «алаш-ординской партии» с 1921 года. Такая партия действительно существовала в Казахстане, но распалась в 1920 году, после своего оренбургского съезда, т.е. когда Касым Тыныстанов еще не достиг совершеннолетия. «Ороондо данын мол болсо, короондо малын мол болот». – «Если в погребке твоём будет вдоволь зерна – во дворе твоём будет много скота» – так звучала житейская пословица, призывающая дехкана, ведущего по существу натуральное хозяйство, к рачительности, которую недоброжелатели преподнесли как контрреволюционную вылазку. В русском тексте слово «ороо» – погреб перевели как «яма», значит, Касым Тыныстанов призывал крестьян прятать хлеб в ямы и государству не сдавать, и в 1935 году К. Тыныстанов был исключен из рядов ВКП(б) «как двурушник и буржуазный националист». Это и припомнили «свидетели» в 1937 году. «В 1935 году в чистке партии Тыныстанов был окончательно разоблачен и исключен из партии», – доказывает «свидетель». Много лет спустя после гибели К. Тыныстанов в трудах академика А. Алтмышбаева и других имя Касыма Тыныстанова продолжало оставаться символом буржуазного националиста, ведущего борьбу с влиянием русской

культуры, с интернациональной политикой партии в вопросах языка и литературы. В частности считалось, что в 1926 году он возражал переходу от арабского алфавита к латинскому. Но вот выдержка из стенограммы выступления Касыма Тыныстанова на I Всесоюзном тюркологическом съезде в г. Баку в 1926 году. Выступая против тех тюркологов, что возражали переходу на латынь, Касым Тыныстанов одним из первых предлагает:

«Мы в данное время стремимся создать национальную культуру, национальную Красную Армию... Хотим обучать ее на родном языке, а вот эти точки в арабских буквах не годятся... Почему не принять русский алфавит целиком, тем более что мы каждый день соприкасаемся с русской культурой и русскими...» Вот так он «боролся» с «влиянием русской культуры»! И действительно, латынь для тюркоязычных народов не прижилась, в 1940 году мы перешли на кириллицу. Оппоненты Касыма Тыныстанова использовали против ученого все приемы нечестной борьбы вплоть до черной клеветы, даже после его физического уничтожения. Одна из вопиющих инсинуаций этого же ряда, утверждение «свидетелей» о принадлежности Касыма Тыныстанова к «Алаш-ординской партии». Поводом для этого послужило упомянутое в двух стихотворениях и ранней поэме «Жаныл Мырза» слова «алаш».

Рассвело, на востоке заря,
Проснувшись от глубокого сна.
Поет песню радостно каждый,
Освобожденный от черного мрака...
Клянись заре «Алаш»*, восстань,
Протяни руки к ее лучам!
Приветствуя зарю, поет соловей,
Переливая песню по сотни ладам.

Это дословный перевод самого автора, ниже он дал сноску:

*Алаш – объединенное название казахов и киргизов.

«Алаш-ординская партия» – происходит от этого слова».

Однако с пояснением не посчитались, и это слово оказалось роковым в его судьбе.

Если подобные эксцессы 20-х годов и 30-х годов можно каким-то образом объяснить общим катаклизмом страны, то, что можно сказать о решениях и постановлениях, решавших судьбу творческого наследия Молдо Кылыча и посмертной судьбы К. Тыныстанова, которые принимались уже после XX съезда!?

1958 год. 28 января. Бюро ЦК КП Киргизии постановляет:

1) Решение Фрунзенского ГК КП Киргизии от 4 августа 1937 года об исключении Тыныстанова К.Т. из членов КПСС отменить. Реабилитировать в партийном отношении (посмертно) Тыныстанова К. члена КПСС с 1926 года.

1958 год. 14 мая. Бюро ЦК КП Киргизии постановляет:

2) Поручить Институту языка и литературы АН Киргизской ССР глубоко изучить творческое наследие Молдо Кылыча и подготовить к изданию сборник избранных его произведений, представляющих художественную и познавательную ценность.

3) Поручить СП, Институту языка и литературы АН Киргизской ССР, исходя из настоящего постановления, опубликовать в журналах «Литературный Киргизстан» и «Ала-Тоо» статьи, правильно оценивающие творчество Молдо Кылыча».

1960 год. 4 января. Бюро ЦК КП Киргизии постановляет:

«Отменить Постановление Бюро ЦК КП Киргизии от 22/1-1958 о восстановлении К. Тыныстанова в рядах КПСС и от 14 мая 1958 «Об итогах обсуждения творчества Молдо Кылыча как неправильные».

Таким образом, через два года К.Тыныстанов третий раз (1935,1937 г.г.) теперь уже посмертно исключается из партии, оценка творчества Молдо Кылыча через два года звучит так: «Рецидивы националистических тенденций проявились и в той вредной возне, которую затеяли некоторые научные работники и писатели вокруг поэта Молдо Кылыча. Как известно, в Постановлении XI Пленума ЦК КП Киргизии принятом в июле 1952 (!) года, отмечалось, что в области литературоведения длительное время восхвалялась идеология реакционного литературного течения. Вопреки этой правильной партийной оценке отдельные работники науки и литературы, в особенности Б.Юнусалиев, К.Юдахин и др., пытаются поднять его на щит», – пишется в постановлении. Хотя этим работникам науки и литературы двумя годами раньше было поручено подготовить к изданию книги акына и писать о нем статьи, тут же упоминается постановление 1952 года, принятое под соусом ждановского доклада после которого сектор «Манаса и фольклора» Кирг. ФАНа СССР был закрыт, а сотрудники отправлены в тюрьму. Кстати, в том же постановлении есть еще одно решение, которое сегодня звучит весьма интересно:

«В республике допущены серьезные политические ошибки в осуществлении национальной политики партии. Бюро ЦК КП Киргизии в 1958 году приняло постановление об обязательном преподавании киргизского языка во всех русских школах республики». В 1960-м это постановление было засчитано как ошибочное, преподавание киргизского языка в русских школах было отменено, а в киргизских сведено до минимума. Оба постановления (1958 и 1960 г.г.) были приняты под председательством первого секретаря ЦК КП Киргизии И. Раззакова.

«За последние годы каких-либо решений о К.Тыныстанове не имеется» – записал 19/IV-1979 года научный сотрудник Института истории КП Киргизии П.Величко. Однако в руках у меня была стереоскопия Постановления Совета Министров республики о назначении вдове К.Тыныстанова персональной пенсии в связи с его реабилитацией и посмертным (теперь уже в третий раз) восстановлением в рядах КПСС, датируемого маем 1964 года.

Не мог же Совмин выдать персональную пенсию вдове посмертно исключенного из партии человека? Пересмотрел архивы комиссии по персональным пенсиям Совмина республики, Министерства соцобеспечения. Всюду была ссылка на этот документ, но самого постановления вроде бы никогда и не было. Пришлось писать запрос в Москву.

Подлинник случайно обнаружился в сейфе парткомиссии ЦК КП Киргизии.

«... учитывая, что предъявленные Тыныстанову Касыму в 1937 году политобвинения отпали, и судебные органы полностью реабилитировали, во изменение решения ЦК Компартии Киргизии от 5/1-1960 года реабилитировать Тыныстанова Касыма в партийном отношении (посмертно)», – таково было решение парткомиссии при ЦК КПСС от 16/V-1964 года, подписанное Н. Шверником.

И этот документ с визами почти всех бывших в то время членов Бюро ЦК КП Киргизии пролежал в сейфе парткомиссии без малого четверть века, и мало кто знал об этом. А те, кто знал, помалкивали. Молчали, думаю, не без умысла, даже тогда, когда с партийной трибуны говорилось о том, что «некоторые представители худ. интеллигенции хотят реабилитировать бурж. нац. Касыма Тыныстанова». Этот документ скрыли от нового руководства республики и дали дезинформирующую справку, а членов комиссии те же люди

не хотели пускать в архив, по каждому документу приходилось обращаться в Секретариат ЦК КП Киргизии.

В одном из выступлений М.С.Горбачев сказал, что у перестройки нет врагов. Не знаю, насколько рискованно возражать Генсеку КПСС, но осмелюсь утверждать, что враги есть и не дремлют. В первую очередь, это те, кто в былые времена жил вольготно; те, кто, проклиная и глумясь над памятью, добрыми именами павших за истину, нажили себе ученые титулы, звания, ордена с медалями, которые звенят, как тридцать рублей серебром.

В публикациях наших дней нередко звучат оправдательные нотки о том, что клеймившие «врагов народа» искренне верили Сталину и искренне заблуждались. Факты говорят о том, что заблуждался дезинформированный народ очень далекий от «кухни», а вернее от «бойни борьбы за власть». На самом деле «мясники» работали вполне осознанно, со знанием клеветнического дела, с точной и определенной целью. Если Сталин уничтожал тех, кто мешал его беспардонному диктаторству, то в республиках, воспользовавшись создавшейся ситуацией, избавлялись от тех, кто стоял на пути карьеристов и завистников, мстили кровью и жизнью с 1925 года вплоть до наших дней. Свидетельством тому судьба Ишеналы Арабаева, одного из образованнейших людей своего времени. Получив до революции высшее духовное образование, он учителствует в родном аиле, создает первый киргизский букварь на основе арабского алфавита; позже, при Советской власти, издает второй более усовершенствованный вариант своего пособия. В первые годы Октябрьской революции попадает под влияние «Алаш-ордынской партии», которая, как и многие революционные организации тех времен, ошибочно считала, что Туркестан должен иметь не только государственную, но партийную автономию. В 1920 году после известных ленинских выступлений и разъяснений о неприменимости единства партии, «алашординская» организация по существу распалась. Порвав с прежними убеждениями, И. Арабаев вступает в ряды ВКП(б), активно включается в строительство новой жизни, занимая при Советах пост председателя по культуре и науке. По поручению Киробкома КП(б) руководит делами искусства и просвещения, открывает первые школы, выпускает первую газету на родном языке, занимается отбором и изданием богатейшего устно-поэтического творчества, именно ему мы обязаны тем, что лучший вариант «Манаса» успели записать из уст гениального старца Сагымбая Орозбакова, полный текст которого издан только теперь, 60 лет спустя. Однако в 1925 году за участие в письме тридцати советских работников Киргизии в адрес ЦК ВКП(б) И. Арабаев был исключен из рядов партии, а в 1933 году арестован и, не выдержав пыток и истязаний, в возрасте 56 лет во время следствия покончил с собой.

В июне 1925 года тридцать советских работников Киргизской автономной области во главе со своим председателем членом ВЦИК и ЦИКА А.Орозбековым направили в ЦК РКП(б) письмо, в котором выразили свое недовольство стилем работы и кадровой политикой Киробкома.

...«кроме того в сильнейшей степени дает себя чувствовать мелочная опека и вмешательство руководящей части обкома даже в техническую работу советского аппарата, что полностью обезличивает, парализует и подрывает авторитет перед широкими трудящимися массами, ни в коей мере не соблюдаются разграничения в работе советского и партийного аппарата», т.к. обком занимается всеми вопросами, включая выселение из квартир. Постановление партийных съездов и конференций о строгом разграничении советской и партийной работы ни в коей степени не соблюдается. Беспорядочные и часто случайные распоряжения Обкома РКП по советской линии парализует плановость в работе, и ни в какой мере не дают возможности вести планомерную работу, диктуемую интересами производства», –

писали они 64 года назад, а далее шел ряд конкретных предложений, которые сегодня легко спутать с Резолюциями XIX партконференции КПСС 1988 года.

4) В отношении руководства советской работой необходимо бросить мелочную опеку, давая лишь руководящие указания советским органам.

5) Необходимо поставить советские органы в такие условия работы, что гарантировало бы максимум продуктивности в таковой. Это может быть достигнуто при деловой планомерности в отсутствии дергания, наблюдающегося в настоящее время...

8) Если настоящее руководящее ядро Обкома не могущее учесть местную обстановку и нарушающее постановления съездов, конференций и циркуляры ЦК РКП не будет заменено, то мы требуем отозвания нас от занимаемых должностей, дабы не взять на себя дальнейшей исторической ответственности Киргизии.

Вот таким категоричным, я бы сказал, отчаянным требованием заканчивалось это послание.

Письмо «тридцатки» – так нарекли группу по количеству подписей – на конференции Киробкома получило осуждение, как клеветническая вылазка бай-манапской группировки, направленная на раскол партии.

Судьба тридцати советских работников, подписавших послание в ЦК, завершилась трагически: коммунисты были исключены из партии, сняты с работы и понижены в должностях, а позже в 1933 и 1937 годах почти все нашли свою гибель в тюрьмах и ссылках. По своей честной наивности они стихийно натолкнулись на то, что методично насаждал Сталин.

После XX съезда партии все получили посмертную реабилитацию, но не помню случая, чтобы кто-либо из историков, даже прогрессивных, пытался пролить свет в дело «тридцатки», видимо, при одном слове «группировка» дрожат колени, опускаются руки. Останки борцов за ленинские принципы руководства до сих пор покоятся в разных ямах и руинах с ярлыками, пришитыми им в том далеком двадцать пятом!

И. Арабаев в партии не был восстановлен даже посмертно, так как исключен был задолго до ареста и гибели.

Чтобы знать истинные причины столь рьяного сопротивления «невидимых» сил, стоящих на пути возвращения добрых имен, нужно вернуться к 1984 году, когда отмечалась 60-я годовщина со дня выхода в свет газеты «Эркин-Тоо» (ныне «Советтик Кыргызстан»). В дни юбилея корреспондент газеты Ж. Саатов взял интервью у старейшего литератора Зияша Бектенова – живого свидетеля событий полувековой давности. В публикации имя И. Арабаева упоминалось как одного из организаторов выпуска газеты. И тут же во все инстанции полетели устные и письменные жалобы, обвинения, даже угрозы, так как до сего времени во всех фальсифицированных библиографических справочниках в качестве «основоположников» числились совсем другие лица – те, по навету и клевете которых почти вся редколлегия (Алиев, Арабаев, Карачев, Тыныстанов и др.) была репрессирована и расстреляна. А поскольку имена «врагов народа» нельзя было даже упоминать, то тут же возникли другие «зачинатели», хотя участие, например, одного из активных претендентов А. Токомбаева заключалось лишь в том, что в первом номере газеты после тщательной доработки отв. секретарем С. Карачевым было опубликовано его студенческое стихотворение. В последующие годы официальные историки успели научно «обосновать» мысль о том, что до революции киргизы жили чуть ли не в пещерах и лишь после публикации стихотворения А. Токомбаева «Приход Октября», спустились в долину с красным флагом.

После интервью З. Бектенова «на ковер» были вызваны все, кто был причастен к публикации, их обвинили в фальсификации фактов и упоминании И. Арабаева – участника «тридцатки». Редакция вынуждена была обратиться к восьмидесятилетнему профессору Х. Карасаеву, работавшему в те годы с И. Арабаевым рука об руку. Старый ученый, обладающий феноменальной памятью, так возмущился притязаниям новоявленных «основоположников», что тут же сел за стол и, рискуя жизнью, написал исчерпывающую справку в подтверждение слов З. Бектенова. Слова «рискуя жизнью» я пишу не для нагнетания драматизма. В те дни старый профессор серьезно болел, врачи строжайше запретили ему читать и напрягать память – боясь инсульта. И едва он закончил свое свидетельство, подкрепленное ссылками на исчерпывающие документы, инсульт состоялся, и ученый с подключенным стимулятором кровообращения неделю не подавал признаков жизни. Врачи зафиксировали клиническую смерть. Когда медики вывели из состояния небытия, Хусаин Карасаевич признался, что временами, когда к нему на миг возвращалось сознание, радовался тому, что успел-таки написать свою справку.

Вот какой ценой порою достается возвращение хотя бы частицы истины! Оно требует порой не только человеческой честности, но и борьбы на грани жизни и смерти. За нее приходится бороться и сегодня в условиях перестройки, так как есть еще люди, которые выдают себя за честных партийцев, радеющих за перестройку, искажают истину, пишут статьи, вводящие неосведомленные массы в заблуждение, сеют смуту в среде представителей разных национальностей, создают конфликтную ситуацию между художественной интеллигенцией и руководством республики. Иначе чем можно объяснить то, что Постановление парткомиссии КПСС 1964 года о повторной реабилитации К. Тыныстанова, пролежавшее в сейфе 24 года, продолжало лежать там же и после XXVII съезда КПСС?!

А сколько людей ждали этого документа!

Известный киргизский лингвист академик В.М. Юнусалиев, по заявлению которого в ЦК КПСС было рассмотрено дело К. Тыныстанова, в ожидании исчерпывающего ответа нажил себе смертельный инфаркт. Не дожидаясь победного часа выдающийся ученый, автор киргизско-русского словаря, замечательный русский человек, слывший в официальных кругах не иначе как «киргизским националистом» за любовь к «Манасу», за высокую оценку, данную им творчеству Молдо Кылыча и самоотверженно боровшемуся за имя К. Тыныстанова – академик К.К. Юдахин. До сих пор не решен вопрос об увековечении имени Б. Юнусалиева и братьев Петра и Константина Юдахиных, которые для просвещения киргизского народа сделали не меньше, чем легендарные Кирилл и Мефодий для Руси. И это лишь по той причине, что они пытались вернуть народу имена Молдо Кылыча и К. Тыныстанова.

Не выдержав напряжения борьбы, «сошел с дистанции» один из своеобразных и темпераментных литературоведов Ш. Уметалиев – он писал о К. Тыныстанове, подготовил докторскую диссертацию по Молдо Кылычу.

Ученик Е.Д. Поливанова, известный фольклорист, переводчик А. Островского, Н. Гоголя, Н. Хикмета, А. Тренева, М. Горького, А. Фадеева, А. Макаренко, З. Бектенов, проработавший на ниве просвещения более полувека, до сих пор не удостоен даже значка за выслугу лет, а его заявление о принятии в члены союза писателей рассматривалось двадцать лет. Библиографии З. Бектенова и его друга соавтора Ташима Байджиева изъяли из Киргизской Советской Энциклопедии при второй корректуре. Оба они считались учениками К. Тыныстанова, в 1950 году после знаменитого доклада Жданова «получили» по десять лет. З. Бектенов вышел из тюрьмы после XX съезда КПСС, похоронив там своего друга. Известный киргизский литературовед и писатель Тазабек Саманчин был так же репресси-

рован, позже реабилитирован и восстановлен в партии. В 1969 году он добился издания своих трудов отдельной книгой, но вскоре весь тираж был пущен под нож – вспомнили, что он некогда защитил диссертацию по Молдо Кылычу, творчество которого было осуждено в одной упряжке с наследием К. Тыныстанова. Автора книги хватил инсульт, который в конце концов увел его в могилу. А документ о реабилитации К. Тыныстанова продолжает лежать в сейфе, хотя согласно существующему порядку Постановление Парткомиссии ЦК КПСС должны были тут же рассмотреть на Бюро ЦК КП республики, отменить своё предыдущее постановление.

Обращаясь к научному и творческому наследию К. Тыныстанова, даже такие серьезные исследователи как С. Жигитов и А. Эркебаев до сих пор проявляют чрезмерную осторожность и бдительность, особенно в той части, где идет речь о его «ошибках» и «идейных срывах». Видимо, их смущают и настораживают «чистосердечные признания» самого автора.

Да, действительно, в 1924 году, вступая в ряды ВКП(б) К. Тыныстанов признавался, что в юности «находился под определенным влиянием алаш-ординской партии», но тут же добавлял, что познав учение Ленина, убедился в его правильности, окончательно порвал со своими прежними и убеждениями и «стал честно проводить линию коммунистической партии». Об этом же он писал в газете. К сожалению, этим выступлением воспользовались его враги – везде и всюду эти признания цитировали как исчерпывающий аргумент. Слова «находился под влиянием» они заменили словами: «находился в самой партии», а последующие признания о мотивах вступления в ряды ВКП(б), разумеется, отсекали.

Да, действительно, будучи автором пьесы «Академические вечера», К. Тыныстанов признавался в ее идейной невыдержанности, будучи директором театра, он собственноручно снял ее с репертуара; будучи составителем учебника по морфологии, «признался», что пословица о пшенице и яме была неудачной, так как ее могли истолковать, как «кулацкую вылазку», обещал изъять ее при последующем переиздании; в архивах сохранилась стенограмма, где К. Тыныстанов, будучи наркомом просвещения республики, обращается к учителям, чтобы те не допускали увлечения молодежи запрещенной поэзией Сергея Есенина и его (Тыныстанова), «контрреволюционными стихами», от которых он сам отказался и уничтожил, лишь по той причине, что в них встречается слово «алаш», употребленное в смысле объединенного названия казахского и киргизского народов.

Но, думаю, всевозможные опасения об осторожности станут напрасными, если к оценке «собственных признаний ошибок и идейных срывов» подойдем исторически, с учетом политической ситуации тех лет. Газетные страницы, протоколы партийных пленумов и конференций, собраний первичных организаций буквально пестрят «самобичеваниями, признаниями «ошибок» и «идейных срывов», а тех, кто не признается, обвиняют в двурушничестве и саботаже. Вот один из подобных документов: «Протокол №153 заседания Бюро Киробкома ВКП(б) от 29/III-1933 г.

4) Предупредить тт. Тыныстанова и Кокенова, националистические ошибки, которые уже подвергались осуждению в решении обкома о киргизской литературе, и дальнейшие их ошибки, уклоны от национальной политики партии повлекут за собой немедленное исключение из рядов партии.

5) Предложить тт. Тыныстанову и Кокенову выступить с критикой и осуждением своих ошибок».

Попробуй тут не «саморазоблачиться»! А в дальнейшем эти «признания» станут для них главной уликой для вынесения смертного приговора. Таковы были правила игры, навязанные «вождем народов».

Академику К.К. Юдахину удалось в архивах Института мировой литературы отыскать письмо К. Тыныстанова, адресованное Максиму Горькому, датированное 8/X-1933 года.

Дав краткую справку о себе и высылая подстрочный перевод своих «Академических вечеров», К. Тыныстанов писал:

...«рассматривается вопрос о моем пребывании в рядах ВКП(б), я уже изгнан из рядов писательской организации. Эти обстоятельства в условиях культурно-отсталой Киргизии поставили меня объективно в такие рамки, в которых я морально лишен возможности успешно вести борьбу за пролетарскую культуру, как вел раньше. Скажу честно, по-большевистски, что я до сего времени не могу уяснить себе то, в чем конкретно выразились в данном произведении мои преступления перед пролетариатом, за которые так крепко осудили меня. А этот момент не дает мне как молодому художнику возможности гарантировать дальнейший рост своей творческой работы от политических ошибок».

М. Горький, как мы знаем, в это время был болен и, видимо, по этой причине не успел ответить. Но само письмо свидетельствует о том, что К. Тыныстанов считал себя преданным и сознательным большевиком, был уверен, что никаких идейных срывов и ошибок он не совершал и виновным себя не считал. С этой позиции он не сходил даже под истязаниями и пытками до своего последнего дыхания. (Следователь, по фамилии Песков, позже был «снят с работы и исключен из партии за применение приемов в допросах следственно заключенных граждан, запрещенных советским законом».) Угроза, высказанная К. Тыныстанову в 1933, была приведена в исполнение через два года.

«Протокол № 9 заседания комиссии по чистке первичной парторганизации Наркомпроса от 27/11-1935 года:

После того, как в 1928 году был разоблачен как буржуазный националист, Тыныстанов не стал участвовать в киргизской литературе, что является одним из методов его двурушничества, сознательное нежелание на деле доказать окончательный отказ и разрыв с буржуазно-националистической идеологией.

Постановили: как двурушника и буржуазного националиста Тыныстанова из рядов ВКП(б) исключить. (ФЛО.оп.3. д.187. л.7-10)

7 мая 1935 года Выездная тройка средкрайбюро в составе Дзюбенко, Браваркина и А. Токомбаева слушает дело № 907 и подтверждает решение комиссии по чистке. Любопытна характеристика, данная К. Тыныстанову этой комиссией, в ней констатируется, что «К. Тыныстанов в Красной Армии не служил, состоял в контрреволюционной алаш-ординской партии, «по происхождению из дехкан-бедняков, отец его раскулачен в 1931 году».

Члены комиссии не посчитались с тем, что в годы гражданской войны К. Тыныстанову было 15–16 лет, а по достижению 18 лет в армию не был призван, так как являлся студентом вуза, тем не менее справка комиссии смонтирована так, что К. Тыныстанов не служил в Красной Армии по причине службы в контрреволюционной алаш-ординской партии, в которой, кстати, никогда он не состоял, а если бы и состоял, то это вовсе не освобождало его от воинского призыва. Никого не смутило, что согласно этой справке в 1931 году был «раскулачен... дехканин-бедняк» в данном случае отец К. Тыныстанова – облик «врага народа» надо было рисовать во всех деталях. И вся эта обойма клеветы и лжи сработала. Сначала для исключения из рядов партии, потом из рядов живых. Приговор был утвержден Военной коллегией Верховного суда СССР 5 ноября 1938 года и на другой же день приведен в исполнение, здесь обходились без бюрократических проволочек! В списке «некоторых свиде-

телей», давших показания следователю, фигурирует фамилия члена выездной комиссии по чистке, одного из соавторов вышеуказанной справки.

Сегодня, когда идет коренной пересмотр истории нашего государства, на страницах печати освещаются ее самые темные углы и закоулки, высвечиваются лица жертв произвола и тех, кто творил его, нередко раздаются голоса о том, что все это было обусловлено сложностью времени, цитируют строки из всевозможных постановлений и публикаций тех лет. Но сегодня наш партийный и гражданский долг, пользуясь марксистско-ленинской методологией, взглянуть на прошлое и настоящее глазами жителей новой эпохи, окрашенной гласностью и демократией.

Уверен, что профессиональные историки глубже изучат и дадут исчерпывающую оценку как киргизской «тридцатке», открыто выступившей за ленинскую политику, так и казахским «алаш-ординцам» и тогда, может быть, опровергнут мои дилетантские суждения. Но сейчас я думаю, что алаш-ординская партия, объявившая лозунг свободы, равенства, единства киргизского и казахского народов не могла не привлечь на свою сторону революционно настроенную молодежь, которая еще не знала программы партии большевиков (А. Арабаев, К. Тыныстанов, М. Ауэзов и др.). Просуществовав два года (1918–1920 гг.) алаш-ординская партия распалась. Реакционные элементы ее ушли в басмачество и там нашли свою гибель, прогрессивная часть примкнула к М.В.Фрунзе, позже многие вступили в ряды ВКП(б), занялись строительством новой жизни. Но можно ли было всех, кто имел к алаш-ординцам какое-то, пусть даже отдаленное, отношение, расстреливать как буржуазных националистов и шлейф преследований тянуть до наших дней, лишь по той причине, что их лидеры ошибочно полагали, что казах-киргизы должны иметь не только государственную, но и партийную автономию. Да разве только в Туркестане бытовала тогда подобная точка зрения? Каких трудов стоило В.И.Ленину отстаивать централизованное единство партии большевиков? Порою приходилось воевать даже с ближайшими соратниками.

Тернистый путь истории нашего государства, трагические судьбы замечательных людей еще и еще раз призывают нас к бдительности, к скрупулезному анализу каждого явления, архивному подходу к каждой личности и к каждому народу, к абсолютному отказу от проведения массовых компаний без учета конкретных условий жизни и времени. Теперь-то мы хорошо знаем, к чему приводили массовые раскулачивания крестьян, борьба с «врагами народа», коллективные поиски «буржуазных националистов и космополитов», всесоюзное сеяние кукурузы, всенародные осуждения абстракционистов и прочих «апологетов буржуазного искусства», мобилизации по выдавливанию неонационалистов и неошовинистов. Массовое решение проблем рождает массовый психоз полигамного стада, где все поклоняются одному вожаку.

Горький урок преподала нам история...

И вот январь 1989 года...

В руках у меня номер «Советской Киргизии» с информацией о том, что Бюро ЦК КП Киргизии полностью реабилитировало творческое наследие Молдо Кылыча и Касыма Тыныстанова...

Таков героический исход нашей горькой эпопеи. Пройдя все девять оборотов, истина вернулась на круги свои. Вернулась с кровоточащими ранами...

О, как долго она добиралась до места назначения.

1989 г.

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Мар Байджиев – один из наиболее известных представителей новой литературной генерации. Его творчество, так же как творчество его современников, формировалось в сложном процессе сочетания национальных традиций с достижениями единой многонациональной советской литературы и опытом мировой культуры.

Чингиз Айтматов

Мар Байджиев принадлежит к числу писателей, которые самим фактом своего двуязычия свидетельствуют о процессах органического взаимовлияния национальных культур.

...Использование в младописьменной литературе приемов театра и кинематографа, стремление работать в разных видах и жанрах искусства – само по себе есть свидетельство быстрого творческого роста писателя, интенсивного обогащения национального художественного сознания в целом.

Вадим Ковский

...Оригинальность драматургии М. Байджиева придает очень сложный сплав отдаленных, уходящих в мифическую старину художественных традиций, решительного отталкивания от стиля ближайших предшественников, свободно переосмысленного опыта новейшей советской и отчасти мировой современной драматургии. Вместе с тем этот сплав имеет ярко выраженную национальную закуску.

Юрий Рыбаков

РАМИС РЫСКУЛОВ

Вдохновение

Дождь на земле дробится как смех,
Приветствую вас, цветы!
Здравствуйте, камни,
Я люблю вас всех!
Я всю землю держу руками,
По-бетховенски слышу, что слышно другим.
Вдохновенны мои шаги.

Многоцветны мои улыбки.
Тело мое стало вновь
Молодым, мускулистым и гибким.
Бунтует моя кровь,
Как сок в гранате спелом.
Никогда еще не был я
Столь молодым, и зорким, и смелым!

Звездный возраст

Полной жизнью
Я вновь живу,
Вновь причудилось при луне,
Что, поджарую смяв траву,
Мчится детство на скакуне.
Будто град, копыта стучат,
За прогоном летит прогон.
И меня снова годы мчат
К предзвездной звезде Чолпон.
Юность в нас как кумыс кипит,
Юность нас как кумыс пьянит.
Неожиданная, как дождь. К нам
большая любовь спешит.
И свежее в душе опять...
Мчится юность на скакуне!
Звездный возраст мой –
Двадцать пять – Буря, зреющая
во мне.

Слушая песню Ала-Тоо

Красная лисица пробегает
По первопутку белому Алая.
А в вышине орел кружится,
Держа в когтях лисицу.
Дрожат на утесах блики –
Отраженный смех Алая.
Прекрасны и светлолики
Юные девушки Алая.
Под солнцем красноязыким
Волшебна зима Алая.
Нет песен в мире звончей,
Чем песни народа родного.
В них музыка – вешний ручей,
И лодкою мчится слово.

Из века в век
Из уст в уста
Эти песни кочуют.
Душа от песен этих чиста,
И сердце в себе отвагу чует.
Буря в крови народа живет,
Вот почему он поет.
Разрывая пением
Горную тишь,
Улары живут
В Ала-Тоо нашем.
Когда на заре
В Ала-Тоо стоишь –
Душе никакой полет не страшен.
Из уст народа песни летят
К солнцу, к небу.
Я замираю, слушаю их.
В них с былью сроднилась небыль.
Крылатым я от них становлюсь,
Дерзостью полнясь,
Как будто рождаюсь вновь.
И миру всему с улыбкой дивлюсь.
И в сердце – к нему любовь.
Народ мой создал песенный сказ,
Могучий, как водопад.
Имя ему – «Манас»...
Юрты в горных долинах стоят,
Как родники
На щеках красавиц.
Вершины торжественно вознеслись,
Словно в небо с земли бросаясь.
И эту высокую высь
И эту широкую ширь
Врагам не уступит народ-богатырь.
Я счастлив быть певцом народа золотого.
Как сына, меня на своей груди
Качаешь ты, Ала-Тоо.

Урюковые деревья

Растаял снег.
И шумная весна
Шальным потоком в Сырдарью вошла.
И, девочку-весну ревнуя
К подснежникам расцветшим,
Расцвел урюк. Вся роща расцвела!

... Я каждый день деревьями люблюсь
Урюковыми. Белые цветы
На них уже становятся багровы,
Как молодой рассвет.
И с каждым днем пышнее кроны
Урюковых деревьев,
Как будто собираются они
В далекие кочевья
Взлететь под облака.
И смотрят из любого лепестка
Росы счастливой
Искренние светлые глазенки.
Пыльца белеет слоем тонким
На лепестках под солнцем.
Тень от них светла.
И даже бабочки и пчелы
Урюковой пылью
Себе запудрили крыла.
Я думаю – как счастлив тот чабан,
Что каждый день уходит в горы
И всю долину обнимает взором,
Затянутую дымкой, из которой
Урюковые стройные деревья
На солнышко неспешно выплывают,
Чтоб отогреться. И звучит для всех
И всю долину заполняет
Урюковых деревьев
Алый смех...

О поэтах

Если нет весной наводнения,
Значит – это просто не весна.
Ежели в поэте нет волнения,
То кому строка его нужна...
Если нет отчизны у поэта,
Стих его бескровен и бескрыл.
Тот лишь оправдает званье это,
Кто в стихах
Отчизну воплотил.

Юность

Юность – словно вино
В огромной бездонном бочке:
Пьешь и пьешь – не кончается оно,
И не поставить точки.
В юности не сохнут родники.
Все дни, как птицы в полете, легки.
В каждом – тайна.
В обыденном – чудо.
Радость идет –
А не знаешь откуда.
Образ юности –
Вешний сад,
Где глаза от цветов разбегаются.
Птицы надежд в небе парят,
Улыбками в глазах отражаются.
И высверк молнии молодой
Вмиг разгоняет тучи над тобой,
И над любимой, и над всею судьбой.

Киргизия

Едва только жизнь я в себе обрету,
Лишь землю родную увижу в цвету
И с нежного склона вдохну высоту,
Тобою наполнюсь, Киргизия!

Едва только мира я мудрость пойму,
Любимую в счастье своем обниму,
Дорогу увижу в далеком дыму,
Тобою наполнюсь, Киргизия!
Душа человека – его вышина, –
Как ветвь со стволом неразрывна,
Она
Землею родимой одушевлена:
Я – отзвук твой, слышишь,
Киргизия!..

Неразделенная любовь

Как маленький мальчик,
который так любит своего старшего брата,
что не может поднять глаз,
чтобы взглянуть в глаза
брату,

я не поднимаю глаз
к солнцу,
о котором думаю бессонными ночами.
Солнце мое!..
Я в каждой частичке своего «Я»
ощущаю твое присутствие,
и эта невысказанная любовь
гнетет меня.
Что я тебе! –
но как аккумулятор,
я переполняюсь тобою,
чтобы ночью
отдавать твою светлую энергию
единственному своему делу,
чистому листу бумаги,
чистому листу эпохи,
И чем ближе старость моя,
тем сильнее
невысказанность любви моей
к тебе,
ее тайная горькая сила,
солнце мое!..
Я вычерпаю себя до дна! –
так я думал в юности,
так я думаю и сейчас,
и знание это
родилось вместе со мною
и окрепло во мне,
когда качала меня
дедовская колыбель,
деревянная,
пронизанная тобою,
солнце мое.
Я вычерпаю себя до дна,
я буду верным своему времени
до конца,
лишь бы время мое
не обмануло меня,
я знаю –
я буду вечно молодым,
даже тогда, когда холод охватит
тело мое
взамен солнечной колыбели детства.
Да, я буду молодым и тогда,
и это
нелегко.

Солнце мое,
мне трудно смотреть тебе в глаза,
так много тебя во мне,
вопреки ночному ветру,
уносящему нас...
Моя любовь к тебе –
о, если бы ты узнало о ней,
солнце мое! –
не дает мне состариться
неразделенная любовь,
солнечная колыбель.

Идти буду вечно

Иду по земле,
по проселкам, проспектам, просекам,
знаю –
не будет мне остановки,
так важно найти мне
то, что ищущу
всю жизнь.
А ищущу я
в глазах людей
бесконечность доверья,
беззащитность добра,
Доверялся я многим,
белые мои улыбки оставляя
на пути,
обманут был многими.
Но ищущу –
как дышат, как живут –
доброту и доверье.
Нахожу – прибавляются силы.
И опять я в дороге,
цель моя –
приумножить добро и доверье.
Вот и стоял мой смех
и на отмелях речек
стерлись синие мои следы,
алая моя любовь.
Но иду к вам люди,
иду и ищущу
добро –
и идти буду вечно.

ЗОВ БЫТИЯ

Эссе

Иной раз, сам не замечая, начну петь песни свои и чужие. Порою долго не слежу за календарем на стене. С охотой отдаюсь усыпляющим ритмам дней. Бесхитростно живу, увлеченно следя за всемирным развитием поэзии!

И сто удовольствий черпаю от шахматной игры с любителями шахматистами! А после незаметно наступает вдруг эпоха безвременья. А сердцу хочется где-то быть современным. От этого желания гудит аорта моего тела. Чего ни желаешь в своей бытности. В мире есть зовущие глаза девушек и женщин. В мире есть женьшень. Есть свои напевы у каждого дня.

Утро вечера мудрее. Есть утренние настроения, и есть вечерние настроения. Они разные. Разны и девушки. Я не люблю тиканье часов. Они как секунданты. Иногда на балконе моем вижу горлицу. Когда выйдешь в поле, где небо открыто со всех сторон, мне чудится вечность. С удовольствием зайду в ближайшую пивнушку, и люблю, не спеша пить пиво. Иной раз удастся закусить рыбой. После пива отдыхаю телом и душой. Черпаю равновесие. Хорошо, что не знаешь, что ждет тебя завтра.

Очень много значит для меня: свет соседских домов, который падает через окна.

Море девушек вижу я каждый день. Иной судьбой грянул я на этот мир. Шалаш волос был на голове у меня в юности. А в какой-то период я стал очень похож на Бетховена. Мои черные волосы были моей черной маской. И поэтому я терпеливо носил на голове этот терновый венок. Тяжела шапка Мономаха, говорится ведь. Вся причина была в том, что я не искал легкой судьбы и легкого счастья. Я знал или почуял спинномозговым хребтом своим, что быть изолированным от общества порою полезнее, чем быть им признанным.

И он знал секрет этих волос. Этот секрет знают попы и древние дервиши Востока. Дело в том, что большие волосы обогащают человека в духовном отношении. Выделяют из толпы. Толпа, безумно поклоняясь мне, одаривала счастьем и вдохновением. Толпа любит своего контраста.

Личность воспитывается в гуще народа. Ходжа Насреддин жил именно среди народа. Он любил базарную сутолоку.

Когда я был студентом, у меня не было денег, чтобы идти еженедельно в парикмахерскую. Носки мои были дырявые. Когда я шел впереди, за мною вслед идущие девушки сочувственно смеялись, увидев меня с дырявыми носками. Мои пятки горели от стыда в такие моменты. И так от мороза они были красные. Судьба моя была ветрогоном.

И бездельники занимаются делом. Они создают благоприятную компанию для поэтов, композиторов и художников. Они есть творцы веселых анекдотов, сногшибательных слов. Имеют неистощимый запас веселья. Умеют грустить. Они создают среду и почву для гения. Гении имеют привычки прослыть паразитами, нищими. Это их маски и судьбы.

Поэты и гении имеют привычку плохо одеваться. Лев Толстой сказал: «Я когда хорошо одеваюсь, хуже мыслю, а когда скромно одеваюсь, мне мыслится лучше».

Часто и часто в юности сердце мое щемило и зияло, как открытая рана из-за обиды. Было за что обижаться. Я шел к судьбе, к счастью наугад. Нет легкого счастья на земле. Человечество шагало к грядущему из века в век через трупы, скорее, чем в мире и согласии.

...Есть еще один секрет у великих людей. Они имеют джунгли врагов и преследователей, ограничивают свои потребности. Они вынуждены мало встречаться и с красавицами всякого рода. И поэтому они свою энергию берегут для великих произведений.

Гении – добровольные нищие. Секрет смерти гениев: когда становятся богатыми, они из-за неопытности становятся часто жертвами богатства. Хоть встречаются в пути тысячи баранов, волк жертвует ими. Волк может вести голодный образ жизни. Изнутри своей кишки он слышит завывание. Он очень осторожен. На близкое стадо не нападает. Нюх тонкий. От голода порою и щелкают зубы. Вся жизнь чутье, догадка.

Гений питается запрещенными плодами. Он берет со вкусом. Довольствуется малым. Голод, холод, неудачи, недуги – его постоянные спутники. Сам, страдая, людям дарит радость. Из яда выделяет мед. В мире гениев много. Природа избирает одного гения именем тысячи гениев.

Бывает время, вдруг себя считаешь ненужным. Особенно в беде только очень редкие люди могут помочь тебе. Когда в кармане денег нет, и рубль звучит как симфония Бетховена. Этот рубль кажется равноценным на десять рублей. Поэтому не забудь тех людей, которые тебе дают рубль.

Часто люди приветствуя друг друга, спрашивают о здоровье, погоде. Друг с другом беседуют о ходе хозяйственных дел. Говорят о своих делах и о том о сем разговаривают каждый раз. Многим больше не о чем говорить. Ночью, наедине, думают о смысле бытия.

В юности я не накопил никакого богатства кроме книг. Порою ездил на такси. Был идеалистом чаще, чем материалистом. Любил красивых девушек. Красавицы мне дали огромное эстетическое удовольствие.

И бог ожидает чего-то, плачет и смеется. И он ищет из века в век своего идеала, думал я однажды. Быть передовым человеком, постичь главные идеалы своей эпохи! И рай много-сортен. И идеалы разные! Сколько несхожести существует в мире!

Если ты хочешь быть драматургом – женись на сварливой жене. Ревнивая жена преследует хуже врага. Изучая твоё моргание глаз, становится еще опаснее. Драматический театр кочует в твой дом. Поневоле перестаешь ходить в театр, имея его в своем доме.

В душевной комнате стоит запах мужчин, запах женщин. Влюбляются в запах мужчины некие женщины. По вечерам люди подводят итоги, задумываются о пережитом, мысленно рассказывают хронику дня.

При жизни вечно враждовали два соперника. А после смерти лежат рядом в двух соседних могилах, глубоко укутанные вечностью. Такими были их судьбы. Тоже насмешка

бога. Такими были Байтик и Рахматулла. Два хана враждовали меж собой. Их памятники стоят рядом.

И в страдании, и в пылкой любви величественны были герои Шекспира. Великое искусство – это есть всякое возмездие за не пережитое. Искусство требует жертв, это не простые слова. Не только искусство прихоть таланта, а чуткое отношение ко многим явлениям жизни.

Без борьбы дух будет дряблым, дряхлым. С гор утром к вечеру прилетает озон. Порою чувствуешь холодное дыхание вечности. Пышет под зноем юг. Сплошь рядом шумит презеленый, сочный мир.

В то время был молодым поэтом Петр Вегин. Мы с ним около часа непринужденно беседовали у памятника Пушкину.

В это время я уже написал стихотворение «Арбузы, уплывающие по реке». Один экземпляр этого стихотворения я подарил девушке-москвичке. С ней я беседовал, прогуливаясь по улицам Москвы. Я очень люблю медленно идущую московскую весну. Порою с каждой крыши капает капель дождя. Как сильно громяхают весенние громы над московскими лесами.

О, завидное молодое поколение, среди вас живут мои герои.

Личная инициатива и личная ответственность являются одной из главных движущих сил общества. Сначала капиталисты были во главе прогресса. В капиталистической Англии живущие Стефенсон и Уайт творили паровик, секрет электричества нашел инженер по имени Электр. Надо гордиться и нам такими людьми.

Я – корень жгучих вопросов.

Глазами неба я покажусь маленькой точечкой. Глазами маленьких атомов я гигант. Гении имеют очень много врагов...

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

...Рамис не только поэт-мечтатель, поэт-лирик, поэт-философ, но и поэт-новатор, обогащающий не только рамки поэзии, но и языки, как русский, так и родной киргизский нововведениями. Поражаешься новизне стихосложения, смелости, яркости и созвучию оригинальных словосочетаний.

...Рамис – Шаанис – Поэт, для которого нет границ. Он неизмерим и неисчерпаем, как талант. Его мысли масштабны, как по времени, так и в тематическом направлении. Истоки, родники его лучезарного таланта – это окружение его, наша среда, дух предков и величественные горы.

Его работы, пусть это будет поэзия или графика, не только отражение своей эпохи, они намного опережают свое время...

М. Арытбеков

...Поэт – не должность, не ступенька в длинной иерархической лестнице. Не бывает поэтов малых и больших. Просто есть поэты и непоэты. Рамис – поэт!

Поэт он и в живописи, и в графике. Наивной и обаятельной, немного эпатирующей и возвышенной. Такой, какую может себе позволить лишь абсолютно не скованный никакими комплексами человек. Человек, босыми ногами идущий к Богу. Разговаривающий с ним один на один, тихо так, обыденно, по-семейному...

В. Козлинский

Рамис Рыскулов – постоянно ищущий поэт. Он впитал в себя лучшее, что было и есть в родной киргизской поэзии. Но он не просто впитал, он обогатил ее новыми поэтическими образами, яркими красками, самые сильные из которых молодость и солнечность.

А. Налдеев

Природно-стихийное национальное мирозерцание Рамиса Рыскулова органично впитало в себя образы, мотивы, эстетические принципы отражения жизни различных литературных направлений мировой литературы. В его произведениях слышится отзвук страстной и философской поэзии мусульманского Востока, возвышенной тоски-мечты по несбыточному, романтизма, знаковой эстетики символизма, социального детерменизма, реализма, эпатажности и громоголосия футуризма... В этом отношении поэзия Рамиса Рыскулова интеллектуальна и интертекстуальна, и полное осознание ее возможно лишь в контексте истории мировой литературы...

Б. Койчурев

ОМОР СУЛТАНОВ

Женщина

Сколько веков
мы неразделимы.
Одновременно и вместе
мы появились
на свете.

Я без тебя
ничего не значу.
Ты без меня превращаешься в лед.

Все что значимо
в этом мире,
явно приравнено
к нам двоим.
Наше счастье в тебе и во мне,
и в тишине,
что лежит между нами.

Силой твоей
я восхищаюсь
и преклоняюсь пред ней.

Думаешь ты:
«Эти слабые руки
могут ли что-то содейть?»
Однако все силы мои:
вера,
надежда,
воля – это все силы,
что я получил от тебя.

Осколок

Маргарите Агашиной

Снаряд вылетел из ствола
в сорок третьем году.
Осколок его
вонзился в меня
в восьмидесятом.
Я сидел в кафе «Кама»
в Перми.

Сорок лет
летел сталинградский осколок.
Сколько он может лететь?
Сколько еще ранит?
Сколько уложит еще в госпиталь?

Мой отец
по сей день в Сталинграде,

Он в одной гимнастерке,
а не мерзнет зимой.
Он не ест и не пьет,
а голодным не будет.
От бессонницы не постареет
и от старости не поседеет.
Он в аил никогда не вернется –
он всегда в Сталинграде.

Я могу приехать к нему из аила. Тоска по отцу
пробуждает надежду во мне,
а на что я надеюсь? Не знаю,
С детства сердце мое,
как птенец желторотый,
с размаху ударенный оземь, заходится в крике...

Маргарита!
Ваш подарок,
тот ржавый осколок,
пробил мою душу опять.

Возвращаю его!

Я устал от осознания,
что осколок летит и летит. Сколько можно лететь?

Моя память, как госпиталь прифронтовой.

Голос

Ты прозвучишь,
если тебя извлечь.
Иначе ты,
руде подобно,
не извлеченной
из глубин земных,
лежать останешься;
и, право, проку мало –
есть ты на свете
или нет тебя; все
приметы твои:
высокий, низкий,
хриплый, тонкий –
бессмысленны.
Так где же ты?

Кене-Ургенч
была рекой широкой.
Исчезла, просочилась
в бездну.
Лишь русло от нее осталось,
как шрам от рваной раны.
Тоскует русло
по былой воде,
по свежести ее
тоскует русло
иссохшее.

Ты, Голос,
не иссохнешь никогда,
ты не состаришься,
ты не иссякнешь.
Ты вечно будешь эхом отдаваться,
все новые оттенки обретая,
как пламя.

Я слышу Голос Спартака,
как выхваченный из ножен клинок.

Все, кто не хочет
духом обнищать –
пусть подадут свой Голос.
Пусть скажут
свое «да»,
Пусть скажут
свое «нет».

Жизнь

Жизнь –
не внутри нас.
Жизнь –
не снаружи.
Она, как воздух,
которым дышим.
Она, как воздух,
невидимый глазу,
рукой неуловимый;
она подобна
зыбким границам миража,
она подобна

самой «Земле людей»,
как называл ее де Сент-Экзюпери.
О, жизнь!
Однажды ночью,
когда мы в Чункурчак
пригнали скот,
мне снился страшный сон...

Земля, как глобус,
у ног моих лежала...

А русло Чункурчака,
сухое.
как от жажды рот иссохший,
в какой-то миг
наполнилось потоком;
сизая, как расплавленный свинец,
текла река,
бурлясь, и пенясь,
и выходя их берегов...

Неслись в потоке люди,
борясь с волнами.
Одному я крикнул, когда
он мимо проплывал:
- Что это?
Что такое происходит?

- Ты до сих пор не знаешь?
Смотри, плывут в потоке все –
и взрослые и дети!
А ты чего стоишь и смотришь?
Ты почему не с нами?
Не в реке?

И, высоко подняв руками шар земной,
ступил я в реку
тихо, осторожно
и тревожно...
Течение подхватило,
понесло.
Я мчался в волнах,
сжав руками шар земной,
река – то накрывала с головой,
то выносила на высокий гребень.
Порой терял я разум

и терялся,
подобно щепке
в бешеной воде.
Стремительным теченьем
не убитый,
я был, как пленник,
волны щедро били
то об одну скалу,
то об другую –
был весь в ушибах я...

Я вызрел в муках,
закалился,
как выделанная на славу кожа
стал крепок,
потяните – не порвусь.
Привык к жестокой быстрине потока
как будто к затянувшейся болезни.
Привык к тому, что камнем бьет река...

В конце концов
впитал я исступленье,
реки бегущей
дикое упрямство,
и уж не я перед рекой смирился –
река сама смирилась предо мной.

И в мыслях не было, что можно победить бушующую реку...

Я шар земной не выпустил из рук. Вот он! Держу!

Течение

Почему
я не знал
меры
жизни проходящей?

Почему не замечал я,
почему не видел, глядя,
вод просторного теченья?

Всем, кто хочет
видеть время
и поток его незримый,

я советую на берег
речки выйти. Тихой речки.
Даже берег ручейка
подойдет для этой цели.
Выйди, сядь, уставься взглядом
в бесконечное течение.

И, само собой, увидишь
облик времени текучий.
– Вот и я, – промолвит Время.

– Вот он я, – промолвишь ты.

Нас потоки обтекают,
через нас они несутся,
мы все это знаем, видим.
не желая принимать, прикрываем правду ложью
и, в глаза друг другу глядя, честные слова таим, застревают они в
горле, умирают навсегда.

Я не знаю как другие,
о себе лишь говорю –
я, когда со мной такое,
прямо к берегу иду.
Пусть течение с ног сбивает,
пусть течение вымывает
ложь и трусость,
что гнездятся,
словно в омуте глубоком,
в подсознании у нас.
Кто сказал – оно бесшумно,
это бешеное Время?
Ну, подставь-ка шуму уши,
пусть прочистятся они –
это лучшее лекарство
от вселенской глухоты.
Слышишь, ты?

... Должен слышать шум течения
я хотя бы в ржавом кране,
должен видеть, как проходит
Время на моих глазах.

Время

Время в руки не идет,
а везде разбросано:
в доме,
в помыслах,
в горах!

Время бедное мое, собственность моя!

Сегодня времени нет.
Нет времени, нет
времени сидеть, ходить,
смеяться, удивляться.

А умирать – тем более нет времени...
Нет, хоть убей!
Дел невпроворот,
хороших,
откровенно важных дел.
А ты, заспавшийся,
забравшийся в себя,
переливающий
из пустого в порожнее,
из пустого в порожнее,
гляди,
время за полдень перевалило!

День меркнет,
скоро солнце сядет,
океан неисчерпаемого времени
иссякает.
Солнце сядет – ночь наступит,
а потом все в сон уйдет,
а потом – вновь оживет.
Время – плен.
Лишь солнце сядет –
ночь угрюмая настанет,
не бывало никогда,
чтобы ночь не наступала
после дня.

День и ночь – текли мгновенья,
их не крали – угоняли, их
когда-то было много, а теперь
почти что нет.

Ты не знаешь – что же делать,
даже руки опустились в
горестном изнеможенье.
Ах ты, надо же! Как быть?
Эх, иначе б это надо,
по другому бы, не так.,
Ах, вернуть назад бы время,
только время не вернешь –
даром время проведешь.
И никто тут не поможет –
даром время проведешь.

Почему ты не подумал, что
тебя заставит Время
пожалеть о миновавшем?
Что ж не брал уроков жизни?
А теперь вкушай плод горький,
плод раскаянья вкушай!
Нет тебе пути обратно;
в прошлое пути закрыты,
потому что для возврата
тоже времени-то нет.
Все прошло,
все миновало.

Скоро солнце быстро сядет.
День погаснет и умрет.
Солнце сядет – ночь наступит,
мир в пучину погрузится
пожирающего сна.

Спозаранку встав, окинешь
взором все вокруг земное,
сердце вздрогнет – загорится,
ан, а время твое вышло, время
ныне не твое...

ВЛАЖНЫЕ ОБЛАКА

Путевой очерк

Климат на Сахалине своеобразный: несмотря на близость моря, бывает знойное лето и обжигающая морозом зима, золотая осень и зелено-косая весна. Растительный мир так богат, что Сахалин по праву можно назвать естественным ботаническим садом.

Случаются и неожиданности: летом может выпасть снег, а зимой хлынуть проливной дождь. Океан приносит на остров обилие влаги. Может быть, именно поэтому тут выращивают удивительную капусту – тридцатикилограммовые кочаны. А щавель нередко достигает высоты человеческого роста.

Тучи и облака здесь тоже не такие, как на материке. Темные, тяжелые, влажные. Так и взять бы их в руки да выжать, словно мокрую тряпку. Такими облаками, казалось бы, можно умыться. Одежда от них промокает насквозь.

В аэропорту Южно-Сахалинска мы долго ждали, пока разойдутся эти тяжелые, влажные облака. Нам сказали, что пока они не уплывут, самолеты в воздух не поднимутся. Но уплывать они, видимо, не собирались. Сеял дождь – мелкий-мелкий, словно манная крупа.

Нас раздражали эти часы вынужденного безделья, хотя здесь, на Сахалине, мы «работали», пожалуй, не меньше, чем у себя дома. Вставали в шесть, завтракали на скорую руку и – бегом на очередную встречу. Последняя встреча заканчивалась поздней ночью. Потом приходилось долго добираться до гостиницы. Шагали иногда в полной темноте по незнакомым улицам, а то и по просекам. Приходили совершенно усталые и разбитые. Ужинать не хотелось. Какой тут аппетит, когда думаешь лишь о том, чтобы скорее добраться до постели, упасть и уснуть! А через несколько часов снова нужно вставать и мчаться куда-нибудь к рыбакам или строителям.

На Сахалине не так-то просто попасть в нужное место. Здесь нет до глянца накатанных дорог. Лесные пути едва намечены – в ямах, ухабах, буграх. Какими бы прекрасными не были рессоры машины – все равно, пока доберешься, все внутренности перетряхнет.

Но ехать надо: читатели ждут. А ведь они – люди занятые, хотя и находят время оторваться от труда. Потому что любят книгу, не мыслят своей жизни без литературы.

Когда встречаешься с такими людьми – вмиг забываешь и про усталость, и про плохие дороги, и про холодный сеющий дождь...

В аэропорту мы прощаемся с южной частью острова. Теперь наш путь лежит на север Сахалина. Одна группа писателей направляется в Оху, город нефтяников или, как его здесь называют в шутку, «сахалинский Баку». Другая – в Александровск-Сахалинский, расположенный на западном побережье острова, у Татарского пролива.

Про северную часть острова в свое время хорошо сказал А.П. Чехов в известной книге «Остров Сахалин»: «Верхняя часть острова по своим климатическим почвенным условиям совершенно не пригодна для поселения и поэтому в счет не идет».

Об этом районе Сахалина от местных жителей можно услышать интересную легенду.

Говорят, что когда-то, в давние времена, пришли сюда со стадами оленей эвенки, поставили на берегу моря чумы, и решили зимовать.

Но оказалось, что вода в этих местах для питья не годилась. Она была темной, с неприятным запахом, с масляными пятнами. Эту воду эвенки так и называли – охэ, то есть неприятная вода.

Видели эвенки и в других местах этой части острова такую же воду. Попадались даже целые озера, затянутые темной, скользкой пленкой.

Однажды эвенки попали в гости к нивхам. Ярко горел огромный праздничный костер, вокруг которого веселились и гости, и хозяева. Кто-то решил убавить огонь, зачерпнул в небольшом озере черной воды и плеснул на пылающий хворост. И тут все ахнули: пламя вместо того чтобы угаснуть, запылало еще жарче.

Рассказы о «горящей воде» дошли до русских купцов. Некий скупщик пушнины Иванов наполнил сосуд «огненной водой» и отправил в Петербург. Там определили, что это нефть. Промышленники царской России заинтересовались богатством далекого острова.

Но по-настоящему это богатство раскрылось только в годы Советской власти, особенно в период Великой Отечественной войны. Страна нуждалась в нефти. За военные годы нефтяники Сахалина добыли 2,4 миллиона тонн нефти. Именно в то тяжелое военное время был построен нефтепровод Оха – Комсомольск-на-Амуре. Помните широко известный роман В. Ажаева «Далеко от Москвы», посвященный строителям этого нефтепровода?

...Наконец густой туман исчез, словно всосался в землю. Ровное поле аэропорта постепенно освободилось от тяжелых влажных туч.

Повеселели, оживились лица пассажиров. Все с надеждой прислушивались к каждому сообщению диктора. Вот наконец объявили посадку и на наш рейс...

«АН-24» взревел моторами и взмыл в холодный воздух, взяв курс прямо на север, где нас, несмотря на август, может быть, ожидал снег. Сначала самолет должен приземлиться в селе Зональном, чтобы оставить там несколько человек из нашей делегации, а уж потом полетит прямо в Оху.

Я вспомнил, как кто-то, не то шутя, не то серьезно, уверял, что в Оху иногда забредают медведи. Зайдут, мол, на кухню, съедят все, что можно найти, и спокойно отправляются дальше по своим медвежьим делам...

В МЕСТАХ ПРЕЖНЕЙ ССЫЛКИ

Путевой очерк

Кто из нас не любит путешествовать? Люблю дорогу и я. Но если едешь и летишь изо дня в день, то это в конце концов начинает и приедаться. Как горький дунганский перец, которого так много на фрунзенском колхозном базаре. Я думал об этом, когда ехал из Зонального в Александрова в кузове грузовой автомашины.

Дорога была разбитая, ухабистая, пыльная. И болтался я в кузове, словно сорочка в стиральной машине. Одно утешение было: думал о поездке Антона Павловича Чехова.

Я-то хоть в автомашине. А ведь он трясся в обыкновенной бричке. Да и дорога тогда была намного хуже – не дорога, а едва намеченная тропа.

Еще в 1889 году царское правительство официально объявило Сахалин местом тюрем и каторги для тех, кто не хотел мириться с существующим строем.

Чехов, прибывший на Сахалин в 1890 году, назвал его «адам на земле». Хотя видел он еще не самое худшее: осмотреть тюрьмы ему не разрешили.

Позже это удалось сделать известному русскому журналисту В. М. Дорошевичу. Вот что он писал о жизни ссыльных и заключенных:

«От весны до осени, с начала и до окончания «сезона бегов», испытуемым арестантам бредут половину головы и заковывают в ножные кандалы. И тогда сахалинский воздух, и без того проклятый, наполняется еще и лязгом кандалов. Еще издали, подъезжая к тюрьме, вы слышите, как гремит цепями кандалная. От весны до осени наполовину бритые арестанты теряют человеческий облик и приобретают «облик звериный», омерзительный и отвратительный... Каторжные работают «сколько влезет» и даже «сколько не влезет»...

И журналист, подробно описав быт кандалников, приходит к выводу, что на земле пока не было такого злостного преступления перед человечеством, как ссылка в сахалинские тюрьмы...

В Александровск-Сахалинский мы прибыли в полдень. Стояла жара. Я снял пиджак, перекинул его через руку и невольно вспомнил, как всего несколько дней назад лежал на горячем песчаном берегу Иссук-Куля.

На центральной площади города, которая носит имя 1 Мая, ... раньше размещалась тюрьма, вокруг лепились убогие домишки поселенцев и ссыльных.

Теперь просторную площадь окружали трех- и четырехэтажные здания. В большой светлый универмаг тянулся поток покупателей. Здесь же размещалась четырехэтажная гостиница, где нам предстояло жить.

Чуть поодаль возвышался Дворец культуры. Тут же великолепный ресторан. Кафе. И – просторный книжный магазин.

Кстати, я никогда раньше не видел таких магазинов. Любая книга – на виду. Рядом с продавцом – экскурсовод по книжным полкам, который всегда может помочь покупателю найти ту или иную книгу. С такой помощью в книжном магазине не заблудится ни один человек – ни оленевод, ни нефтяник, ни школьник. Мне кажется, такой опыт следовало бы распространить во всех книжных магазинах страны.

Уже потом, после торжественной встречи на площади, когда мы вошли в магазин и стали знакомиться с новинками книжной торговли, я обратил внимание, как сахалинцы раскупали роман моего славного земляка Узака Абдукаимова «Фронт». Некоторые из них попросили меня оставить на книге автограф за покойного писателя-собрата, и я с гордостью и радостью выполнил эту просьбу.

Вечером во Дворце культуры состоялась встреча с читателями. В огромном зале собрались лесники и шахтеры, рыбаки и учителя, школьники и колхозники. Зал не мог вместить всех желающих: многие стояли в фойе и через открытые широкие двери прислушивались к словам, звучавшим с трибуны.

Литературный вечер превратился в праздник книги. В фойе была организована книжная торговля, и я видел в перерывах между заседаниями настоящее столпотворение у прилавков. Люди с жадностью расхватывали книги. Я смотрел на этих горожан далекого маленького города и невольно вспоминал то, что писал А.П. Чехов в конце прошлого столетия.

«Летом 1890 г., в бытность мою на Сахалине, при Александровской тюрьме числилось более двух тысяч каторжных, но в тюрьме жило только около 900. Вот цифры, взятые наудачу: в начале лета, 3 мая 1890 г., довольствовались из котла и ночевало в тюрьме 1279, в конце лета, 29 сентября, 675 человек. Что касается каторжных работ, производимых в самом Александровске, то здесь приходится наблюдать, главным образом, строительные и всякие хозяйственные работы: возведение новых построек, ремонт старых, содержание на городской манер улиц, площадей и проч. Самыми тяжкими считаются плотницкие работы. Арестант, бывший на родине плотником, несет здесь настоящую каторгу, и в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кровельщика. Вся тяжесть работы не в самой постройке, а в том, что каждое бревно, идущее в дело, каторжный должен притащить из леса, а рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста. Летом люди, запряженные в бревна в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажень, производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимой же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста»¹.

Жители Александровска-Сахалинского хорошо знают и любят А.П. Чехова. В городе есть музей, где бережно хранится все, что так или иначе связано с великим русским писателем.

¹ А. П. Чехов. Остров Сахалин. – М., 1948. – Т. 10. – С. 60.

Встреча с портовиками Александровска-Сахалинского состоялась в самое необычное для нас время: на заре.

Заря на Сахалине резко отличается от нашей, киргизской. Наша заря – яркая, багрово-красная. Солнце выкатывается из-за гор уверенно, стремительно, словно заранее предвещая жаркий, знойный день. На острове же заря едва зарумянилась в нежной туманной дымке. Прохладное солнце словно выплывало из океана, осторожно входя в белесый край небосклона.

Ожидая встречи, мы с любопытством бродили по берегу моря. В это утро оно было спокойным. Тяжелые волны лениво выплескивались на песок. Речка Малая Александровка струилась, словно струя из-под самовара. У самого берега она образовывала еще одну протоку. Высокие волны океана смаху толкали воды речушки назад, но она безропотно сливалась с этими волнами. Куда, мол, больше идти как не в твои объятия! Речка напоминала ребенка: как бы не резвилась, а все равно прильнет к груди матери.

На песчаном берегу лежал одинокий остов-скелет большого морского судна. Сквозь ободранную обшивку виднелись поржавевшие части рангоута. Корабль напоминал старика, который когда-то был высоким и широкоплечим, а на склоне лет от него остались лишь мощи.

Вокруг судна валялись отбросы океана – то, что он не принял в свою пучину и вышвырнул снова на берег: обломки балок, консервные банки, опутанные водорослями, толстый якорный трос, измятые ржавые листы кровельного железа и другой несусветный мусор.

В северной части порта расположился рыбкомбинат. Его сооружения казались сколоченными лишь на время: сегодня они есть, а завтра уже их не будет...

Пока мы бродили по берегу, закончилась ночная смена. Нас пригласили в механический цех комбината. Здесь, среди токарных станков, стружек металла, незаконченных деталей, пропитанных стойкими запахами нефти и рыбы, зазвучали стихи наших поэтов.

На этом вечере особый успех выпал на долю Сергея Давыдова. Бывший токарь Ленинградского завода имени Кирова быстро нашел дорогу к сердцам молодых рабочих. Им пришлось по душе стихи Давыдова о родном заводе, о простых рабочих, об их заботах и чаяниях.

Давыдову аплодировали, просили повторить то или иное стихотворение, просили автографы и с энтузиазмом предлагали собственные темы.

Выступающих было много. Гости читали стихи, а хозяйка рассказывала о своих будничных делах. Тут же обменивались адресами, обещали переписываться.

На комбинате трудится более тридцати представителей разных национальностей. Некоторые рабочие приехали совсем недавно, другие уже успели обзавестись семьями, получили квартиры и, как говорится, бросили якорь надолго. Немало было и таких, отцы и деды которых родились и выросли уже на Сахалине.

Встреча наша проходила в самой сердечной атмосфере. Когда мы уже покидали цех, вслед нам еще долго звучали слова:

- Приезжайте еще! Мы будем ждать!

Солнце уже стояло высоко. Берег наполнялся народом. Здесь были и портовые рабочие, и работники других предприятий.

Кто-то из руководителей порта предложил:

- Хотите прогуляться по морю на катере?

Конечно, такое предложение было принято с радостью. Некоторые из нас еще ни разу не плавали по морю. Кое-кто поглядывал на высокие тяжелые волны, набегающие на песок, с опаской и недоверием.

Большая территория водной поверхности порта была обнесена как бы частоколом из сосновых бревен. Здесь находилась стоянка катеров.

Тяжелые суда – пароходы, теплоходы, баржи – стояли в двух километрах от берега. Здесь для них было слишком мелко, причалить к берегу они не могли..

Но, несмотря на это, погрузка и разгрузка судов были механизированы. Десятки подъемных кранов и лебедок окружали суда. Их работа координировалась всего лишь одним диспетчером, который посылал свои команды прямо с берега из радиоуправляющего пункта.

Я с восхищением наблюдал за этой четкой работой механизмов, а на память вновь приходили картины прошлого, описанные А. П. Чеховым.

«Нагрузка и выгрузка пароходов, не требующие в России от рабочего исключительного напряжения сил, в Александровске часто представляются для людей истинным мучением; особенной команды, подготовленной и выученной специально для работ на море, нет; каждый раз берутся все новые люди, и оттого случается нередко наблюдать во время волнения страшный беспорядок; на пароходе бранятся, выходят из себя, а внизу на бортах, бьющихся о пароход, стоят и лежат люди с зелеными, искривленными лицами, страдающие от морской болезни, а около барж плавают утерянные весла. Благодаря этому, работа затягивается, время пропадает даром и люди терпят ненужные мучения. Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал: “У меня люди целый день не ели”»².

Полезно сравнить настоящее с прошлым. Правда, иногда мне начинало казаться, что все, что я видел, было всегда. Всегда существовала вот эта механизированная погрузка и выгрузка пароходов, давным-давно пришла и в этот край научно-техническая революция, а прошлого вовсе и не было. Такой дикой и нереальной кажется нам теперь картина, нарисованная великим русским писателем в конце девятнадцатого столетия.

И все-таки прошлое забывать нельзя. Потому что именно в сравнении с прошлым мы можем теперь понять и оценить наши собственные достижения...

Наш катерок медленно подошел к огромному, как скала в Боомском ущелье, белому теплоходу с красной надписью на борту – «Владивосток». Рядом с этим великаном катерок казался совсем крошечным.

Катер на несколько минут пришвартовался к борту теплохода, принял груз и, прыгая по волнам, будто яичная скорлупа, направился к берегу.

С палубы «Владивостока» что-то кричали нам молодые матросы. Но что именно – из-за грохота волн мы так и не разобрали. Слышался только громкий добродушный смех.

Впереди показался высокий утес. На нем – беленький домик. Маяк. А неподалеку – три скалы. Они были совершенно одинаковые, словно высеченные рукою художника.

– Эти скалы называются «Три брата», – пояснил нам один из матросов.

В самом деле, скалы были, как близнецы. Я невольно подумал: сколько сотен лет, а может, и тысячелетий простояли они над океаном?..

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Стихи Омора Султанова растут из его души, неравнодушной, взволнованной, глубоко причастной ко всему, что происходит рядом и далеко...

Султанов – поэт ищущий, идущий на эксперимент. Его стихи рождены глубоким художественным характером, единством сердечной эмоции и напряженной

² А. П. Чехов. Сочинения. – М., 1948, т. 10, с.61-62.

мыслью. Оттого так значительно в них непосредственное чувство, так обнажен и пронзительно окрашен полет поэтической идеи. Исповедальность его строк порой такая, что кажется, будто они не рождены на бумаге, а выкрикнуты, выплеснуты автором в единое мгновение, перенесены на нее из души, где идет постоянный внутренний монолог, обращенный ко всем живущим с ним на одной планете, в том числе и ко многим конкретным людям, живущим и ушедшим, с которыми он ведет разговор.

А. Алланов

...Особенность пера Султанова – органическое сочетание традиции и современности, естественность голоса и откровенная сила чувств.

Л. Васильева

...поэзия Омара Султанова – поэзия сопряжений, сочетаний, связей. И шире – той гармонии, вне которой искусство существовать не может. Гармонических сопряжений пространства и времени, природы и космоса, чувства и разума, прошлого и грядущего, национального и общечеловеческого, технической цивилизации и гуманитарной культуры. Но эта гармония достигнута не просто – она вырастает из целой цепи поэтических усилий постичь смысл исторического движения природы и общества, противоречий культуры, борьбы разума и инстинкта, она исполнена драматизма.

В. Ковский

СВЕТЛАНА СУСЛОВА

Родная речь

*« ... Все мы – верные псы Нашей
русской словесности вещей...» (1975 год)*

Не задумываясь
как дождь
льется с неба, стучит по крышам, –
говорю
и любую ложь
за чужим восхваленьем слышу,
недосказанное – и то –

воссоздать несказанно просто
до незначащей запятой,
до значительности вопроса...
Это – с детства родная речь, от
рождения, до рожденья... Речке
так же нестрашно течь, огибая
нагроможденья каменистых
своих берегов, покушающихся на
русло...
Я, наверно, была б другой, если б
вдруг не родилась русской: и
покорнее, может быть, и мудрее, и
даже краше...
Только тем и прекрасна была бы что –
чужая не станет нашей: и во сне, и в
глухом бреду – пусть как роль
затвердишь иное – ты очнешься в
своем аду, где и боль, и тоска –
родное, где и ругань сладка на вкус,
где и в жалости чуешь жало, где
срывается просто с уст имя Божье –
без мольб и жалоб...
Так не вызубрить, не приять речь
иную, что рядом-мимо: с ней как с
соской во рту не спать, с ней,
вздыхнув, не сойти в могилу...

Любимый, мы с тобою мастодонты,
мы вымерли сто тысяч лет назад.
Такие в мир приходят ненадолго –
наивным оставаться здесь нельзя.

О мир вещей с железной хищной хваткой!
О мир насилий, сплетен, лени, зла!..
Но видишь –
снег пушистой птичьей лапкой
стучит в окно, и улица бела,
и, видишь, небо с гор течет в долину,
жемчужное, с мерлушкой облаков...

Природа, мы к тебе пришли с повинной, –
с любовью, что на тысячи веков
еще продлится, если ты не канешь

в холодный хаос мертвенных вещей;
давно вознес свой нож сметливый Каин
и длится взмах с библейских пор уже:
вот почему мы чувствуем –
над нами всегда предгрозы в чуткой
тишине...

Но как трепещет душ влюбленных пламя –
язык свечи в распахнутом окне!

*«... Подари мне степи, подари коня,
Чтобы плелся ветер позади меня...
От тебя умчаться хочется до слез
Чтобы [...] счастьем в памяти
жилось ...» (1966 год)*

Подари мне песчаную розу,
что свивает бесшумно волна,
подари мне безлюдные плесы –
мы дадим им свои имена;

подари костерок мне прибрежный
и душистый дымок над огнем;
подари мне заботу и нежность –
чтоб беречь это счастье вдвоем;

пусть смыкаются губы и руки,
пусть смеются и плачут тела,
как огонь растворяясь друг в друге,
пусть не ведают грусти и зла;

пусть река с нас смывает наутро
мимолетные сны о былом;
пусть оставит нам старость лишь мудрость
в беспечальном житье молодом...

Стихи о старости

*«... Ты одинок и стар,
Еще того не зная...» (1976 год)*

1.

Когда я постарею, наконец,
седой, наверно, буду и кудрявой...
Но не о том, придирчивый истец,
мои года,
спросить получают право:
уже сейчас порою так кольнут,
с таким азартом сердце вдруг скогтят мне.
Вся жизнь сложилась в годы из минут,
на месте не стоящих, безвозвратных.
Им нет цены теперь, когда ушли.
(А разве их когда-нибудь ценили?
Лишь в ладанке целуют пядь земли –
отчизны дорогую горстку пыли...)
Уже сейчас, скупее всех скупых,
перебираю в памяти мгновенья –
цветные драгоценные камения,
добытые прозреньем у судьбы.
В ее глуби так много было их...
(Мы второпях довольствовались частью,
и все казалось – лишь манило счастье
сквозь суету забот, что бьют под дых
расцвет любви и радостную мысль,
рожденную от близости с прекрасным...)
Они донныне в памяти не гаснут
и за подол хватают – оглянись!..
Так маленькие, помню, сыновья
просили задержаться у порога...
Теперь торопит их своя дорога.
С соседней не сойдется колея.
(Вот разве в бесконечности сольет
свои заботы с нашими, как в детстве...)
Но сожаленьем поздним – не согреться.
Плод прошлогодний – это горький плод.
Винить себя – затея стариков.
Уже поняв, люблю все их затеи:
едва живой, а день-деньской при деле,
боясь уйти, не выплатив долгов;
природы часть – корпит, у ней учась,
впадая, как в младенчество, в терпенье...
Со старостью мы сравниваем тленье,

но в тленьи пламя копится как раз.
Старик (быть может, зная, что пора звездой
вспыхнуть в бездне беспробудной),
как хворост, предпоследние секунды – одну к
другой – собирает для костра...

2.

Улица детства!.. Ты манишь вернуться,
ты зазываешь цветущими вишнями...
Как хорошо поутру бы проснуться
в доме, где быть мне до смерти нелишнею,
там, где скрипят половицы медовые,
к окнам сирень наклоняется гроздьями...
Знаю, стихи мои лучшие, новые,
там дозревают как яблоки поздние.
Тихая улица детскою памятью
в сердце навеки отмытая добела...
Там и метели похожи на замяти
пуха, весною летящего с тополя;
там наша старость свершится, как молодость,
то, что за детством приходит, не мешкая;
нашего чувства осеннее золото
ляжет удачей:
орлом, а не решкою;
все, что меж детством и старостью, – полноте!
было иль не было? Смогом подернулось...
... Ветер, кружась, завивает по комнате
запах всего, что поспело, исполнилось...

3.

Я люблю вас, ровесники века, –
люди, книги, деревья, дома...
Каждый – красноречивая вежа
для несуетного ума.
Не нужны вам ни гимны, ни оды –
их от века достало с лихвой,
благодарные дети природы,
заплатившие честно судьбой
за ошибки – свои и чужие,
за покорности с совестью спор...
Вы, почти как земля, молодые,
пережившие мор и топор,
и пожары, и войны, и смерчи
все сметавшей с пути клеветы...
(Одинаковы, в общем, для смерти
люди, книги, дворцы и сады.)

Как люблю я погладить ладонью
кладку гладкую древней стены –
вся душа, откликаясь, утонет
в тишине, оживляющей сны;
и вот так же, к коре прикасаясь заскорузлого
карагача,
забываешь, что злоба и зависть
мир твой могут порушить с плеча... Беззащитность
свою и доверье,
не стесняясь, как в детстве, несем
к старикам, к молчаливым деревьям,
в старый, ветхий, родительский дом.
В этом доме скрипят половицы.
Книгу с полки возьмешь наугад – пожелтевшие
пахнут страницы
как отцовский заброшенный сад: урожаем
несобраным, мятой,
паутиной и грустью чуть-чуть...
И обнимешь отца виновато,
не скрывая нахлынувших чувств...
Хоть молись неизвестному богу,
что способен однажды рискнуть: уходящего века
дорогу
не к обрыву, в сады повернуть –
те, что в бедах и войнах забыты
и зачеркнуты в списках времен...
Из недожитых жизней убитых век бескрайний
составил бы он:
все бы длился, наполненный светом, речью мудрой
и стуком плодов... Помолись, молодая планета, за
последних своих стариков!

Бишкек

Втемяшилась в башку такая блажь,
что этот город мной любим до смерти, что в
жизненной невнятной круговерти он щит и меч, и
страннический плащ; что дыма слаще нет на всей
земле
и неба – чище, и деревьев – гуще...

Чем старше мы становимся, тем пуше влечет нас к
остывающей золе единственного будто очага,
пропахшего уже вчерашним супом...

Оскудевает щедрая рука.
Душа томится непонятым зудом.
Во сне приходит память о былом –
иными поколениями любимом –
и очаге, и кошке под столом,
и ветре, клочья туч несущим мимо...

Но утром просыпаешься – в окно
стучит карагачевой веткой осень,
и кажется, что снился сон давно,
а, может, будет сниться – если бросишь
вот этот дом, и кошку, и сверчка,
сверлящего дыру под половицей...

И вдруг поймешь, что это тоже снится,
что ты и здесь – до времени, пока...
Праправнук мой в какой-нибудь глуши
возможно на другом конце планеты, –
когда-нибудь поймет нелепость эту:
[...]

Вечер русской поэзии в Джеты-Огузе

*Полупуст отстранившийся зал,
созван муками культпросвета.
В перекрестке ослепших зеркал
три-четыре заезжих поэта...*

Вячеслав Шаповалов

Курорт. Былой империи обломок.
Барокко зала. Гипсовый тиран...
Поэта голос в зале хрупко ломок.
За окнами – ноябрьский туман.
Словесности нездешней неуютно,
Но снисхожденья полон персонал...

Как элефант, попавший в мир посудный,
Неясный, как невспыхнувший напалм,
Товарищ мой в покое этом странен,
И отстранён, от скуки впавший в спесь,
Как будто прочь умчался он в астрале,
Комком одежды тело бросив здесь...

Мы с детства с ним не терпим снисхожденья.
Нам чья-то жалость – вызов на дуэль.
Наш путь всегда – сплошное восхожденье,
Хоть как провал зияет в небе цель.
Мы на курортах вечно мимолётны,
Как всплеск зарницы в сумраке сплошном,
Одною одержимые работой,
Что чтима в измерении ином.

Товарищ мой!.. В какой бы передрыге
Себя ни находили мы с тобой,
Мы изливали душу лишь бумаге
И потому не спорили с судьбой.
Да и сейчас мы истинны – в астрале:
Пусть тени носят званья, имена...
Зато себя в потёмках не теряли
И всё потомкам выдали сполна!

* * *

*... И вот пишу, как прежде без помарок
Мои стихи в сожжённую тетрадь ...*

Анна Ахматова

Стихи сжигать – в который раз! – в печи...
Нет ничего бессмысленней, чем это.
Себя схватить за горло: «Замолчи!»,
Глухонемым, незрячим стать – поэтом?..
Убрать из-под руки перо и лист,
Да так убрать, что их с огнём не сыщешь?..
Увы! Призвание – самый зоркий сыщик.
Играя в прятки с ним – не ошибись.
Женою Лотта спрячься в истукан –
Векам предашь всех чувств своих волненье...
Как сжечь стихи? Они не знают тленья.
Им срок земной совсем не нами дан.
Не поднимать ресниц, чтоб век не мог
В глазах увидеть облик их летящий?
Они всегда повсюду – в настоящем...
Я их впустить посмела за порог
Ещё тогда, в младенчестве своём,
Когда другая женщина седая,
Сожжённую тетрадку вспоминая,
Ушла за нею в звёздный окаём...

Что не дано любому быть творцом.
И дай-то Бог простой пастушьей скрипкой
На струнах двух,
Что есть Добро и Зло,
Судьбу нам спеть без фальши, без ошибок.
Лишь со смычком бы в жизни повезло!

АЛЕКСАНДР НИКИТЕНКО

Семья

Баяну

Мои друзья –
Рамис, Акбар Рыскуловы,
киргизского народа сыновья.
И как кому ни воротило скулы бы –
я говорю:

они

мои друзья.

Я друга выбираю не по нации,
простым и добрым людям сам родня.
В надежнейшей сердечной депонации
простые чувства дружбы у меня.

У нас в селе жила семья киргизская,
еду приготавлила на огне.
И боорсоки, жарким маслом прыская,
шкворчали в раскаленном казане.

Я с детства рос под звездами высокими,
доверчивости к людям не тая.
Конечно же, не только боорсоками влекла
меня киргизская семья.

Да что еда! Голодными мы не были –
пришли пятидесятые года.
Но то, что в этом доме нету мебели,
я помню, потрясло меня тогда.

Я научился ноги класть калачиком,
пристраиваясь с краю на кошму,
Никто гвоздя там даже не вколачивал
ни в стол, ни в стул, не нужный никому!

Они в том доме были б даже лишними.
И мы садились прямо на полу
или в саду под яблонями, вишнями
и чай мы пили, дуя в пиалу.

Глава семьи врачом был или фельдшером
я в детстве их не очень отличал.
И был он очень ласковым, доверчивым,
среди своих меня не отмечал.
Беря комуз, глазами глядя грустными,
он пел для всех, но как для одного.
И не были киргизами и русскими –
мы были просто дети для него.
И перестал я обращать внимание
на то, чем не был полон этот дом.
В нем жили доброта и понимание,
уют в нем был – заботой и теплом.

Тогда в селе все семьи были равными –
лишь десять лет как кончилась война.

И не были ковры и «стенки» главными –
совсем не этим жизнь была полна.

Вдохнули люди, столько отмытарствовав,
жизнь, медленно налаживаясь, шла.
Мои обноски мать в семью татарскую
донашивать, отштопав, отнесла.

Я тоже френч вельветовый донашивал
с соседского чеченского плеча.
И всё ж еще куда беднее нашего жила
семья киргизского врача.

Но не было в соседях злости, вредности,
хотя и не хватало трудодней.
И не были мы черствыми от бедности,
и помогали тем, кто победней.

Позднее, шмотки модные разыскивая
и деньги перехватывая в долг,

не раз я вспоминал семью киргизскую –
была бедна, но в дружбе знала толк.

Я по две смены у станка отматывал.
А детство всё звало издалека,
и я читал киргизского Айтматова
как своего родного земляка.

Тряхнуло нас алмаатинским шабашем.
Мы столько лишних благ приобрели,
но опоздали, как к разбору шапочному,
к самим себе, оставшимся вдали.

И вот, когда отдельные детсадики
для русской и киргизской ребятни
устроили ответственные дяденьки,
я вижу, как забывчивы они.

Не раз я в жизни на излом испытывался,
я не хочу, как дяденьки грозят,
чтобы отдельно мой сынок воспитывался
от черноглазых шустрых киргизят.

Нельзя детей с мечтами одинаковыми
лишать насильно общего двора –
им не в национальном узком вакууме
придется жить, когда придет пора.
Нельзя нам забывать уроки давние,
уроки единения, родства.
Ведь дружба нерушима лишь когда
она в плоть межнациональную вросла.

И пусть об элитарности поскуливают
любители красивого вранья.
По-прежнему мы все – одна семья.
Мои друзья – Рамис, Акбар Рыскуловы,
киргизского народа сыновья.

Потеря

Нам в тягость – ум,
а чувство нам – не в радость.
Врубаясь в заповедные пласты,
в природу беззащитную внедряясь,
бедны – умом мы, чувствами – пусты.

Мы над ее загадками потели.
И вот теперь приходится сынам
прикидывать всеобщие потери,
находками казавшиеся нам.

Природа – не бездушная тетеря,
хотя и в ней есть место для тетерь.
И вот её глобальная потеря
по нам самим ударила теперь.

Мы – поколения рвенья, покоренья,
боренья против косности и тьмы,
природу обкорнали по коренья,
забывшись, что коренья эти – мы.

Все эти дыры в нежной атмосфере,
все пятна нефтяные на морях,
не об экологической потере –
нам о своей потере говорят.

Мы все накрыты гибельною тенью.
И у разбитых топчемся корыт.
Природа нетерпима к повторенью –
нас больше никогда не повторит.

Цикада

К сонной тайне прохладного сада
после жаркого летнего дня
подключилась ночная цикада,
в лунном сумраке звонко звеня.

И была она явно в ударе!
Спали горлица, майна и дрозд.
Только зуммер космической твари
разливался в сиянии звезд.

Наступила пора звездопада.

Звезды
в бездну
срывались,
дымясь.

И держала шальная цикада
меж веками
летающими
связь.

Если больше не видите даль вы
или в жизни не та полоса,
посмотрите на красные мальвы,
поднимите глаза в небеса.

И тогда
окрыленному сердцу
вдруг просвет выпадает в судьбе,
словно вы потаенную дверцу
приоткрыли случайно в себе.

Беспредельное

Может, вести настигли лихие
бедолагу на бедной земле?
Налегли мировые стихии на
сутулые плечи во мгле.

Беззащитный, беспомощный, жалкий
он стоит у свинцовой воды.
Рвутся по ветру темные галки как
предвестники скорой беды.
Это гиблое все и плохое
в угасающих сумерках дня
подошло и лишило покоя, в
беспредельность бесцельно гоня.
Он ушел из удобной квартиры,
чтоб собой не томить никого.
И вселенские черные дыры через
сердце проходят его.

В том, как курит он снова и снова,
как дичится галчиной игры,
много смутного есть, рокового,
непонятного нам до поры.

Секонд-хенд

Секонд-хэнд – вторые руки.
Он почти что ни за что
оторвал крутые брюки
и фартовое пальто.

В секонд-хэнде он, как денди,
обаятелен и нов.
Не хватает только бренди,
чтобы сбрендить от обнов.

Он готов для уик-эндов
и для будней трудовых.
После этих секонд-хэндов
есть остаток годовых.

Для работы и для спорта
есть трусы и пара брюк.
Удалец второго сорта,
образец непервых рук.

Без зарплат и дивидендов,
в лапах займов и тщеты,
завсегдатай секонд-хэндов,
соглядатай нищеты.

К переменам неготовый
плод разрухи и тревог,
постсоветский, беспонтовый,
независимый «совок».

Синий троллейбус

Живешь
и подспудно имеешь ввиду
свернуть
с суверенной дорожки.

Я в синий троллейбус
сажусь на ходу.
Троллейбус –
как после бомбежки.

Его пассажиры –
матросы его –
«совки», застарелые лохи
страну поднимали,
не взяв ничего
взамен от ушедшей эпохи.

Есть пропасть в сердцах
в лихолетье разрух:
кто– нищ,
кто – по-новому крепок.
И те,
что на смену нагрянули вдруг,
не ездят в троллейбусах-склепах.

Товарищи-братья
(теперь «господа»),
забытые отчей державой.
Их
синий троллейбус везет
в никуда,
воспетый самим Окуджавой.

*Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!*

А. Блок

Муза, муза, туман отстелился.
Проницая века без цепей, я не
спился и не застрелился, и
живу по скрижалям степей.

Уцелев при развале Союза,
как в полынной степи истукан,
моя добрая старая муза,
за тебя подымаю стакан.

Всё и вся и везде развалилось.
Разъярилось ворьё и хамьё.
Половина страны разорилась.
Не забыла ты сердце моё.

Потому что – какие тут споры –
звездопевной Вселенной звеня,
не для этой вот бешеной своры
ты плескала мне в сердце огня.

Казино, кабаре и канканы
с золотым отупелым тельцом –
гибнет всё!
Но стоят истуканы
с понимающим вечность лицом.

Говорю, что под стать истуканам
обернувшись лицом на зарю,
я встаю и стою со стаканом,
в честь тебя я стою, говорю.

Применяясь к шакальему вою,
я во мраке клянусь этот вой:
я по пояс уже под травой,
но по пояс еще над травой.

Свищет ветер в степи, как тетивка.
Ковьли!
Облака как столпы.
Муза, муза, степнянка и скифка,
отняла ты меня от толпы –

подняла над толпой – истукана
без руля, без рубля, без цепей.
И я пью за тебя из стакана всю
ковыльную горечь степей.

Мой голос

Нет, я не Байрон, я другой ...
М. Лермонтов

Я Евтушенко, Смеляков, Твардовский,
Есенин, Мандельштам и Маяковский,
Жигулин, Вознесенский и Рубцов,
Некрасов, Баратынский, Фет, Кольцов,
Уитмен, Рильке, Лорка и Неруда!
И фрунзенских поэтов – Аксельруда,
Колесникова – принял я черты,
мой рот орет, когда орут их рты!
Я Заболоцкий, Пастернак, Светлов,
Ахматова и Белла Ахмадулина,
есть даже дух Рыгора Бородулина,
Олжаса Сулейменова во мне,
Абая, Навои и Токтогула...
На мощной поэтической волне
идушей и несущей столько гула,
что слышен он в любой земной стране
среди небоскребов и в тиши аула,
в толпе стоустой и наедине
с любимой, что доверчиво уснула

и тихо улыбается во сне –
родился я и всеми стал вполне,
тем самым став собой среди разгула
застойных послесталинских времен.
Я – синтез поэтических имен,
живой, а не духовная могила.
Моих учителей взрывная сила
мне стала кумачом моих знамен.
От них не отступлю я ни на волос
теперь, когда оформился мой голос.

«Нет, я не Байрон, я другой...»
Но я и Байрон, я и Лермонтов
среди «ура!» орущих нервно ртов
в атаке на передовой.
Так вот откуда эта желчь!
Когда в огонь идет пехота,
поэту просто жить охота,
а не сердца глаголом жечь.

Но страх бессильнее стыда
за этот страх.
И выше жизни
свою любовь к своей отчизне
поэты ставили всегда.

И как бы критик ни кусался,
и как ни портил мне кровей,
я славлю вечный дух гусарства
болеть о родине своей.

Мне слава слуха не ласкала.
И не был я к страданьям глух.
Поэты мира – мой «Ла Скала» –
мне голос ставили и дух.

Всем, кто во мне выискивает «блех»,
Я говорю воинственно: – я – Блок.
Мои стихи не жалкая невнятица.
Вглядитесь и увидите «Двенадцать»!
И всем, кто настораживает ушки,
морали чтя, пустые, как хлопушки,
я говорю: – я долгожданный Пушкин.
Его вы ждали? Вот он – видит Бог.
Вдали – пора Бориса Годунова.
Отчизна помнит кровь своих сынов.
А зло живет.
И в мир приходят снова

то Пиночет, то новый Годунов.
Диктатор в преступлениях не покаяется.
Скликается на трупы вороньё.
«Поэты мира против апокалипсиса» –
движенье многолюдное моё.

И лира, словно чуткая антенка,
настроена на боли бытия.
И только потому я Никитенко,
что все поэты мира – это я.

Бесценно поэтическое имя.
Меня не соблазняет пьедестал.
И прежде, чем собою стать мне –
Я ими стал
живыми и бессмертными –
Я им не подражаю.
Их боль – моя.
Болит их каждый стих.
Я во сто крат в цене подорожаю,
когда во мне расслышите вы их.

Ни у кого ни строчки не крадите,
не видя дальше кончика пера!
А я беру от их больших традиций –
желания свободы и добра.
Бойтесь эпигонства вы, а сами
всю жизнь поете голосом сырым.

Но голос мой –
их полон голосами.
И этим самым он –
неповторим.

Под косыми лучами светила
в октябре я лежу на траве.
Жизнь мне тайны свои посвятила.
Пусть не все – но одну или две.

Я с небес опустился случайно.
И случайно уйду в небеса.
Но была и останется тайна:
жизнь моя на земле в полчаса.

Это лето с тополиным пухом,
с иволгами-флейтами в листве!
Весь я взорван зрением и слухом,
утопая взглядом в синеве.

Пух влетает в синь – я как нетрезвый,
пух клубится – кругом голова.
И, сквозь пух, вздымая зелень лезвий,
побелела хищная трава.

Забелели травяные склоны...
Забраны глубокой синевой
тополей тенистые колонны
и шумят зеркальной листвой.

Пух покрыл весь пруд до побережий.
Все-таки на снег он не похож,
потому что ветренный и свежий
этот день так звонок и погож!

Потому что я с огня и света
захмелел, как будто молодой.
Потому что я влетаю в лето
с тополиным пухом над водой.

Муки, кум

Цыц!
Шанс наш!

Живи ж. муж ум,
коли, милок,
Наде дан, юн, как ню.

Не Женя нежен,
а
бородач чадороб.
Дорогой огород,
доход
и к салу ласки
ему в уме.

А море рома?
Наш «Арашан»?
Или пили
они вино?
Или пока не накопили?
Или-или!

(Еле-еле).
Да, но мил им и лимонад.
Нов звон!
Но мил им он.

Я рад, даря. Дару рад?
А
Казак тут?

Колера тарелок.
О, вид – диво.
Не лети, вид удивителен.
Жую уж.

Коле перепелок,
кущи щук
и
кита на канатик.
Ты сыт?
Токи икот...

Лезу на санузел. Волоки колов!

«Муки, кум».
А муки кума?

А
я,
босой особь.
мед ем.
Фуф!..

Охотник Кинтохо

(озорная сказка)

Жил да был один охотник,
до чудес большой охотник.

По призванию охотник, по
прозванию Кинтохо.

Был он дядька бородатый,
озорной, чудаковатый.

Векшу-белку и куницу в
глаз отстреливал умело
и лисицу-чернобурку
добывал в сезон охоты.
Да по году из таежной
не показывался чащи.

И окрест его всё чаще
называли «сын природы».

Был, однако, он на редкость
мужичок трудолюбивый,

с тою долей вдохновенья,
что сопутствует таланту.

Только сам не находил он
ничего в себе такого.

Правда, как-то между делом
он заметил эту склонность

многих слов и сочетаний
честья слева и обратно.

И сказал себе Кинтохо:
– Да ведь ты и есть охотник!

И назвал он перевертнем
это странное явление.

А однажды, удивившись,
написал он на берёсте:

«А коростель лет сорока
еле-еле
летел.
сел в лес.
А
охотник Кинтохо

тут как тут.
Дуплет – и тел пуд?

Догу год.
Уму
учу:
-Ищи!
... Куст... сук... Шиш!

Лакал
пуст суп».

Так, оставшись без обеда,
описал он то, что видел,

и что раньше почему-то
на берёсту не просилось.

А потом он стал потребность
ощущать в такой забаве:

оказалось, невозможно дня
прожить без перевертня!

В ярких словосочетаньях
вдохновенных озарений

всё, что им же пережито,
рассказать хотелось людям.

И тогда-то он свой гений
вдруг увидел на берёсте.

Вот идет он на рыбалку
ранней ранью. Что за диво –

лепестки весенней зорьки в
огневом калейдоскопе!

«Дорога за город.
Зорь – как роз!
Колок
роз узор,
нежен.
Немал пламень».

А когда писал, как в чаще
задержал он браконьера,

обнаружил наш Кинтохо,
что не только видом зорьки

безмятежной, как ребенок,
он умеет умиляться,
но и твердым, неприступным
там, где надо, быть умеет.

«Догу год.
Огни, Динго!
Вон вновь.
Вон у сена несунув!
И Луна. Бар грабанули.
И кружат аж урки.

Вор дров нес
ясень, вяз
взяв.

- Нилин?! –Я, дядя...
Я не лез в зеленыя...

(А врет, стерва,
зараз
лапал!)

Я во русак, а суров я:
- Шабаш! Иди!

Увёл Лёву».

Так и жил, перемежая
он поэзию с делами.

Жизнь прожил он золотую
и прекрасную, однако.

И однажды не заметил,
что лисой подкралась старость.

А когда почил Кинтохо
по призванию охотник,

ученик его достойный выбил на надгробном камне:

«Охотник Кинтохо. Гений и нег».

Китик

Аквалавка:
киту бутик,
манеру муренам,
акуле лука.
Моржу уж ром
и лерка макрели.
Киту моха на хомутик.
А
китик
вопил: «Клипов!»

И киты нытики, и китики.

ВЯЧЕСЛАВ ШАПОВАЛОВ

Бег

Красные горы, зеленые горы и белые горы!
Воздух арены, соленый и пыльный приют,
алые всадники тешатся вечной игрою,
черные тени зеленой землею бегут.
Туша козла и хрипящая конская шея,
черная пена на белом оскале удил,
преодоление склона, где песня ущелья
белой рекою летит, выбиваясь из сил.

Древняя пыль под ногой да трава молодая...
 Медленно тронется – но разгорится, как страсть,
 первый раскат далеко позади – аламана,
 скачки навстречу рождению и смерти пространств.
 Первый закат, что пропах кизяком и полынью.
 Первый рассвет, что пропах тишиной и луной.
 Первый закат, что пропал в безымянной былине.
 Первый рассвет, что припал к роднику под горой.
 Я – твоя удаль, суглинки и всплески ущелий,
 росчерки горизонталей взамен горизонтов твоих,
 все, пропели, но песни забыть не посмели –
 жизнь, аламан мой, в полете затверженный миг!..
 Молодость, ты свою старость всегда наворачиваешь,
 слепнет мой разум, но взор проникает года,
 где, словно славное эхо киргизских ристалищ,
 к старости от ледников убегает вода.
 Красные годы, зеленые годы и белые годы.
 Я вас предчувствую. В осени – привкус весны.
 Сумерки медленно входят в дрожащие воды –
 черных коней, запредельных огней табуны.
 Мчались по солнцу – и вышла дорога дугою,
 где ты замкнешься в неведомом круге, дуга? –
 пусть по забытой тропе пролетит поколение другое,
 юности каждой дорога ее – дорога.
 Красною пашней, зеленою пашней и белою пашней,
 красным, зеленым и белым солончаком,
 вслед за грядущей, неведомой, ясной, вчерашней –
 целью и жизнью – копыт прозвенит дерзновенный
 чекан!
 Сердце гнедого, казалось, взорвется и смолкнет, я не забуду, как
 падала в гриву луна – канула в небо. А конь, запаленный и мо-
 крый, медленно брел по следам своего табуна.
 Красные годы, зеленые годы и белые годы...

Горизонт

Памяти художника Белека Кошоева

Мавзолей на краю горизонта плывет,
 облака обтекают его не спеша,
 над серебряной юртою солнце застыло.

Здесь гремела байга и дрожал небосвод,
 многоликая ярмарка, песен душа, здесь
 бурлила у старых колодцев аила.

Здесь история молча прошла стороной,
 но крылом исполинским задела меня,
 ибо эти холмы, преклоняя колени,

в час, когда затихает пылание дня
 и песок остывает в тиши голубой,
 посещают героев предвечные тени.

Здесь батыр Алмамбет поглядел на восход,
 отвернулся от тяжести безвдохновенной,
 в новой родине видя свой долг и оплот,
 еще раньше, чем бросил на битвы алтарь,
 как на чашу весов обретенной вселенной,
 жизни, дружбы, любви заповедный янтарь.

Здесь батыр Алмамбет на коне Сарала
 оглянулся на горные тропы боев,
 оглянулся на мутные дали Бэйжина –

взор вершинам вернул и соцветием вод,
 что наполнили радостный край до краев,
 и уста обожгли тяжелее, чем мед,

пониманья и горечи скорбь и хвала:
 здесь восстанет земля, и велик будет тот,
 чьим отчаянным именем станет долина.

Ибо гений родится, когда лишь дотла
 выгорает земля, выгорает народ:
 миф о смерти отца – появление сына.

Мавзолей на краю горизонта плывет.
 Над ручьем Канькей – серебро тальника.
 Безымянное небо приникло к вершинам.
 Дальний всадник, забытого бога рука,
 скачет вечной дорогой по склонам целинным.
 День уходит в зенит. И легенда не лжет.

Поэты

*Мы в каждом сне переплывали реки,
 И все они напоминали Лету.*

Юнна Мориц

Сходят серебряные голоса
 с шатких и вящих своих постаментов,
 в весны забвенья уходят они незаметно,

в полые воды, в уцелевшие где-то леса.
Кажется, там – отчуждения полоса...
Как им живется?
Все исчезает. Но все остается.
Воды болотца и воды колодца.
Вечность затягивается на полчаса.
(Песни, лекифы с узкогорлым звучаньем,
ваших хозяев вы не повстречали? –
баловней бала...
Пена шампанского баловства,
что для иных – этикетка на профиле,
станет печатью причастья,
эпохи ли –
славно ли, плохо ли...
Все-таки – веснами во поле,
игом родства
с будущим.)
Как талантливы юные!
Затвердевают волны реки –
Ахеронта ли, Стикса ли, –
сколько вас пальцы прощальные стискивали,
химерические маяки!
Увековечиваются июни,
чьей-то забытой души уголки
в час полнолуния...
В час этот звали: пой и живи.
предназначение
осуществи! –
только б не думать, что не поградили...
И в бесконечной стране географии
ваши растворены биографии,
как кислород растворен в
крови.
В сумерках обезголосевшей мафии
все, кто пропели однажды, –
правы.
Мы забываем их. Мы – забываемы.
Непобедимы. Неубиваемы.
Неувядаемы и невидены.
Черные литеры. Красные литеры,
Красные пажити. Белые простыни.
Пепел раздумий!.. Красные роздыми.
Лес уцелевший. Лес уцелевших.
Неисцеленных – но исцеливших.
Роща живая – каждое дерево! –
все безымяннее, безымяннее:

неузнавание древа познания! –
вдруг это – песня,
кем-то потерянная.
Позавчера, наступи послезавтра!
Песня, прославь безымянностью автора.
... Лес, уцелевший в осенней молитве:
красные литеры, черные литеры...

Стансы

От блокады до блокады –
Облака да облака,
Нас история лукаво
В современность облекла.

Будущее очищенье,
Века нежная трава? –
Боль и холод отчужденья
Стали степенью родства.

Стоило ли с ног валиться,
Хоть усталости не жаль? –
Позади Боброк Волынский,
Впереди – Бабрак Кармаль.

Наша вещая природа
Не почует в нас беды –
Ждали мы Кола Брюньона,
Но пришел Кола Бельды.

Что же, если ты мужчина,
Боль прими и не сморгни,
Облик хана Тэмужина
Лику Дмитрия сродни.

Жизнь твоя не отмахнется
Каламбуром: нищий – мот,
Днище всякого колодца –
Наизнанку небосвод.

Не судьба с судьбой лукавит,
А мы сами лжем себе.
Всяк свою дыру буравит,
Всяк ответит на Суде.

Все, что было, снова с нами,
Скажем – плоскость, выйдет – грань.
Хоть цвета меняет знамя,
Но пощупай – та же ткань.

Круг замкнувшийся греховен,
Скажем – профиль, выйдет – фас.
Боже, кто же тут виновен?
Ну а кто же, кроме нас!
Человек меняет кожу,
Робко в форточку стучит: –
Боже, что ж я подытожу?
Но вселенная – молчит.

Азийский круг

*Ино, братие русстии христианя,
кто хочет пойти в Индейскую землю,
и ты остави веру свою на Руси...*

Афанасий Никитин,
«Хождение за три моря»

Не лукавь,
Взглянув на круг Ипподрома –
Круг земной.
Тебе только кажется, что ты дома –
Это дом не твой.
Не роняй однако ж в бессилье руки,
Ты ведь не таков, –
Ибо ты не только в азийском круге,
Ты – в кругу веков.
Ничего не поправит тот, кто славит –
Но какой ценой!
Не азийский круг тебе счет представит,
А круг земной.
Не лукавь,
Предвидя года обиды,
Гнев и боль.
Рухнули твои пирамиды? –
Бог с тобой.
Не лукавь,
Не предчувствовал ты исхода,
Не винись ни в чем,
Торжество отторженья – людская природа,
Полумесяц и крест над плечом.
Всё, что ты создать возмечтал, –
Неправда.

Блуден разум твой.
До сих пор в крови течет Непрядва,
Бог с тобой!
Вся твоя надежда – срастить народы,
Вот и получай результат:
Пересохла реки,
Северные воды вспять не хотят.
Вся твоя услада – дыра в озоне.
Не юродствуй: мол, не повезло! –
На луга,
«Где бродят женщины и кони»,

Исторгается звездное зло,
Люди языка своего не находят,
Бурлит заблудшая кровь.
Эпоха исхода:
Народы уходят,
Чтоб не встречаться вновь?..

Кого же нам винить, принявшего муки
За всех?
Крикну: я родился в азийском круге!
Безразлично шумит орех...
Вдоволь не сумели мы наиграться,
Натешиться не смогли:
Снова наступила пора миграции,
Теперь уж – с Земли.
Нет, не падает на нас излученье –
На радиоактивном ветру
Мы, исчерпав свое назначенье,
Сами вылетаем в дыру.
Души наши, покинув тела, воспаряют
До облаков?
Не лукавь:
Да как они только взлетают –
На каждой столько грехов!

Ты, свой чуждый край называвший
Милым,
Ты, любивший чуждый язык,
Понял или нет, что тебе по силам
Расставанья миг?
Всё здесь ждет в недобром своем веселье –
Правда, обнимающая ложь,
Небо, обвиняющее ущелья, –
Когда ты, чужак, уйдешь.
Не сыскать тебе тропы к водопою –

Не видать ни зги.
Не лукавь хоть однажды с самим собою,
Хоть однажды не лги,
Не лукавь –
Сама судьба ответит,
Компас вырвет из рук.
И ухода твоего не заметит
Твой азийский круг.

Тени в раю

...Архивов
оскорбленное тленье,
гневный выкрик очевидца
в лжесвидетельствующей толпе,
никем не услышанный: беспаятство,
безвременье,
бессмертье...
Что бы и нам,
проблуждавшим в своих временах,
для сравнения не попросить у Бога
взглянуть на его безымянные Зоны:
Вот и запела волшебная флейта,
откликнулись ей тридцатые нежные годы,
вздогнула
провинциальная улочка в сливах и яблонях,
где на частной квартире
чудаковатый профессор живет,
путешественник и опиумщик,
имя ему Поливанов.
Весной дороги грязны,
почта столичная тянется, как с ямщиками,
Прага и Токио умолкли давно
только стремительны (впрочем, это понятно)
вести во сне в железных депешах Кремля.

В маленьком садике,
где столик стоит и скамейка,
сгорблен сидит Поливанов,
лицо его детское измождено,
он тихо беседует с другом.

Друг его видный киргизский ученый,
властность и ум в чертах его и во взоре.
Молча сидят они, подавлены и печальны.

...Время прошло,
кончается тысячелетье,

сидят они, заняты долгим молчаньем.
Оба расстреляны и, естественно, знают об этом,
после расстрела встретились, ясно, не сразу –
сначала с одним завершили власти дело благое,
потом и с другим,
да и в чистилище оформленье
(рай до отказа забит бюрократами тоже)
стоило жизни...
Солнце пригрело, и далеко за садами
крикнул, скорбя, паровоз –
и в ветвях откликнулись птахи.
Тихо шепчет Касым Тыныстанов
суру Корана,
на полуслове ее подхватил Поливанов,
но отгремела война мировая –
и скорбь мировая
ныне лишь в том, что ничто не забыто
и все при желанье напомнят.
И все же...
Солнце пригрело, у яблонь почки набухли,
словно откликнулись женские груди на ласку,
в маленьком городе ясное-ясное небо,
если взглядеться – увидишь провалы Бейджина,
золото рун италийских, японское теплое море,
пики дружинников, медное стремя Манаса,
дальше – огни, половодья и пепелища,
черные трубы заводов и черное небо арестов,
и алое знамя, и выкрик:
рукописи не горят!
– Да уж, – усмехается Поливанов, –
не горят: языки, как народы, текучи.
Однако – течем-с...
– Еще бы! – бровью слегка шевелит Касым Тыныстанов. –
Уже притекли... И все же и все же, и все же
как это с нами случилось, когда это с нами случилось?

Поэт Тыныстанов
тонкой рукой обнимает
узкие плечи наставника.
И Поливанов,
вздогнув, с улыбкой угрюмой, как себе самому,
бросает другу невнятно:
Скоро урюк зацветет, а, Касым?
И тот согласно кивает:
Весна...

НИКОЛАЙ ПУСТЫННИКОВ

В горах

Есть опыт гор... Он многое дает:
равнинный житель знает ли такое,
что путь с горы – мучительнее втрое,
чем тот, что от подножия ведет,
что, как ни странно,
 видя высоту,
не думаешь о спуске при подъеме...
До взгляда вниз,
до бездны в окоме
наивно веришь: я не упаду.

Осыпь

Показалось – горы шевельнулись.
Показалось – небо покачнулось,
Оказалось – каменная осыпь подо
мною двинулась,
 пошла...
Поползла с шипеньем по ущелью...
Я в горах еще ни разу не был,
и подумал:
 этот эскалатор
вмиг меня к подножию домчит. Только тут
 за выступом откоса я
 увидел: скорость набирая –
как река вблизи от водопада,
осыпь устремляется в обрыв...
Я рванулся к этому откосу –
чтоб скорей за камни ухватиться!
Но, как будто лента транспортера,
щебень сшиб меня
 и потащил!..
Словно зверь, в ловушку угодивший,
я вскочил,
 мгновенно огляделся, и
глаза мои остекленели:
поздно!..

 до скалы не добежать!..
«Это смерть!» – встречали страх с испугом.
«Это смерть?» – был голос удивленья.
«Я не верю!» – взвизгнула наивность.
А хрустящий скрежет нарастал.
Я упал на каменную реку,
бешено ладони погружая
в мчащиеся острые осколки –
чтоб достать руками до земли.

 Может, вправду, легкую удачу
нам приносит чаще безрассудство, –
пальцы вдруг на выпуклость наткнулись,
и вцепились – будто приросли!
Осыпь шла...

 И прямо под ногами
у меня
в обрыв она катилась...
Вкруг оси невидимой
высоко
беркут в отдалении кружил... Я
лежал,
 и ужас
 понемногу
вытеснялся чувством ликования. Но
каким-то – сдержанным,
 похожим
на улыбку дряхлых стариков...

Там, внизу, друзья мои сидели.
Там, внизу, жена моя сидела.
С ними были маленькие дети.
Мне туда хотелось поскорей.
Я спешил,

 как будто возвращался после
очень длительной разлуки.
Как сейчас –
 такими дорогими
не были они мне никогда.
Я увидел их, –

 они сидели
там же, на лужайке у речушки.
Парни тихо пели под гитару.
Жены – продолжали разговор.
На песке барахтались детишки.
Вдалеке – неслись автомобили.

Вновь смириться? – так, только, что тогда?..
Бегство?.. Ноги – как из свинца..
Как и прежде, не видно выхода
Из сомкнувшегося кольца.

Но и в таком заточении,
У порога больших потерь
Все же веришь в свое спасение,
Не наученный верить в смерть.

Манной с неба – счастливым случаем
Утешайся, твердя одно,
Что, мол, испокон ведь
на лучшее
Всем надеяться суждено.

Тем живя
и не видя выхода,
Сникнешь, глянув в свои года:
Что надеждой ты, милый, выгадал,
Что не сбудется никогда?!

Пусть утихнет она под венами –
Как пристреленная змея!..
Вечер. Город уснул за стенами.
Кров.
Покой.
Тишина.
Семья.

ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ

До наступления ночи остался всего
лишь шаг –
летучая мышь, друг ночи,
уже прозрела впотьмах.

Померкли давно вершины,
померкли костры снегов,

потухли во тьме березы
около облаков.

Слышно «ку-ку» кукушки,
аккордеона звук –
деревья(сирень и акации)
ночь собирают в круг.

Скучаю, как по любимой,
тебя ожидаю я,
с запахом юных листьев
весенняя ночь моя.

Ночь – в пути,
ночь проходит – за нею идет
роса.
На ноты бессонниц настроены
соловьиные голоса.

Где-то вдали над вершинами,
возле звезд и луны,
молния начинается,
падает на валуны.

Песня.
Девичья песня меня зовет
на ночлег,
в кровати моей продолжает
девичья песня свой бег.

А ночь все сильнее сгущается,
а ветер течет сильнее
с запахами тюльпанов,
с запахами тополей.

Ветер пропах цветами,
ветер уходит прочь.
Почки любви набухают
в эту звонкую ночь.

Бессонницу мою подкарауля,
меня заставил вздрогнуть мрак ночной,
где через космос,
как большая пуля,
летит,
летит, вращаясь,
шар земной.

А в этот миг
пируют где-то гости,
и сирота с протянутой рукой
на холоду жестоком хлеба просит,
и мечется в глухом бреде больной.

А где-то, где-то
от песни ждут хулы иль похвалы.
А где-то, сединой годов одеты,
сидят орлы,
вкогтясь в гранит скалы.

А где-то волки рыщут вслед за вьюгой –
тоскою смертной захлебнулся крик.
А где-то ребяташки
друг за другом
бегут к речушке горной
напрямик.

А где-то возле печки мать хлопочет
и чинит возчик колесо арбы.
а где-то караванщики,
встав ночью,
кладут тюки верблюдам на горбы.

Смотрю в окно: горят ночные солнца,
они горят и гаснут надо мной.
И все сильнее сердце бьется,
 бьется,
тяжелое, как будто шар земной.

На этой земле

На этой земле,
вздрагнув, забилося сердце в груди,
по этой земле я впервые шагнул от крыльца,
на этой земле,
где летние льют дожди.
На этой земле,
где мать моего полюбила отца,
на этой земле в предутренней, розовой мгле
впервые увидел я солнце.
увидел на этой земле.
На этой земле я в бабки играл
и цветы собирал.
На этой земле лепешку за пазухой согревал.
На этой земле – одна лишь любовь на всю жизнь,
на этой земле
отец и мать родились.

Отца уже давно на свете нет –
Он был из фронтового поколения.
Но до сих пор родимый силуэт
Маячит перед взором в отдаленьи.

Вздывает целину тяжелый плуг,
Седая степь расплавлена от зноя...
Я помню теплоту отцовских рук,
Пропахших свежеспаханной землею.

И, видно, не забыть мне никогда
Протянутую этими руками
Ячменную лепешку, что тверда
Была тогда, как мшистый горный камень.

Я грыз ее, аильный сорванец,
С колен потом и крошки подбирая.
Клонился день к закату, а отец
Все шел за плугом, лошадь понукая,

И растворялся в розовом огне,
В разливе нескончаемого лета.
И помнится, в тот день казалось мне,
Что соткан он из солнечного света.

Отца уже давно на свете нет,
Растаял след его за косогором.
Но до сих пор родимый силуэт
Маячит в отдалении перед взором.

Отчего?

Отчего, когда весна приходит
С теплым ветром, с пением скворцов,
Яростная кровь, вскипая, бродит
В жилах быстроногих жеребцов?

Отчего, к порывам страсти глухи,
Молодеют старцы и старухи?
Отчего, когда снега тают,
И взиграет паводком река,
Стайкою мальчишки убегают
В синеву степи из кыштака,
И смеются звонче молодежи,
Словно ничего их не томит,
И девчонке на заре приснится
В поле повстречавшийся джигит?

Отчего сердца полны надеждой,
Верой в счастье молодость полна?
И откуда может знать подснежник,
Что грядет желанная весна?

Воспоминание о детстве

Рожденный в горах
Под унылые всхлипы дождя,
Впитал я в себя
Их могучую, гордую силу.
Я слышал, что мама,
Бывало, с коня не сходя,
На дальних кочевьях
Меня своей грудью кормила.

Арканом тугим
Приторочив к седлу колыбель,
Спешила она
За лихим табуном в поднебесье.

Колочие ветры,
Слепая, шальная метель
Мне пели свои
Бесконечные, грустные песни.

Цветы полевые
Любил я весной собирать,
И яркие камешки
Сказочно-дивных расцветок,
И смалу умел,
Как бесстрашный джигит, усмирять
Не знавших седла,
Норовистых, пугливых двухлеток.

За пологом юрты
Ревела крутая пурга.
От волчьего воя
Сжималось мальчишечье сердце.
Днем пас я отару,
А ночью огонь очага
Дремотным теплом
Согревал мое трудное детство.

Всходила луна

Над бурливой, белесой рекой
И в небе качалась
Подобием медного блюда.
О как мне хотелось
В ту давнюю пору рукой
До этого блюда,
На цыпочки встав, дотянуться!

Давно я покинул
Родимые с детства места,
Давно улетел
Из-под теплого крылышка мамы.
Прносятся годы,
Но, видно, совсем неспроста
В суровые горы
Зовет меня память упрямо.

И вновь, лишь травую
Застелет увалы апрель,
Спешу я, томимый
Сыновнею светлой печалью,

В буранную глушь,
Где когда-то мою колыбель
На дальних кочевьях
Ревучие ветры качали.

Замки

Массивностью и тяжестью крепки,
Заполонив прилавки и витрины.
Лежат навалом прочные замки
В хозяйственных ларьках и магазинах.

Богат их выбор... Покупай любой,
Какой тебе лишь малость приглянется:
Врезной, висячий или накладной –
Замок всегда в хозяйстве пригодится.

Ну, что за дверь без крепкого замка?!
Какие там ворота без запора?!
Замок повесил – и наверняка
Свое жилище уберег от вора.

Таков уж наш быстротекущий век...
Таков уж нрав у нынешнего века...
Идет по тротуару человек,
Звенят ключи в кармане человека.

Звенят ключи... Нам их таскать не лень.
У всех нас на замки закрыты двери.
Но все же верю, что настанет день,
Когда земля нас одарит доверьем.

Настанет день – и сгинут прочь замки,
И люди станут чаще улыбаться.
Ни двери, ни шкафы, ни сундуки
В домах у нас не будут запираяться.

И о ключах забудем, что пока
Дырявят современникам карманы.
Какая польза людям от замка,
Коль нет меж ними злобы и обмана?!

Бегут года... Всему приходит срок.
И, может статься, внук мой, непоседа,
Поднимет, как диковинку, замок,
Давно на свалку выброшенный дедом.

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Сборник Т. Кожомбердиева «Солнце, земля, сердце» является большим вкладом в киргизскую литературу. Стихи поэта, как разнотравье джайлоо солнечными лучами были пропитаны добрым юмором и извечной человеческой страстью к открытиям.

Темиркул Уметалиев

...поэт заявил о себе не только как о певце времени, интернациональной дружбы людей всего земного шара, но и как о певце солнечной родной киргизской земли, неразрывной связи с ее заботами и радостями.

Владимир Цыбин

ЧОЛПОНБАЙ НУСУПОВ

СТРЕЛОК

Рассказ

После ночного проливного дождя солнце казалось особенно ярким и огромным. На горизонте раскинулись серые поля, преграждающиеся изредка неуклюжими горами. С вершук гор, словно с перевернутых снежных чаш, стекали по всей долине мутные, пенящиеся ручьи. Позеленевшие деревья, росшие на побережьях рек, медленно раскачивались, добродушно лопотали блестящими в лучах солнца зелеными язычками. С этой шелестящей музыкой, стоявшей в воздухе, мелодично сливалось бесперебойное чириканье воробьев, которые, усевшись на деревьях, однотонно выкрикивали свое: «Доброе утро», радушно размахивая крылышками и часто перелетая с одних веток на другие.

Легкий ветер, еще холодноватый, бесцельно скитался по аилу, расположенному в стороне от реки, порываясь вбежать во все дворики айлычан. Он словно и не был виновником ночного ливня. Будто бы это и не он пригнал ночью в долину огромные, с серыми парусами корабли, приплывшие сюда по бескрайнему простору неба.

Алик неподвижно лежал на кровати, закрыв глаза и глубоко, с наслаждением вдыхая свежий воздух. В юрте было прохладно, и ему совершенно не хотелось вставать. Наконец, открыв глаза, откинув одеяло, он приподнялся и взглянул на часы, висевшие на кереге. Было без четверти одиннадцать.

Через открытый тундук проглядывало синее небо, разделенное на четыре части желтыми полосами чамгарака. Снаружи слышались детские голоса, смех и дурашливая ребячья возня. «Пора вставать», – подумал он, но в следующее мгновение снова медленно повалился на кровать. Лучи солнца, пробивающиеся через тундук, ослепительно брызнули в лицо, потом они перебежали на чью-то уже заправленную на ковре постель, пестрые ширдаки, аккийиз, расстеленные поверх кошмы. Зажмурившись, Алик недовольно повернулся набок, пряча голову под одеяло. Немного поворочавшись, он снова начал засыпать, как вдруг тихо приподнялся угол входной кошмы и в юрту чуть ли не ползком влез кудрявый мальчуган. Потоптавшись у входа, он подошел к кровати и неуверенно потянул за край одеяла:

- Байке, вставайте! Вас зовут.

Вздвогнув от неожиданного толчка, Алик удивленно приподнял взлохмаченную голову и непонимающе посмотрел на мальчугана.

- А, это ты, Талай, – протянул он.

Откинув одеяло и усевшись на кровати, стал старательно приглаживать ладонями непокорные волосы.

- Так, о чем ты спрашиваешь?

- Вас зовут на завтрак

- Разве вы еще не завтракали?

- Почему? Мы позавтракали еще утром, – Талай внимательно смотрел на брата, – а сейчас апа еще раз вскипятила самовар и попросила разбудить вас.

- Ага, вон в чем дело, – весело кивнул Алик и, легонько хлопнув мальчика по плечу, соскочил с кровати.

Пробежавшись по ширдаку, он начал выполнять несложные физкультурные упражнения. Широко размахивающий руками и усердно вертящий головой, он казался мальчугану чудным. Запрокинув голову, Талай, прыкая от смеха, весело наблюдал за кривляющимся перед ним братом. Все это он видел впервые.

- Ну чего смеешься, глупышка? – лукаво поглядывая на мальчика чуть раскосыми черными глазами, насмешливо воскликнул Алик.

Подбоченившись и вытянув шею, как индюк, он стал вращать бедрами. Вот смех! Талай схватился за живот. Еще бы, только представьте себе: голова остается неподвижной, а туловище крутится волчком. Вдруг упав на ак-кийиз, Алик начал отжиматься на одной руке. Раз, два, три четыре... Мальчуган перестал смеяться и, затаив дыхание, стал тихонько считать дальше: пять, шесть... Но потом, не выдержав, тоже повалился вслед за братом на ак-кийиз и попытался отжаться. Покраснев от усилий, малыш неуклюже повалился набок, прижался пылающей щекой к мягкому кийизу. Потом он снова попытался приподняться, но, обессиленный окончательно, растянулся, громко заливаясь смехом.

- Э-э, да ты двумя руками попробуй, Талай, – поучал его Алик, – легче будет.

Перестав отжиматься, он привстал на колено. Талай, упершись обеими руками в ковер, напряжился и стал медленно приподниматься.

- Ай да молодец, – восторженно вскричал Алик, – крепись! Раз, два... Ну, ничего поупражняемся – и я такого из тебя силача сделаю, как Кожемкул будешь.

Ловко подхватив малыша на руки, он вместе с ним стал кувыряться на ширдаке. В это время поднялся полог входной кошмы, и на пороге показалась Бурма-апа. Из-под ее коричневого платка выбились, свисая, седые пряди волос. Черный бархатный чапан, потерявший свой первоначальный блеск, мешковато сидел на худенькой, сутулой фигуре. Ее черные улыбающиеся глаза ласково смотрели на распростертых «акробатов» на ширдаке. Огля-

нувшись и увидев вошедшую Бурма-апу, Алик быстро вскочил и, смущенно проговорив: «Саламатсызбы, апа», побежал к постели. Поспешно одевая брюки, он то и дело украдкой поглядывал на нее, все больше краснея. «Совсем повзрослел мальчик. Бурма-апа, улыбаясь, задумчиво смотрела на худые плечи, смуглую спину Алика, – стесняться стал. А когда-то нагишом бегал...» В это время Талай, тоже увидевший бабушку, радостно подлетел к ней:

- Апа, скоро я буду силачом! – возбужденно выкрикнул он.

- Конечно, будешь, вот вырастешь и станешь, как твой байке. Малыш упрямо помотал головой:

- Нет, я сейчас хочу быть сильным, вот каким. – Мальчуган выпятив грудь и маленький животик, развел руками. – Во!

Бурма-апа, улыбнувшись, легонько ткнула его в живот.

- Ах ты, мой пузатик, куда так торопишься, стань сначала прочно на ноги, – и, все еще улыбаясь, хотела погладить внука по голове.

Но Талай, увильнув от ее ладони, решительно шлепнулся на ширдак и попытался снова отжаться. Хотел показать всем, что он вовсе не пузатик, что он сейчас же станет таким силачом, как его байке. Сердито поджавший губы, покрасневший от натуги, малыш так желал подняться на своих ручонках, оторваться от земли, что не сделал он этого, в любую минуту разревелся бы. Все-таки силенок не хватило, личико мальчугана выражало капризную беспомощность. Бурма-апа и Алик, растерявшись, молча смотрели на лежавшего Талай. Наконец, овладев собой, Бурма-апа ласково подняла мальчика и прижала к себе.

- Ну, конечно же, конечно, Талатик, ты все сделаешь... Только не надо больше так, не надо, все со временем будет... – растерянно проговорила она. Талай обнял бабушку за шею, прижался к ее теплой груди. Повернувшись к Алику, Бурма-апа тихо продолжала: – Пойдем, Алик, а то дедушка нас заждался. – Затем, осторожно приподняв входную кошму, она с мальчиком на руках тихо вышла из юрты.

Быстро умывшись и приведя себя в порядок, Алик поспешно, направился к дому, стоящему неподалеку от юрты, которая укрылась в тени деревьев. В аиле были свои порядки. Летом, когда в долине невыносимо жарко и душно, когда горные влажные ветры не в силах одолеть перевалы и спуститься в низовья, многие айльчане разбивали у себя в садах бело-снежные юрты. Неплохая идея, хотя место здесь нисколько не походило на джайлоо. Алик весело посмотрел на соседние юрты, видневшиеся из-за густых ветвей. В них отдохнуть в жару намного приятнее, чем в четырех стенах.

За круглым столиком уже сидели Турсуналы-ата, Талай и Бурма-апа, весело о чем-то беседуя, поджидая Алика. Рядом, дожидаясь приезжего гостя, слабо шипел самовар. Увидев Алика, Турсуналы-ата громко проговорил:

- Ну как спалось, Алижан? Не замерз?

- Очень хорошо, ата, – весело ответил Алик, усаживаясь возле аксакала, – спал прямо как на джайлоо. Правда, прохладно было, особенно под утро.

- Сами с Толубаем не захотели тундук закрывать на ночь, – заметила Бурма-апа, – поэтому и холодно было.

- И, конечно же, поэтому проспал...

- Но я специально не будила тебя, думаю, поспи еще, целый год ведь учился, а теперь и отдохнуть можно. – Бурма-апа ласково посмотрела на Алика. – Да и приезжать-то к нам реже стал, – продолжала она, – видать, повзрослел, изменился. Нет, не тянет, как раньше, к нам в аил, а нас со стариком годы берут...

Бурма-апа печально вздохнула и замолчала. Наступила тишина. Талай беззаботно уперся каймак, облокотившись на дедушкино колено. Алик, кинув в чай навалу и незаметно поглядывая на деда и Бурма-апу, тоже молчал. «Снова все начинается... Ведь не будешь же им объяснять, что после сессии неплохо позагорать летом на Иссык-Куле, – в сердцах думал он, – не ехать же в аил в альчики играть или на ишаках кататься. Разве поймут!» Неловко поерзав, не зная, что сказать, Алик озабоченно огляделся.

- Ата, а куда Толубай-байке ушел? Правду сказать, даже и не заметил, когда он встал, – спросил юноша.

Услышав имя своего отца, Талай оживленно вскинул голову:

- Папа еще утром уехал на машине, – радостно ответил он вместо своего дедушки, – а еще обещал вечером, когда придет с работы, обязательно покатать меня до самой Кара-Су, в гости к Аскарбеку-ага.

- Вот даже как, – невольно улыбнулся Алик, смотря на возбужденное лицо малыша.

«В самом деле, что мне тут делать, – снова подумал он, – возвращаясь к своим мыслям, – не с карапузом же этим возиться. Зря согласился приехать, лучше было бы махнуть куда-нибудь на побережье. – Мельком глянув на стариков, тихо вздохнул: – А они вот обижаются; не понять им...»

Турсуналы-ата, видимо, угадывая мысли внука, отхлебнув чаю, тихо спросил:

- Что собираешься сегодня делать, Алижан? Пошли бы с Талатиком на рыбалку, а вечером в клубе кино посмотрите...

Понимал ли Алик, что на самом деле чон-ата хотел сказать внуку, что надо бы прополоть картошку на их участке, подправить изгородь вокруг огорода, превратившуюся в солону, да мало ли что старик хотел сказать?.. Знал ли Алик, что многие колхозные парни, его сверстники, работают сейчас на сенокосе или на табачном поле? Понимал ли он, что его байке с самого утра до позднего вечера носится, как ошпаренный, на грузовой машине. И не худо было бы сейчас помочь деду по хозяйству.

Неожиданно вскочив, Талай закричал:

- Ура! Пойдем на рыбалку! Алга, алга!

Алик весело посмотрев на малыша, быстро обернулся к дедушке:

- Атаке, я лучше поучу его стрельбе, постреляем, а после обеда можно и порыбачить. – Алик нагнул голову и вопросительно посмотрел на чон-ату.

Турсуналы-ата как-то неопределенно кивнул:

- Ну, смотри, сынок, делай, как знаешь.

А что еще он мог сказать внуку? Запрещать, так он совсем перестанет приезжать к ним, лучше уж пусть делает, что хочет, только бы навещал стариков. Турсуналы-ата сам удивился своему выводу. А ведь вырос парнишка. Наверное, отвык от аила. Раньше, когда еще в школе учился, приезжая, всегда отбирал у него кетмень или молоток, старался помочь ему. А сейчас вырос, и дела нет ему ни до чего! Да-да, воспитал ему внука Акилтай. В последнее время вообще перестал посылать его в аил, да и сам стариков не навещает. То у него неотложные дела на работе, то еще что-то. И вдруг объявился внучек Алижан. Что теперь мог ему сказать старик?..

После завтрака Алик с Талаем вышли во двор. Неподалеку шумно играла ребятня. Присев на корточки и выстроившись цепочкой, дети выжидательно поглядывали на белого козленка, который, разбежавшись, прыгал на спину какого-либо мальчугана, и, горделиво потоптавшись, как на скале, соскакивал обратно на землю. Все весело смеялись. Обежав цепь, козленок снова запрыгивал на спину одного из малышей и снова несся, высоко зади-

рая хвостик. Талай незаметно подскочил к ребятам и сел на корточки. Не успел он опереться, как козленок, обежав всех и увидев новую преграду, задорно прыгнул ему на спину. Не удержавшись, Талай со смехом повалился на траву. Затем, быстро приподнявшись на четвереньки, ласково обхватил озадаченного шалуна и стал слегка бодать его головой – такого же кучерявого, как и сам Талай. Козленок, сердито фыркая и повилая хвостиком, стал старательно тыкать узким лбом малыша. Неожиданно сильный толчок оттолкнул козленка в сторону. Удивленно подняв голову, Талай увидел недовольное лицо брата.

- Не надо с ним обниматься, Талай, – раздраженно проговорил Алик, – он ведь грязный, весь в навозе, пойдем лучше за ружьем.

Удрученный поведением брата, Талай молча встал и понуро побрел за Аликом. Оцепеневшие мальчуганы и девчонки растерянно провожали их взглядом.

При виде новенькой малокалиберной винтовки, которую Алик вынес из сарайчика и стал небрежно смахивать с нее пыль, настроение у малыша сразу же приподнялось. Он словно забыл все на свете и видел перед собой только темно-коричневый полированный приклад, черный ствол и широкий ремень. Вот это да! Лукаво посмотрев на малыша, который, приоткрыв губы, с восхищением смотрел на винтовку, Алик громко проговорил, шелкая затвором:

- Ну, что, джигит, будешь учиться стрелять? Ведь ты должен быть великим мергенчи. – Он насмешливо смотрел на несмышленного ротозея. – Ну, пошли.

Перекинув винтовку через плечо, Алик размашисто зашагал в сторону холма. Побежав за братом, Талай вдруг остановился и, повернувшись к державшимся в сторонке девушкам, звонко закричал:

- Назира, пойдем с нами.

Алик тоже остановился. Малышу непременно хотелось, чтобы сестра увидела, как он будет учиться стрелять. Назира, стройная девочка лет пятнадцати, с большими темными глазами, белым лицом и чудесной улыбкой, удивленно приподняла голову. Ее распущенные каштановые волосы, свиваясь кудрями, мягко покоились на плечах. Алик, улыбаясь, молчал. Талай же, размахивая руками, все трезвонил:

- Ну, пойдем же, быстрее. По-ошли!

Назира неуверенно направилась на зов братишки.

К холму все трое шли неторопливо. По дороге Талай завороченно следовал за Аликом, взяв его за руку, весело смеялся и бесперебойно болтал ему что-то. В окружающем мире малышу так не хватало теплой поддержки старших. Ведь маленьких братьев, живших рядом с ним, у него не было. Поэтому его всегда тянуло к взрослым. Хотелось у них чему-нибудь научиться, во всем им подражать. Хотелось, чтобы с ним всегда возились и даже наказывали, но, конечно же, не очень, по-братски, и чтобы они обязательно были бы его защитниками. И хотелось также, чтобы его учили ребячьей драке, ловкости. Да! Чтобы он мог проучить своих обидчиков. А способна ли была на последнее Назира?! И вот теперь, когда приехал Алик, Талай сразу же привязался к нему. Он уважал брата. Очень уважал. Раньше, когда Алик приезжал на лето в аил, то и не замечал совсем маленького Талая, вечно он где-то пропадал до вечера с аильными мальчишками, а теперь Талаю шел уже пятый год, теперь – другое дело.

Дойдя до холма, ребята начали подниматься вверх. Приблизившись к изгороди, которой было обнесено небольшое картофельное поле, Алик остановился. Сняв с плеча малокалиберку, он внимательно осмотрел ее. Затем, вытащив из кармана коробочку, извлек оттуда патрон и, вложив его в патронник, плавно задвинул затвор. Все это он делал не спеша, точно.

Талай заворожено смотрел на брата. Вот это здорово! Как все красиво у него получается. Назира, настороженно посмотрев на Алика, тихо спросила:

- Байке, а во что вы будете стрелять?

Весело улыбнувшись, Алик назидательно заметил:

- Не во что, сестричка, а в кого.

Затем, повернувшись, он кивнул на стаю воробьев, которая сидела на противоположном конце поля. Первым же выстрелом Алик уложил одного воробья. Талай ликовал, восхищенно глядел на брата. Он уже рванулся было за пристреленным воробьем, который, видимо, упал в кусты, возле изгороди, но его остановил Алик:

- Талатик, стой, не ходи туда, сейчас воробьи снова прилетят.

Ждать пришлось недолго. Снова, заряжая винтовку, Алик тихо говорил, поглядывая на птиц:

- Ты знаешь, Назира, я еще в тире научился стрелять. Обычно стрелял по бумажной мишени, но были там и зверюшки, свечи и другие, движущиеся предметы. Ну, а потом усовершенствовался в стрельбе, – он довольно покачал головой, – а теперь вот результаты...

Низко пригнувшись, Алик положил ствол винтовки на сук и стал медленно брать на прицел очередную жертву. Талай все еще восхищенно наблюдал за братом. Как заядлый стрелок, Алик старательно наводил ствол, прищурился и затаив дыхание. Наконец раздался выстрел. Серый воробей, в которого метил стрелок, испуганно чиркнув, перелетел на другой сук. Алик, растерявшись, искоса посмотрел на Назиру. Она, кажется, улыбнулась. Быстро перезарядив винтовку, он вновь склонился к изгороди. Несколько оставшихся воробьев, а вместе с ними и тот, в которого стрелял Алик, не улетали, а раскрывая клювы, весело чирикавая, порхали с сучка на сучок. Они словно бы и забыли, что минуту назад в них стрелял «знаменитый стрелок Алик». На этот раз он вновь взял на прицел того самого воробья, в которого так неожиданно промазал. Да перед кем! Назира, взволнованно поднимая голову и скрестив руки, осторожно прислонилась к изгороди. Талай же почему-то разозлился. И вот наступила на одном конце поля тишина. На другом же громко щебетали птички, разливая вокруг свою веселую мелодию. Но казалось, что стрелок стремился к одному – уничтожить, прервать беспечную птичью песню. И делал он это терпеливо, хладнокровно. Наконец, прицелившись и задержав дыхание, Алик плавно нажал курок. Песня была заглушена коротким треском. К величайшему удивлению и негодованию Алика, воробей, встревожено чиркнув, перескочил на другой сучок. Рядом с ним никого не было. Вконец растерявшийся, Алик внимательно посмотрел на девушку. Ее красивое личико сияло. Прищурился и мигая длинными ресницами, она весело смотрела в сторону солнца, прикрывая лицо ярким платком. Стараясь глядеть себе под ноги, Алик резко перезарядил ружье в третий раз. Неожиданно Талай, глубоко переживавший вместе с братом такую неудачу, восторженно закричал:

- Смотрите, смотрите, она ранена! Действительно, на кустах виднелся одинокий воробей.

Одно крыло его беспомощно свисало, будто щит, прикрывающий маленькое тельце. «Издевается, что ли?» – злобно прошептал Алик и вновь прицелился к винтовке.

Происходила дуэль не между человеком и птицей, а между нравственностью и жесткостью. На этот раз Алик целился дольше обычного, вот щелкнул выстрел, и вновь наступила тишина. Алик, подняв винтовку, весело рассмеялся. Талай тоже ликовал... На этот раз его не удержать никакой силой. Бесшабашно размахивая руками и высоко подпрыгивая, он бежал к птице, огибая поле. Когда Алик с Назирой, задыхаясь, подбежали к сучку, воробья там уже не было. Он, вздрагивая, лежал у ног притихшего Талая.

Издали Талаю было интересно смотреть, как Алик стрелял в птицу. Но теперь, когда он увидел окровавленного, еще вздрагивающего воробья, малыша почему-то обуял непонятный страх. Но это было только начало...

Победоносно посмотрев на сучок и на распростертую птичку, Алик торжественно перевел взгляд на то место, откуда стрелял. Расстояние было изрядное. «Чисто сделано», – процедил он. Назира, оцепенело стоявшая позади Алика, собиралась было нагнуться, как вдруг та самая нога, которая час назад так беспечно пнула козленка, с силой наступила на подбитое крыло птички. От боли она забилась, ударяясь головой, клювом о твердую землю. Протянув Талаю заряженную малокалиберку, Алик громко произнес:

- Ну, Талайчик, иди, сейчас будешь учиться стрелять.

Малыш, с полчаса назад так жарко твердивший, что хочет научиться стрелять, неуверенно подошел к брату. Стоявшая рядом, Назира слегка отшатнулась, выронив платок.

Подведя крошечные пальчики малыша к спусковому крючку и опустив дуло винтовки к земле, Алик деловито поучал:

- Талай, правильно держи, крепче и смотри на этот выступ, это мушка, так, так... А теперь нажимай вот на это.

Но, конечно же, сам Талай никак не мог держать тяжелую малокалиберку. Ее старательно поддерживал юный стрелок. Талай, зажмурившись нажал двумя пальчиками на курок. Вновь раздался треск. Взвился фонтанчик пыли. Открыв глаза, Талай увидел, что пуля впиалась в здоровое крыло, вдавив его в землю. Возле птички лежали окровавленные перья.

- Талай, ты что? Что же ты закрываешь глаза, а? Вот потому и не можешь. Ну-ка, попробуй еще раз.

Талай с испугом и состраданием смотрел на все еще вздрагивающее тельце жертвы. С клюва воробья тонкой струйкой стекала кровь. Он еще яростнее забился головой, словно желая спрятать ее в пыль. Алик же упорно не отпускал придавленное крыло. Он вновь зарядил винтовку и всунул ее в руки Талаю.

- Стреляй метко, не торопись, – снова терпеливо стал поучать он оробевшего мальчишку. На этот раз Алик сам навел дуло винтовки в спинку воробья и все твердил, чтобы Талай не закрывал глаза, а то он ни за что не научится стрелять. Роковая пуля наконец нашла свою цель. Назира неподвижно стояла с широко раскрытыми глазами и ничего не могла вымолвить. Ее личико стало бледным, губы вздрагивали. Неожиданно выхватив из рук малыша малокалиберку, Назира с презрением бросила ее под ноги Алику. Затем схватив Талатика за руку, она потащила его прочь от этого ужасного места. Талай бежал за сестрой, испуганно оглядываясь. Такой ли нужен был ему брат и так ли он должен заботиться о нем? Не ошиблась ли его детская душа? По бледным щекам Назеры текли слезы. Алик все еще стоял, наступив на птицу, и недоуменно смотрел им вслед. На какое-то мгновение ему показалось, что он сам себе становится противен. В висках почувствовал частые удары. Да, в эти мгновения он вдруг увидел себя таким же одиноким, как и лежащий у его ног воробей. Нужен ли он этому аилу, этой семье? Может быть, и на самом деле бежать отсюда? Но это сомнение было коротким...

Увидев заплаканную внучку, испуганного внука, Бурма-апа ничего не могла понять. Турсуналы-ата, успокоив детей, рассадил их по обе стороны от себя, нежно приласкал их. Но во время обеда тоже все было странно. Обедали только трое – Турсуналы-ата, Бурма-апа и Алик. Детей не было. Занятые каждый своими мыслями, обедали молча. «И что я здесь околачиваюсь, с детьми приехал играть, что ли? – негодовал на себя Алик. – Вот еще нашел

с кем возиться! Дуралей, ну что я здесь потерял?! И что делать теперь? Махнуть на авто-станцию? А может, все утрясется. А дальше что?!»

Едва, поев, он озадаченно вышел во двор. Солнце светило щедро, даруя всем жизнь и радость. Только у Алика на душе было пасмурно, тяжело. Во дворе никого не было. Медленно направившись в сторону юрты, Алик вдруг остановился. За двором он увидел Назиру и Талатика. Взявшись за руки, они молча шли в сторону холма. На Талае была распахнутая рубашонка, голубые шортики и летние сандалеты. Ухватившись за ручку маленького кетменя, он с трудом волочил его по земле. Алик все еще продолжал стоять, а двое, брат и сестра, медленно уходили к холму. Посмотрев им вслед, Алик, словно очнувшись, побежал в юрту. Он не понимал, почему так поспешно должен уезжать, но его словно изгоняла отсюда какая-то сила, быть может, совесть... Озлобленный на всех, он поспешно кидал вещи в чемодан. Нет, он не любил все это, не любил птичье щебетанье и даже шум реки...

А в это время, высоко подняв над головой птичку, задумчиво стояла на холме красивая девушка. Рядом с ней добрый мальчуган. На мягких ладонях Назиры, словно в гнезде, неподвижно лежала птаха. Горный ветер ласково тормошил ее мягкие перья, словно призывая летать вместе, как и прежде. Где-то бесперебойно чирикали воробьи, усевшись на изгороди, беспечно размахивая крылышками и часто перелетая с ветки на ветку.

ШУМКАР

Рассказ

Старый шумкар, распластав два огромных крыла и тяжело раскачиваясь, приблизился к краю обрыва. Вытянув шею, он на мгновение замер, немигающе глядя на поднимающееся солнце. Затем медленно перевел взгляд на долину, которая зеленой полосой раскинулась в междугорье. Утренний ветер, обдавая шумкара холодной свежестью, тормошил мягкие перья на его длинной шее.

Вдали показалось двое всадников. Отъехав от белой юрты, они направились в сторону гор. На их конях была богатая сбруя, которая, позвякивая, блистала в лучах солнца. Старательно расчесанные длинные гривы коней плотно прилегали к их гладким шеям. Всадники были одеты в кожаные куртки, на ногах чернели сапоги, на голове у каждого был белый колпак. Где-то внизу, у подножия скал, серебрился ручей, неустанно гомонили стаи птиц. Иногда по склонам гор посвистывали зверьки, вышедшие погреться на солнышке. Наконец, издав клетот, похожий на боевой клич, шумкар медленно взлетел вверх. Степенно взмахивая крыльями, он все выше и выше уходил в небесную синеву. Прямо под ним размашистым шагом шел гнедой, распустив веером хвост и вытянув шею. Его длинный корпус легко несся вперед, а мускулистые ноги с широкими копытами беспечно перебирали тропинку.

Сдерживая коня, всадник, сидевший на гнедом скакуне, недовольно произнес соседу:

- У меня уже рука онемела натягивать поводья. И когда он только уgomонится...

- Я же тебе говорю, не упрямясь, пересядь на моего коня, – с участием заметил второй всадник.

- Нет, не хочу, – упрямо замотал головой хозяин гнедого, – потерплю, а потом он все равно успокоится. – И, нагнувшись, он похлопал лошадь по шее.

Немного проехав, всадник, видно позабывшись, ослабил поводья, и Карагер, так звали гнедого, почуввав свободу, с шага сразу же перешел на летучий галоп.

- Тр-р-р! Да чтоб тебе телегу таскать, недотепа. Тр-р-р! Стой же! – вновь закричал всадник, сию секунду остановив скакуна. Схватив обеими руками поводья, он с трудом осадил его. Затем, повернувшись к подъехавшему напарнику, весело спросил:

- Асылбек, а через какой перевал поедем?

- Наверное, через Тай-Джорго, там путь короче будет...

В этот момент чей-то окрик прервал их разговор. Обернувшись, путники увидели чон-апу, которая, выбежав из юрты и держа что-то в руках, кричала:

- Эй, Асылбек, вы куда поехали-то... – Конец фразы нельзя было разобрать из-за поднявшегося ветра.

- Шергазы, вернись, узнай, что апа говорит, – обернулся Асылбек к младшему брату, – да побыстрее, а то мы и так задержались.

Круто повернув коня, Шергазы поскакал обратно к юрте. Асылбек, по-богатырски усевшись в седло, положив руку с камчой на колено и натянув повод, внимательно смотрел на чон-апу. Она в это время что-то ласково шептала наклонившемуся к ней внуку и, поцеловав, передала ему канистру.

Когда гнедой пустился карьером обратно, чон-апа, чуть покачнувшись, ухватила за кереге и подняла руку, словно желая остановить внука. Асылбек, издали наблюдавший за нею, недоуменно посмотрел на подъехавшего Шергазы.

- В чем дело, Шепен? – спросил он братишку.

- Чон-апа передала айран, который мы забыли, и наказала, чтобы далеко не уезжали, если не найдем коня. А к вечеру мы обязательно должны возвратиться домой.

- Ну что же, батыр, в таком случае поехали быстрее. Озорно перемигнувшись, всадники с гиканьем понеслись галопом по тропинке. Влажный ветер приятно свистел в ушах, ровная дробь копыт действовала возбуждающе. У самого подножья перевала тропинка стала круто подниматься вверх. Закинув голову и заливаясь смехом, Шергазы изо всей силы затягивал поводья. Разгорячившийся под ним Карагер, изогнув шею и плавно поднимая ноги, все еще продолжал скакать галопом.

Асылбек же ехал уже далеко впереди, переведя коня на мерный шаг. Поднимаясь извиистой тропой по хребту гор, всадники добрались до середины перевала. Огромные старые ели, расступившиеся перед тропинкой, зеленой вереницей тянулись до самого перевала. Солнце стояло уже в зените, но в горах было прохладно. Слабый ветерок ласкался к каждому выступу гор, к елям и кустарникам.

Убаюкивающий шелест деревьев сливался с ритмичным журчанием серебристого родника. Подъехав к источнику, Асылбек быстро соскочил с коня и, взяв его под узды, отвел в сторону от тропинки. Затем, повернувшись к Шергазы, торжественно произнес:

- Вот здесь, Шепен, у нас будет первый привал.

Теребя челку коня и соскабливая камчой засохшую на его шее пену, Шергазы, видимо, не расслышав слов брата, задумчиво смотрел в небо. Там, в бескрайней синеве, раскинув огромные крылья, величаво парил старый Шумкар. Наконец, Шергазы, взглянув на долину, неожиданно произнес:

- Смотри, байке, какой маленькой кажется наша река. Здесь, наверное, мы на высоте птичьего полета. Как ты думаешь!

- Вполне возможно, мой мырза. Но тебе не кажется, что твой конь устал стоять под тяжестью курджуна. Да и к тому же я с самого утра глотаю один только воздух.

- Так что же ты предлагаешь, байке? – улыбнулся Шергазы, делая вид, что не понимает намека брата. – Я вот всю жизнь глотаю его и никак не могу насытиться.

- В таком случае, – произнес Асылбек, – надо срочно менять меню. Как вы считаете, батыр?

- Я согласен, – важно отметил Шергазы.

- Хоп, болсун мой мырза, – покорно воскликнул Асылбек, прижимая правую руку к груди. Встретившись взглядом с братом, он весело рассмеялся.

Затем каждый занялся своим делом. Асылбек, скинув с седла корпачо и немного ослабив подпругу, отвел от родника коня. Сняв уздечку, стреножил его. Животное, благодарно толкнув мордой хозяина, нагнуло голову и принялось за траву, изредка встряхивая челкой и отмахиваясь хвостом от оводов и мух. В это время Шергазы, опустив на землю курджун с едой и канистру, кряхтел возле коня, ослабляя подпруги. Когда с работой было покончено, и Карагер стал также мирно пастись на лугу, Шергазы медленно побрел к брату. Асылбек сидел уже на корпачо и разрезал ножиком мясо и лепешки. Рядом лежал только что сорванный пучок дикого лука.

- Мырза, обед подан! – весело произнес он подошедшему брату и, разведя руками, заключил: – Прошу к достархану.

Умывшись, Шергазы налетел на еду. Лукаво улыбаясь, Асылбек, по-братски, незаметно подсовывал ему лучшие куски мяса, и, сдерживая смех, громко повторял:

- Да ешь ты спокойно, только не подавись, мырза, а то и айрана потом не хватит. Немного присмирив и прислушиваясь, как брат аппетитно хрустит луком и заправляется

конской колбасой, Шергазы затем с новой силой обрушился на достархан. Разлив холодный айран из канистры по пиалкам, Асылбек торопливо протянул одну из них Шепену.

- Запей же, батыр, айраном, если желаешь хорошо покушать, – улыбнувшись, произнес он. Шергазы взял обеими руками пиалу и поднес ее к губам. – А знаешь, байке... в горах, оказывается, можно быстро проголодаться.

- Конечно, во-первых, потому, что здесь чистый холодный воздух и, во-вторых, мы находимся, как говорится, на лоне природы, а не дома, – неторопливо ответил Асылбек, вытирая лезвие ножа о траву.

- Байке, как ты думаешь, сможем ли мы найти Ак-Туяка в Туш-Ашу? – неожиданно спросил Шергазы. – Ведь чтобы добраться туда, нужно полдня езды на лошади. Да и конь так далеко просто не мог убежать.

- Почему не мог, – перебил его Асылбек, – ведь мы его еще жеребенком привели из Туш-Ашу. – Шергазы вопросительно посмотрел на брата.

- В таком случае ата давно уже должен был бы поймать его, – ответил Асылбек, – ведь он еще вчера уехал к табунщикам.

- Ну, а мы, все равно поедем дальше? – не унимался Шергазы.

- Конечно же, мой мырза, как условились. Ты не расстраивайся, к вечеру мы обязательно будем дома с Ак-Туяком.

На этом и порешили. Быстро убрав снесь и подправив седла, путники вновь вскочили на коней.

Преодолев перевал Тай-Джорго и спустившись в долину, всадники поехали рысью. Солнце безжалостно палило и без того нагретую землю, и в долине было еще более душно, чем в горах. Скинув с себя куртки и привязав их к задним лукам седел, всадники продолжали путь. Сухая трава, колючки трещали под копытами коней.

Бережно подправив калпак на голове у брата, Асылбек ласково спросил:

- Ты что это скис, мой мырза, или утомился? – И слегка хлопнув его по плечу, тихо запел:

Родился, джигит, ты в горах,
С раннего детства скакал на конях.
Подобно орлу по степи ты летал,
В правом бою врагов не жалел.
Ловчую птицу к себе приучив,
Старому беркутчи во всем подражал.

Когда Асылбек перестал петь и весело посмотрел на брата, Шергазы ободряюще кивнул и, улыбнувшись, спросил:

- Байке, а эту песню тоже ты сочинил?

Асылбек, наклонив голову и теребя гриву коня, тихо произнес:

- Нет, Шепен. Эту песню пел еще твой дедушка. Но, к сожалению, не все его песни сохранились. Ведь тогда еще их не записывали.

- Как же эта песня дошла до нас? – удивленно спросил Шергазы.

- Очень просто, – вздохнул Асылбек, – дедушка Осмоналы был великим комузистом, поэтому, как и все акыны, разъезжал по большим тоям. И вот на одном из таких тоев, когда Осмоналы сидел на почетном месте, ему подали комуз. Взяв в руки инструмент, он пристально осмотрел сидящих. Здесь собрались видные акыны, комузисты, но были и молодые исполнители. И вот, спев несколько хвалебных куплетов в адрес хозяина юрты, как было положено по традиции, Осмоналы начал знакомиться с окружающими, при этом наигрывал на комузе:

Родом буду из Кен-Кола,
Путь тернистый я прошел,
Чтобы встретиться с вами,
В юрту белую вошел.

Уезжая, каждый гость уносил с собою в сердце задушевные мелодии старого акына. Мерно раскачиваясь в седлах, братья молча продолжали путь. Проехав еще немного, Шергазы тихо спросил:

- Байке, а кроме этой, ты знаешь другие песни дедушки?

- Нет, мой мырза, – мотнул головой Асылбек, – пока не слышал. Чуть погодя Шергазы попросил:

- Байке, спой тогда свою песню. Помнишь, это: «Луна поднимается...»

- И охота тебе, Шепен, лишний раз душу мою тревожить, – смущенно отговаривался Асылбек, – тебе же известна история этой песни. Давай-ка лучше я тебе спою другую песню.

Но Шепен был неумолим. Капризно надув щеки и натянув поводья, он остановил коня. Пришлось выполнять желание младшего. Откинув поводья и устремив взгляд на вершины отдаленных гор, Асылбек мелодично запел:

Луна поднимается над горой...
С тобою я бреду одной.
Вечно мы будем любить друг друга.
Сердце щемит от тревожного стука.

Песня лилась спокойно, а иногда затихала и неожиданно вновь набирала силу, Асылбек, прищурился и вскинув голову, продолжал петь:

Но расстались мы у той горы...
И, на обоих в сердцах обижаясь,
Каждую ночь бреду под луной,
Но не с тобою, а с ветрами встречаюсь...

Наши путники давно уже ехали по широкой долине, называемой Туш-Ашу. Солнце спу-
скалось все ниже, как бы желая отдохнуть немного на вершинах гор. Теплый ветерок, бес-
печно блуждающий по долине, почти не встречал никаких преград. Набрав силу, он мгно-
венно взлетал на хребты отдаленных гор и камнем несся обратно. Вдали, у горной реки, где
буйно зеленела трава, показались юрты.

- Шепен, вон, видишь третью юрту, – произнес Асылбек, указывая в сторону камчой, –
там живет Джуманалы-ага. У него-то мы и купили жеребца.

Не успел Шергазы ответить, как на них с лаем набросились подоспевшие сторожевые
собаки. Круто развернув гнедого и пропустив собак вперед, Шергазы звонко закричал:

- Кет! Кет! – и, наседая на них сзади, погнался перед собой. Те же, поджав хвосты и сердито
скаля морды, трусцой побежали обратно.

Всадники приблизились к юртам.

- Ассолом алейкум, – хором приветствовали их мальчишки, игравшие возле юрт.

- Алейкум ассолом! – нарочитым басом выговорил Асылбек. – Как дела, джигиты? Дет-
вора, толпившись, с интересом разглядывала приехавших, с восхищением глядела на взмы-
ленных статных лошадей.

- Что же вы молчите? – громко произнес Асылбек, нарушая воцарившуюся тишину. –
Чей ты будешь сын? – обратился он к стоявшему ближе мальчугану.

Гордо подняв голову и выпрямившись, он так же громко ответил:

- Турсунбека.

- А ты? – продолжал знакомиться с мальчишками Асылбек.

Маленький курносый мальчуган с рыжеватым чубом, смущенно посмотрев на Асылбе-
ка, тихо произнес:

- А я сын Джуманалы.

Обрадовавшись удачной встрече, Асылбек продолжал:

- А где сейчас твой отец?

- Помогает маме доить кобыл, – мальчик настороженно смотрел на всадника.

- Далеко ли жеребята? – продолжал спрашивать Асылбек.

- Вот за этим холмом, – кивнул головой мальчуган.

Соскочив с коней и привязав их, Асылбек и Шергазы, разминая затекшие ноги, напра-
вились к холму.

Скоро они увидели на небольшом плато жеребят, привязанных длинным рядом к желе.
Рядом стояли кобылицы. Еще издали увидев приезжих, дюжий мужчина средних лет, с ко-
роткой стрижкой и тоненькими черными усами, изогнутыми книзу, быстро привязал же-
ребенка и, вытерев о подол фартука руки, размашисто зашагал навстречу гостям. Молодая
женщина, доившая в это время кобылу, тоже прервала работу и внимательно наблюдала за
приезжими.

- О, кого я вижу! – забасил мужчина, подходя к Асылбеку и Шергазы, – с приездом вас...
– Затем, ухватив за руку Асылбека и крепко сжимая ее, он весело продолжал: – Ну, как дела,
Аске, когда выехали-то? – Не дождавшись ответа, вновь заговорил: – Вот не ожидал, что
приедете, очень рад. – На мгновение запнувшись, Джуманалы обернулся к Шергазы: – И ты

приехал, шалопай, дай я тебя поцелую, голубчик, занятия-то как? – Быстро чмокнув сухими
губами Шепена в щеку, он вновь обратился к Асылбеку. – Ну как дома, Аске?

- Все живы-здоровы, Джуманалы-ага. Сами-то как поживаете? – спросил наконец
Асылбек. Он с удивлением смотрел на смущенного, без умолку тараторившего Джуманалы:
«И что это с ним стряслось?»

- Хорошо, Аске, живем, работаем, дети растут. Правда, сейчас столько работы, сенокос
этот обрушился, прямо-таки голову поднять некогда, – прервал его мысли Джуманалы. – Да
что это я заговорился-то. Вы, наверное, Ак-Туяка ждете, да? – неожиданно спохватился
табунщик.

- Да, ага, собственно говоря, поэтому-то мы и приехали сюда, – насторожился Асылбек, –
думаем, что сюда он забрел, соскучился.

- И правильно сделали, что сюда приехали, – вдруг торжественно произнес Джумана-
лы, – ваш Ак-Туяк как раз сюда пришел, к табуну. Ведь здесь он родился, вырос. Да, слав-
ный будет конь. Вон он, ваш жеребчик.

Асылбек быстро повернулся в ту сторону, куда показал рукой Джуманалы. Немного поо-
даль от кобылиц, прижимая к затылку уши, гордо стоял племенной жеребец. Ростом он был
под стать гнедому, на котором приехал Шергазы, только тоньше ноги, жилистее, сухошавее
туловище. Горбоносая голова, присущая киргизской породе лошадей, плавно покачивалась,
когда Ак-Туяк медленно прохаживался вокруг табуна. Задние ноги в белых чулочках объ-
ясняли кличку жеребца. Картинно изогнув мускулистую шею и изредка пофыркивая, он
степенно прохаживался, а то и просто стоял возле сбившихся в кучу кобыл.

Джуманалы между тем продолжал говорить:

- Все собирался поймать коня и доставить вам обратно, но никак не хватает времени.
Вчера, например, ветврач приезжал из колхоза осматривать жеребят. Хотел завтра утром от-
правиться, да вот и вы подросли, – уже весело заключил он.

- Ага, а где ваш айгыр? – спросил Асылбек, наблюдавший за табунном и не очень-то слу-
шавший объяснение Джуманалы. Его удивило то, как беспечно прогуливается возле табуна
чужой жеребец.

- А его дня три назад попросил один чабан, чтобы съездить на недельку на Сусамыр, –
нехотя с расстановкой ответил Джуманалы. – А пока башкарма в моем табуне твой Ак-Туяк.
– Немного помолчав, Джуманалы вдруг спохватился. – Да, что мы стоим-то здесь, вот те на,
пойдемте в юрту. Сегодня обязательно будет бешбармак из свежего барашка, так что вы мои
гости, а я хозяин, – Джуманалы громко рассмеялся.

- Ага, мы должны к вечеру возвратиться домой, да и отца надо порадовать, – начал было
возражать Асылбек.

Но Джуманалы тут же прервал его:

- Не обижай, браток, старшего. По обычаю ты обязательно ночуешь у меня. Немного
смутившись, Асылбек снова заговорил:

- Большое спасибо, ага, за приглашение, но завтра утром отец собирался отправиться на
Сусамыр, там искать жеребца. Надо предупредить его, что Ак-Туяка нашли.

Заметно изменившись в лице и искоса посмотрев на Асылбека, Джуманалы осторожно
произнес:

- Аске, сейчас уже вечер и, наверное, вам трудно будет доставить жеребца домой. Может
быть, я сам приведу его к вам.

Асылбек удивленно посмотрел на него и тихо сказал:

- Ага, не стоит себя утруждать, мы и сами справимся с конем. Я буду держать Ак-Туяка за уздечку, а Шепен подгонять сзади.

- Да, но понимаешь, Аске, – снова заговорил Джуманалы, – я ведь тебе уже сказал, что айгыра моего забрали, а табун нужно обязательно охранять ночью. Мало ли что? Может быть, волки нападут или просто разбредутся кобылы по лугам. Поэтому оставь лучше жеребца, а через два-три дня я сам доставлю его вам. А в это время и чабан придет из Сусамыра.

Хитро улыбаясь, Джуманалы обхватил Асылбека за плечи.

- Хорошо, ага, тогда мы поедем обратно, а то и солнце почти село, – холодно ответил ошеломленный Асылбек, освобождаясь от объятий Джуманалы.

- Э-э-э... так не годится, Аске, – грозно произнес Джуманалы, стараясь развеселить ребят. – Хоть чаю попейте перед отъездом и отдохните немного. Ну, идемте.

Повернувшись, все трое медленно побрели по тропинке к юрте.

Подтянув подпруги и быстро вскочив на коней, двое путников отправились в сторону гор. Старая уздечка, перекинутая через луку асылбековского седла, мутно поблескивая, позвякивала в такт движениям. Лошадь шла упругим шагом, мотая головой и стараясь ослабить натянутый повод. Под Шепеном тоже плясал гнедой. Тропинка вновь начала подниматься в горы.

Опершись на палку, Джуманалы неподвижно стоял возле юрты и насмешливо смотрел на всадников. Наконец, словно очнувшись от дремоты, он встряхнул головой и зычно закричал:

- Аске, скажи отцу, что скоро приведу коня. Пусть не волнуется. Асылбек, не поворачиваясь, кусал губы и угрюмо смотрел перед собой.

- Байке, – тихо спросил Шергазы, прерывая мысли брата, – а почему Джуманалы-ага не предупредил отца, что жеребец находится в его табуне? Ведь он мог передать Ак-Туяка через кого-то.

Асылбек, видимо, не расслышав брата, молчал и задумчиво тербил гриву коня. Шергазы, тоже помолчав немного, продолжал:

- А ведь мы за пять дней все горы объехали, отец даже на джайлоо к казахам съездил, нигде не могли найти Ак-Туяка. Ну, понятно, если б простой конь пропал, а то ведь племенной. Ведь мог же Джуманалы-ага предупредить нас, чтоб напрасно не искали, мог? – снова спросил Шергазы, переходя чуть ли не на шепот. Ласково посмотрев на измученного от дневной езды братишку, Асылбек тихо сказал:

- Разные бывают на свете люди, Шепен. Кто печется только о себе, но есть и добрые.

- Но ведь Джуманалы-ага не сказал нам, что конь находится у него только потому, что в его табуне не было жеребца, а на ночной выпас необходим сторожевик, так ведь, байке? – прервал Шергазы брата. Его черные глаза недовольно сузились, а тонкие брови взлетели вверх.

- Так-то оно так, Шепен, но не стоит расстраиваться. Конечно, Джуманалы-ага мог хотя бы предупредить отца через своего брата, который еще вчера приезжал к нам. Он просто боялся, что мы сразу приедем и заберем коня. А когда до Туш-Ашу надо ехать да ехать, и еще неизвестно, куда пропал конь, то, конечно же, можно продержаться жеребца подольше.

- Но неужели он умышленно не сказал, хотя знал, что заставит нервничать отца? Ведь отец объездил все горы.

- Хватит, Шепен, распускать нюни, – ласково произнес Асылбек, стараясь успокоить братишку, – радуйся, что нашли жеребца. А сейчас надо прибавить ходу, до темноты мы должны проехать перевал.

Шергазы слегка кивнул и впервые улыбнулся после встречи с Джуманалы. Легко подбравшись в седле, накрутив на левую руку повод и сдвинув назад калпак, он весело посмотрел на брата. Асылбек тоже подхватил поводья, перекинул старую уздечку через седло и привязал к канжиге.

С места рванули почти одновременно. Всадники летели навстречу заходящему солнцу, поднимаясь все выше и выше. Уже горячей испариной покрылись широкие шеи коней. Сердито прижимая мокрые уши, кони ничуть не замедляли бега, словно чувствовали, что возвращаются домой. Обогнув огромный валун, лежащий посередине тропы, Асылбек вновь увидел фигурку братишки, который слившись с конем, несся вперед. На мгновение, огибая скалу, Асылбек потерял его из виду. Вдруг истошное ржание, полное страха, раздалось где-то впереди. Стеганув коня и подавшись вперед, Асылбек стрелой влетел на небольшую площадку, расположенную на краю ущелья. Только теперь он увидел Шергазы, сидевшего на взбесившемся скакуне. Приближаясь к краю ущелья, вставая на дыбы и стараясь освободиться от натянутой уздечки, бесновался Карагер. Шергазы, весь бледный, не мигая, смотрел прямо перед собой. Здесь же, прижимая гнедого к краю ущелья, взъерошившись и опустив клыкастую морду, неподвижно стоял огромный рыжий кабан.

... Обогнув скалу, гнедой несся вперед. Далее тропинка круто поднималась вверх. Шергазы, разогнавшись проскочил ее и чуть было не столкнулся с кабаном. Он спускался, видно, к вечеру в долину и неожиданно встретился с всадником. При каждом движении коня, когда он становился на дыбы, подпрыгивал на месте, ржал и испуганно фыркал, огромный кабан, глухо хрюкая, приседал на задние ноги. Шерсть на спине и брюхе висела грязными лохмотьями. Толстая могучая шея, обросшая длинной шерстью, взъерошенный загривок и ужасный запах, исходивший от кабана, явно бесили и пугали гнедого. Кабан стоял неподвижно. Наконец, опомнившись, Шергазы, механически натягивавший повод, начал немного ослаблять его. Но гнедой явно не понимал хозяина. Получив немного свободы, он стал грудью напирать на кабана, пытаясь вырваться из капкана. Лицо Шергазы стало бледным. Взъерошенный чуб прилип к мокрому лбу. Прыгнув от края ущелья в сторону, гнедой задними ногами задел кабана. Но это мало помогло.

Сильно перепуганный конь стал боком приближаться к обрыву. А кабан, еще ниже нагнув клыкастую морду и медленно двигая лопатками, пошел вперед. Расстояние между животными сокращалось. Изогнув шею, тяжело храпя и косясь на впервые увиденного им животного, гнедой, как-то странно отбрасывая ноги в сторону, все более приближался к пропасти. И вот, чувствуя скорую смерть, но, не желая ее, гнедой в последний раз встал на дыбы. Шергазы, ни живой, ни мертвый, безжизненно повис в седле, обняв мокрую шею коня. Но вдруг до его сознания долетели слова брата: «Прыгай, Шепен! Прыгай немедленно!» Шергазы быстро поднял голову. Где-то щебетали птицы, холодный ветерок трепал ворот рубахи.

«О, неужели смерть? Сейчас... Нет! Нет!» – кричала душа мальчишки. Вот уже метр до пропасти, а гнедой все идет боком, теснимый огромным кабаном. Холодный пот выступил на лбу Асылбека. Прикусив губу и подавшись вперед, он лихорадочно следил за братишкой.

В этот миг он вспомнил, как чон-апа, провожая Шергазы, чуть качнулась и медленно подняла руки, словно желая остановить внука. Видно, чувствовало материнское сердце что-то неладное. Стеганув коня, Асылбек в тот же миг осадил его, беспомощно озираясь. Он понимал, что вмешавшись мог только усугубить положение братишки, вконец обозлить расвирепевшего кабана.

Вот задняя нога гнедого сорвалась, но потом вновь нашла опору. Это еще более испугало коня. Высоко подняв голову и двигая ушами, гнедой дрожал всем телом, неуклюже рас-

ставив ноги. А кабан приглушенно хрипел. И в этот момент, когда гнедой подошел уже к самому краю ущелья, Асылбек круто развернул коня, стегая его камчой, перелетел через кустарники, камни и крепко схватился за узду гнедого. Гнедой словно и ждал этого момента. Попав в крепкие руки, он повиновался каждому их движению. Натужно вытянув шею и распутив хвост, Карагер легко несся бок о бок с конем Асылбека, по той самой тропе, мимо которой так неудачно промчался Шергазы. Солнце уже давно спрятало свою макушку за вершинами гор, и всюду наступала ночь. Немного проскакав вверх по тропе, Асылбек остановил лошадей.

Трогая дрожащими руками голову братишки, Асылбек не замечал, как бесшумно скользят горячие слезы по его потному лицу. Шергазы тоже сидел молча, неловко улыбаясь и явно не осознавая происходящего. Черная ночь, еще не опустившая голову на хребты гор, как колдунья, старавшаяся усыпить все живое, витала по горным склонам. Кругом стояла тишина. Дул холодный ветер. Только медленное цоканье копыт, разносившееся в горах, нарушало тишину.

Вдали, распластав два огромных черных крыла, медленно планировал к своему гнезду шумкар, оповещая усталым гортанным клекотом о наступающей в горах ночи.

МАЛИКА ШАБАЕВА

Отчий край

Помню детство: тихий пруд,
Камышом поросший,
Белизну соседних юрт,
Пёсий лай истошный.

Помню сонное джайлоо,
Утренние блики.
У реки в кустах полно
Сладкой ежевики.

Вновь поёт чабан-сосед –
Струны под рукою –
Про дела военных лет,
Стариков расстроив.

Заведёт потом под дождь
Шуточные песни, –
Насмеётся молодёжь
С пожилыми вместе.

...Вспомню детство. И к пруду,
Торопясь, приеду.
В юрту белую войду,
Поцелую деда.

И соседи угощать
Станут сытным пловом,
И моих отца и мать
Вспомнят добрым словом.

Вечереет... Старый дед
Засыпает с книжкой.
Не поёт чабан – сосед.
Выросли мальчишки.

Старый дом

Мне ночами
Часто снится –Тихий двор,
Крыльцо и сад...
В хате
Пахнет медуницей.
Строго образа глядят.

Тихо
Скрипнут половицы.
Ветер в комнату войдёт.
Солнце
Медленно садится
За соседний огород.

На столе
Гостеприимно
Старый самовар кипит...
Мне в окно
Опять рябина
Веткой сломанной стучит.

Старый дом...
А может, память –
Нет, не крови, – первых слов?
Зов,
Овеянный веками,
Русский речи кровный зов.

Киргизская осень

Осень, осень,
Киргизская осень,
Жёлтый луч на зеленой траве,
Ветер листья с собою уносит,
Как невесту
Джигит на коне.

Песни, песни,
Киргизские песни,
Мудрых слов и мелодий узор...
Прямо под ноги юной невесте
Стелет осень
Свой мягкий ковёр.

Свадьбы, свадьбы,
Киргизские свадьбы,
Кыз-куумай...
По горячим следам
В скачке девушку первым догнать бы
И припасть
К долгожданным губам.

Осень, осень,
Киргизская осень
Листопадом плывёт по селу,
И арчовый бешик приторочен
У лихого джигита
К седлу.

* * *

Месяц в небе появился
Звёздной ночью
Над Алаем,
Дым над юртою стелился,
Отгоняя волчьи стаи.

В юрте женщина рожала,
В кереге руками впившись.
Повитуха в ночь шептала,
Над роженицей склонившись.

В волчьей яме,
Под сугробом,
Самка яростно рычала:
Боль в раздувшейся утробе
Ей покоя не давала...

И слились в едином миге:
Стон волчицы,
Плач ребёнка...
Различимы в детском крике
Визг и тьяканье волчонка.

Но в природе бесконечной
Всё в своё приходит время.
У кого-то – человечье,
У кого-то – волчье племя.

Далекое

Угли в печке –
Красной малины.
Зябко кутаясь в мамину шаль,
Я читаю
Стихи Марины,
Уплывая душою вдаль.

И боюсь я
Взглянуть в окошко,
Будто в нём
Отражусь не я;
Будто сестры мы с ней немножко,
Будто в книге –
Судьба моя,
Будто снег
В городке старинном
Заметают
Мой тёплый след,
Будто имя моё –
Марина...
Ночь.
Аил.
Мне шестнадцать лет.

* * *

Легко кружится голова.
Каблук взлетает над паркетом.
И верить хочется в слова,
Всегда послушные поэту.

Век девятнадцатый.
На бал
Приглашены кумиры света.
И освещен свечами зал
И профиль юного поэта...

А муза Болдинской поры
Пред властью вечного блаженства
Ещё подарит миг любви,
Его полёт и совершенство...

Она пока – одна из тайн,
Ещё не ставшая заветной...
Но как зыбка меж ними грань
В течение плавном менуэта!

Слова, которых слаще нет,
Уже теснятся в сердце певчем.
Ещё не грянул пистолет
В туманный день на Чёрной речке.

Что оборвёт – и этот миг
Предощущенья новой песни,
И целый мир – леса и веси,
Что так легко вмещались в стих...

Ещё кружится голова.
Каблук взлетает над паркетом.
Всё впереди – любовь, слова
И слава солнечного света...

За этот мир,
За тишь и грозы,
За нашу раннюю зарю,
За белоснежные берёзы
За всё тебя благодарю.
Благодарю

За лунный свет
В моём окошке серебристом,
За то, что ты, любимый, близко,
Когда тебя со мною нет.

Я тебя придумала

Я тебя придумала, мой милый,
Славный мой, хороший человек...
Льют по крышам затяжные ливни,
А в твоём окошке тёплый свет.

Где-то в переулке ветер стонет,
Дождь стучит о старое крыльцо.
Я в твои горячие ладони
Опущу намокшее лицо.

Дружно в печке пламя полыхает,
В комнате уютно
И светло.
И гармонь соседская играет,
От неё в душе моей тепло.

Встанем рядом у озябших окон.
На моём плече твоя ладонь.
Помечтаем молча о далёком...
Что пророчит добрая гармонь?

Льют по крышам затяжные ливни,
А в твоём окошке тёплый свет...
Я тебя придумала, мой милый,
А тебя, быть может, вовсе нет.

В осенний вечер

Забыв приличие и стыд,
Губами рук твоих касаюсь.
Тебя целую, задыхаюсь,
Оттаяв от людских обид.

Нет одиночества,
Нет слёз
И нет в душе

Тоски щемящей:
Сегодня ты –
Минутой счастья –
Мне столько света
В душу внёс.
Я долго
Буду жить тобой,
Пока мне
Кто-нибудь при встрече
Не скажет,
Что в осенний вечер
Ты руки целовал другой.

Счастье

Как хорошо любимой быть,
Читать стихи, бродить по лужам,
Тебя назвать однажды мужем,
Дела семейные вершить...

Как хорошо счастливой быть
И одиночества не ведать,
Пелёнки детские сушить,
С тобою весело обедать.

Пусть будет скромн наш обед –
Живём не только ради хлеба, –
Была б любовь – на много лет,
Да вечно мирным было небо!

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Малика Шабаета – первая киргизская поэтесса, пишущая на русском языке. Голос ее и по-женски доверителен, личные радости и печали тесно переплетены с судьбой родного края и является естественной ее частью, впитавшей в себя отголоски прошлого и надежды будущего. Читая ее стихи, забываешь о бытующем в литературе теримине «второй родной» язык или «билингвизм» – двуязычие, так тесно слились национальное своеобразие видения мира и живая простота братского языка.

Светлана Сулова

Стихи Малики Шабаетой интересны безыскусственностью чувств лирического героя, непосредственностью поэтических признаний, стремлением автора художественно освоить национальный жизненный материал.

Георгий Хлытенко

Стихи Малики Шабаетой едины своим лейтмотивом. Это – любовь к родине, к Киргизии; к аилу, где родилась и выросла; к любимому человеку; раздумья о собственном месте среди окружающего, стремление соотнести с ним свою душевную и творческую жизнь...

Александр Шепеленко

АЛЕКСЕЙ ТОРК

ФАРХАД И ШИРИН

Рассказ

У горбуна верблюжьих глаза: глупые, будто зареванные, и – понятно, как его обозвали у нас. Только он маленький, любой женщине не выше груди. Его обозвали Верблюжонок. Все его знают, без усталости играет на дудке-найе.

«Трили-лия...», – выделывает, раскинув локти, на ходу, всегда на ходу. Издалека кажется: чуть выше тротуара, встряхиваясь, плывет дудящая голова, за ней – горб.

На нем кукольный халат, штаны в глубоких поперечных складках – заправлены в носки, чтоб не волочились по земле. На носках же болтаются громадные калоши.

Тьму лет играет, и каждый день. Еще первый руководитель Таджикистана Амонилло Шоев ложился на подоконник и искусно плевался из окна.

«Какофония!» – раздраженно говорил по-русски, потому что любил Кировскую оперу, летал туда каждый месяц, а раз не вернулся. Жена насобираала большую взятку, уехала, но тоже исчезла.

А Верблюжонок никуда не исчезал.

С утра возникает. Шагает от Путовского базара, протекает меж носильщиков и проститутток, направо, и – трили-лия по главному проспекту. До его устья добирается к полудню. Встает у памятника Айни. Руки за спиной, качается на пятках и до вечера – здесь, пока его, бывает, не изгоняет пузатый арбакеш Хилал. Он едет домой, грохоча арбой, будто адовыми бубнами. По пути спрыгивает, нависает над Верблюжонком и – бац его животом. Горбун,

как мышь, мечется влево-вправо, но куда там! Пузом Хилол владеет, как рукой. Он вбивает старика в арку памятника, кричит: «Гол!» и катит дальше.

Старик тоже – трили-лия – идет обратно.

Куда идет? К чему «трили-лия»? До этого никому не было дела, кроме меня, а я сразу догадался – дело в любви. Это просто: примечайте вокруг верблюжьих глаза и не ошибетесь – этот человек несчастно любил. Вчера или полвека назад. Такой обретает особый взор, подобно рябизне лица у переболевшего оспой. Говорю же «несчастно», потому что счастливой любви нет и не было на свете. Любовь, что известно каждому мудрецу, и первому – Авиценне, есть обычная болезнь, связанная с избытком в органах человека молочной кислоты, а возможно ли счастье в болезни?! Да, говорит ибн-Хаджжажа, если (как только) любовь уходит или, что лучше, она убита человеком в самом себе. Здесь в высшей мере испытывается сила духа человека, его способность одолеть свое нутро. Хотя, признается ибн-Хаджжажа, о подобных победах в мире еще не слыхивали.

Неправда. О них слышал я, слышал весь Душанбе, и сейчас услышишь ты, читатель, впрочем, уже слушаешь, ибо я веду историю о Верблюжонке.

Мы ахнули, когда открылось его прошлое, что произошло в центральном ресторане, когда там гуляли Адыл, командир президентской гвардии, и его друг Сафар – начальник столичной милиции. Открылось случайно, между куропаткой и кислой сметаной, то есть перед самым закрытием, ибо кислую сметану здесь подают в конце, для облегчения гостям будущих похмельных мук. Но тогда сметана еще только взбивалась, и друзья, обнявшись и рыдая, как дети, пели песню о Фархаде и его возлюбленной Ширин.

Трудно, скажу, не петь в этом ресторане. Хороший ресторан. Это розовый дворец с угловыми башнями-часовыми. Его венчает купол, который мошенники-душанбинцы слямзили со знаменитой самаркандской «Биби-Ханум». Так мог бы подумать заезжий самаркандец, но не подумает, ибо наш купол превосходит самаркандский и по размеру, и по богатству золотой с лазуритом облицовки. Внутри – тугой вишневым полумрак; редкие светильники, презревая обязанности, играют с настенной резьбой. Свод и пол украшают тексты. Они столь древнего, изощренного смысла, что ставят в тупик и изъеденных чесоткой глав суфийских орденов. Здесь есть все – и бархат, и клен, и курящиеся под сводом розовые благовония. Здесь поет Фируз Кундузов...

Когда раздастся первый проигрыш дутаров, нежный, как постанывание серебра на зевающей танцовщице, появляется он в халате душного шелка. В его глазах – презрение к небу и земле. С ладонями на животе он идет к зрителям. Кланяется бесчисленно, отводит руку к музыкантам и замирает. Кашляйте сколько угодно, звякайте возмущенно перстнем о бокал – Фируз нем и нем. Его губы дрожат, жирный пот заливает лицо. Он с силой щиплет один из четырех подбородков, он в странном оцепенении, куда-то вглядывается.

Смолкают дутары, сбоку глухо вступают чанги, они колотятся все сильнее. Вот им в такт залязгали боевые трубы, по залу ползут клубы дыма, и... Смотрите! Падают звезды – это валяются штандарты... наши штандарты! Все вздрагивают, отчаянный вопль проносится от стола к столу, ибо проиграна, проиграна битва! Бегут полки левой и правой руки. Рассеян центр с великолепными муборизаи джанбаз. Последняя надежда – дворцовая гвардия – уходит к реке, и там, в кипящей воде, ее вырезает арабская конница. Остатки войск пятятся к холму, где ставка шахиншаха. Здесь мечется придворная знать, режут обозные верблюды, священники Заратуштры вопят последнее утешение. Конная лава все ближе, их вой осыпает ковыль, в сотни голосов ахают мечи – арабы не берут пленных. Сейчас они минуют холм, вырвутся к дороге на Лоластан, стонущий от молитв оставленных здесь женщин и детей,

и... Полчаса – и свирепейшие из небесных джиннов в ужасе укроют глаза. Опустел холм, все, кто имеет лошадей, с позором уносят свои жизни к туранской границе...

Пиши летописец: в бедуинском костре, пузырясь пергаментом и кровью, горит моя страна... Но что это? Почему рокочут чанги? Отчего не смолкают свирели? Это брошенный на холме военный оркестр. Музыканты обрывают игру, озираются, что-то говорят друг другу. Обнимаются со слезами. Выпрягают лошадей из оркестровой повозки, прогоняют их в степь. Капельмейстер командует: «Сады отчизны». Они выстраиваются парадным кругом и идут вниз, на арабов. Идут, звеня сетарами, бия в бубны; шагают, хрипло подвывая от страха: в музыканты, увы, набирают трусливейших из лолостанцев. Впереди дворцовый певчий.

«Пчела поутру пьет цветок. А я пью воздух Лоластана...» – пересохшим горлом начинает он. И в эти мгновенья часто происходит оружейный грохот, ибо разъяренные гуляки, а в особенности министры – в Таджикистане нет министра без доброго пистолета, – палят во что ни попадя. Фируз же, окончив, стоит долго в оцепенении. Различая невидимое, хмуρο глядит поверх жизни, наконец вновь берется за один из подбородков и... «Любовь – мираж. Оплачь свои виденья...» – поет дальше о несчастном Фархаде и его возлюбленной Ширин.

Эту легенду во многих странах и в разные времена рассказывают по-всякому, но в каждой из стран, разделенные людской глупостью и подлостью, они отдаляются друг от друга. Юноша превращается в утес, а она – в речку, плещущуюся навсегда теперь у ног возлюбленного...

“Напиток горький пьет Ширин. О, горечь сладкая! А слаще нету вин...”, – звучит в ресторане, и многие подпевают этому. И гвардеец Адыл подпевал в тот вечер, обнявши своего друга-милиционера за красную шею.

– Любил ли ты так, несчастный Сафар? – зло кричал гвардеец. – Мог ли, подобно Фархаду, ради женщины срубить гору, чтобы пустить воду в страждущую долину? – Слезами отвечал ему друг, ибо любил президента и парады, женщин же презирал.

– Но это легенда, – со смехом возразил сидевший с ними Али, замминистра таджикских искусств, – и, стало быть, подобная любовь есть легенда. Ерунда эти легенды.

– Легенда... легенда... – скрежетал гвардеец, озираясь по сторонам, и заметил посудомойщицу Ширин, безобидную старуху с красным лицом, поросшим волосами. Ее называли полоумной, но глупости это. Добрая она. С веселыми глазами навывате, перебитым носом, трясущимся ртом, из-за чего не всегда могла улыбаться, но пыталась постоянно. Котлы, противни драит галькой. Потом сидит до рассвета на крыльце подсобки... О ней рассказывали, что Рустам-переводчик привез ее откуда-то с границы, сильно избивал. А когда умер, его родня выгнала старуху из дома. Та стала жить в подсобке. А директору все равно – ни дирама ей не платит. Многие с ней непонятно, да не любопытны душанбинцы.

И тогда – зачем вышла в зал? Никогда ж не выходила. Может, двери спутала?..

– Эй, иди сюда, – сказал гвардеец, грозно улыбаясь, за ним улыбнулись другие – остроумный он. Испугалась, отпрянула к двери, но буян вытянул пистолет, и подбежала к нему старуха.

Адыл сказал замминистру:

– Вот смотри, Али, она – Ширин. Тебе нравятся такие легенды?

И будто с ума сошел: стрелял вверх, валялся у карги в ногах, жарко целовал ей руки, стянул с ресторанных красавиц все золото, украсил им старуху. А замминистра придумал еще лучше:

– Но, Адылчик, где ее возлюбленный? Где, где ее Фархад?.. – вопил он.

– Сюда его! – отвечал взбешенный гвардеец. – Охрана, тащи!..

«О, Аллах! Верблюжонка», – догадался замминистра под общий хохот. Гоготали все, даже измученные повара, даже ресторанные красавицы, что смеются редко или никогда. Улыбалась и пышно обряженная Ширин, дрожа челюстью и выпучивая глаза.

Верблюжонка, конечно его! Кто еще так сходен с ней?

Побежали за стариком, а чтоб не упирался, отобрали дудку. Так и вошли – первым встревоженный горбун, за ним – охрана с дудкой.

– Счастье, старик, – сказал гвардеец, стоя на коленях перед старухой спиной к старику. – Мы дарим тебе его, соединишь с любимой и не бойся ничего.

С этими словами отполз в сторону. Грянул было хохот, но тут же стих. Горбун и старуха оглядывали друг друга. И еще, и еще... И было в этом что-то, что превратило ресторанных гуляк в оледеневшие фигуры. Потом горбун усмехнулся. Ширин тоже. Они подошли друг к другу, хотели взяться за руки, но не взялись. Верблюжонок что-то спросил. Что – никто не понял, вполголоса было произнесено и на персидском языке, который не сильно, но все же отличается от таджикского говора. Старуха улыбалась, только рукой сдерживая челюсть. И все долго молчали, пока в страхе не очнулся Сафар, потому что в соседнем с нами Афганистане тогда всё подряд взрывали талибы. Обещали и нам взорвать что-нибудь. Поэтому он быстро доставил горбуна и старуху к себе, хлебнул кислой сметаны, и пошло разбирательство. В архивы заглядывали, в Иран послали запросы, горбуна со старухой, конечно, допросили. Они отвечали, что да, мол, родились и жили в персидском Исфохане. Да, были знакомы некогда, но это и все. Больше никому ничего не объясняли. «Не пытаться же!» – говорил Сафар своему министру со смехом и на всякий случай слегка вопросительно.

Но отстали от них, как только глянули старые бумаги, а затем получили от иранцев некоторые разъяснения. Не взрывниками они оказались, а бывшими любовниками из Исфохана. Вот эта история. История о Ширин и Фархаде из Исфохана, сумевших осознать болезнь и – слушай, ибн-Хаджжажа! – излечиться от нее, сбежав для этого: он в советский Баку, а она – в арабскую Басру, к богатому конезаводчику, который до того несколько лет подряд домогался ее, слал письма ее отцу и в каждом письме пририсовывал дополнительную цифру к сумме, изначально предложенной. Он же счастливо устроился агрономом в советском совхозе, и его там полюбили как брата, ибо он заглубил предплужники не на девять сантиметров, как предписывала инструкция, а на одиннадцать и распахивал дернину, как масло. И выкидывал письма, которые один армянский купец доставлял ему оказией от родителей.

– Не хочет ни читать, ни слышать о былом и даже бровью не повел, когда я сообщил, что, мол, в Басре скоро состоится помолвка Ширин, – говорил родителям купец, лукавя: с облегчением смеялся юноша, услышав о будущей помолвке своей невесты с конезаводчиком.

Горевали родители. Проклинали разделившую их детей людскую глупость и подлость. Любкой, кто видел тех в Исфохане, говорил жене или про себя: “Легенда во плоти”. В городе не сомневались: здесь – слиянность имен, то есть, любовь в своей болезненной первозданности.

Никто не находил и невольного расчета. Она красавица? В городе есть другие нестерпимые глаза. Он из обеспеченной семьи (его отец был смотрителем городских каналов)? Но в ее родительском доме толпились с предложениями богатые, и даже армянские купцы. Да, здесь была соединенность и в именах, и в характерах, ибо выглядели они как день и ночь, то есть – едиными сутками. Ширин была широка: без конца смеялась, когда не плакала, в особенности обсмеивала сосредоточенного жениха, и помогала всем нуждающимся столь отчаянно, что ее отец перевел семейные деньги подальше, в арабский банк, приказав начальнику закрываться, объявляя о пожаре, как только дочь покидала Исфохан. Он же избегал людей.

Внутренний был. Гулял, будто всегда чем-то напуганный, ночами по городу до площади Нахш-е-Джахан. Пиликал на дудочке и всегда тайно думал, думал... О чем – никто не знал, и когда он объявился на революционном севере у мятежного Бобек-хана, это – то есть, его тайные мысли – очень хотел выяснить и сам шах. Но, хотя бросил на расследование тьму полиции, так и не выяснил толком ничего, кроме того, что, увы, он сам – косвенный виновник всего.

“Легенда во плоти... Помилуй их Бог!” – произнес однажды. Задумчиво произнес, пересекая кортежем дворцовую площадь в направлении своей исфоханской резиденции и, как обычно, любуясь двумя влюбленными, что традиционно под вечер восседали здесь на лавочке. Это услышали, и с той минуты за влюбленными наблюдали на улицах, в кофейнях другими – тревожными глазами. Кто-нибудь шептал: “...помилуй их Бог!” Мужчины при этом щипали переносицы, женщины с влажными подбородками отворачивались – будто бы одернуть подол.

Ширин показывала пальцем на земляков и прыскала ему в плечо, но он, отвернувшись, коротко похлопывал дудкой по спине. И таким же пасмурным его вскоре видели в городской библиотеке и у Дауда-акушера, либерала и специалиста по тайным абортам.

В библиотеке, установила полиция, юноша узнавал о любви. Сидел несколько дней кряду, ибо, начиная с Фирдоуси, легенду о Ширин и Фархаде живописали не менее трех десятков отборнейших гениев. Помимо этого, интересовался здесь, сумрачный, книгами врача-философа Нияза “Любовь: игры гипоталамуса”, “Ослепление” и великолепным исследованием ибн-Хаджжаджи «Великая телесная аномалия».

Дауд позже на допросе лепетал нечто, пока его не стукнули его же тростью. Тогда признался, что Фархад являлся к нему безумцем, говорил, что многие годы живет в страхе, так как боится «проклятия своего имени и злосчастного имени невесты», шептал, будто «что-то надвигается», что намерен бежать куда-нибудь, к примеру, в Стамбул, где у Дауда жил дядя-коновал, и просил рекомендательного к нему письма. Но Дауд отговорил его от тиранических кемалистов-турок. Посоветовал, если «подальше», то бежать к освободительному Бобек-хану, на севере затевавшему тогда антишахское восстание. Он, сказал акушер, одолеет шаха и разведет повсюду акционерные газеты, которые освободят персов от их роковых несчастных легенд, от их естества, подобно тому, как настой болиголова, смешанного с аконитом, освобождает женщин от угнетающего плода.

Фархад так и поступил. Скоро объявился на севере, в Гиляне. Как сообщали шахские соглядатаи, приблизился к революционному командующему Бобек-хану, которого поддерживали прибывшие в местный порт русские корабли под командованием некоего Федора Раскольниковца.

Бобек-хан убедил северян идти на столицу. Через месяц пошли. Когда от столицы их отделяла одна лишь гора, состоялось сражение. Командующий сбежал в самом его начале. Северяне и Фархад держались еще два часа. В итоге и Бобек, и юноша оказались в Баку, куда, спасая от шахских войск, их примчал русский корабль. Фархад устроился в пригородный совхоз. Командующий вначале обрел здесь яркую должность, много любезных юношей, к коим был пристрастен, но вскоре русские его за что-то расстреляли, а Фархада собирались вернуть на родину. Об этом их очень просил раздраженный шах, уставший от натиска фархадовой родни и беспокойного конезаводчика из Басры, который к тому времени был уже будущей невестой бит и обварен кипятком за то, что не делал различия между лошадьё и невестой. Родители требовали простить их сына. Обваренный конезаводчик, прилагая к своим письмам большие суммы, призывал шаха вернуть невесте ее подлинного жениха.

И тогда, не дожидаясь выдачи, юноша исчез из города. Бежал в глубь страны, на какую-то лесопилку, что ли, где его потом и арестовали вроде...

Ходили, впрочем, слухи, что он с другими персами Бобек-хана с дозволения русских ушел в Турцию. Некоторые, в том числе Ширин, в это поверили. Она спустила в окно – горстями, как наловленных мух, – надаренные кольца-яхонты, еще раз обварила конезаводчика и устремилась туда. Но не доехала – оказалась в пути неожиданно проданной в один из местных британских гарнизонов, так как конезаводчик сильно им задолжал, поставив когда-то фальшивых скакунов, но главное – он уже не собирался на девушке жениться и был страшно оскорблен, что и она не собиралась выходить за него. Поэтому и предложил несостоявшейся невесте часть дороги до Стамбула проехать с его попутным караваном.

Родители Ширин об этом так и не узнали. Они ничего о ней узнавать не хотели с той постыдной ночи, когда она сбежала к конезаводчику, расставшись с Фархадом, то есть, разругавшись с ним, а после помирившись... То есть, разругались они в кофейне днем. Юноша что-то жарко объяснял невесте, она расхохоталась, он ринулся к выходу. У двери обернулся и хлопнул дудку об пол, да так, что та брызнула во все стороны. А в сумерках, на дворцовой площади, помирились. При этом юноша опять что-то объяснял, зареванная Ширин в ответ кивала, дескать: да, да.

Со звездами разошлись, ускоряя шаг...

Его родители, пока были живы, разыскивали его, а ее родители – нет. Впрочем, и они скоро умерли, да и все равно ничем бы ей не помогли, когда, уходя из страны, британские солдаты уступили ее местным союзникам – болотным арабам. Точнее сказать, перепродали, но вряд ли выгодно, так как, по слухам, строптивая девушка уже была отмечена видимыми телесными изъятиями, хотя вряд ли серьезными, ибо болотным арабам, живущим по колению в воде и нуждающимся в крепких женщинах, ее все же не подарили. Но это все слухи, читатель, смутные слухи, подобные тем, что человек хорош или Бог создал землю...

Сознаюсь, читатель: все, что мы знаем об этой истории, – неясно, скупо. И нет почти ничего достоверного о событиях, последовавших после их расставания на дворцовой площади. Что-то рассказывали наши старики, бывший военный комендант Абдували, что-то писали газетчики, которые побывали в Исфахане, в России, но и оттуда поставляли лишь слухи.

Рассказывали, например, будто в сорок третьем году некий исфаханец Уктам ожидал во дворе пересыльной тюрьмы, когда его отвезут на станцию. Потом оказалось, что его отправляют домой. В Тегеране намечалась мировая встреча, и советский глава, стесняясь ехать в гости с пустыми руками, велел отпустить домой сколько-то персов, но Уктам этого еще не знал и, корчась на морозе, ждал отправки в другой лагерь, когда мимо пронесли в бочках обед. Одну случайно опрокинули, и на опрокинутое кинулись многие, а один, не сумев пробиться, на коленях ловко совал в рот орошенную землю, обернув голову курткой. Кто-то ударил его, сбив куртку, и Уктам будто бы узнал юношу. Он поделился с ним продуктами, выданными на дорогу (так утверждал он потом в Исфахане, но нехорошо запинаясь и роняя слезы), и уехал...

Или – этот слух уже из России – говорили, что в пятьдесят четвертом его со скандалом освободили. Самое неправдоподобное в этом слухе то, что освободивший его офицер, рассказывали, избивал людей до полусмерти, а юношу колотил на все две трети. По ночам же, горбясь, тянул спирт в лазарете. Однажды до утра слушал, как за стенкой Фархад хрипло дул и дул в кроватную дужку, словно в дудку, когда его привезли туда вечером со сломанным позвоночником, сделавшим его позже горбатым верблюжонком. Это сделал не офицер, а

повстанческие украинцы, перепутав юношу с кем-то в темноте. А офицер, слушая дужку и в ответ насвистывая, тянул спирт в лазарете, куда позже привезли, избитого, и его самого, когда вскрылось его неожиданное жульничество. Отпустил он юношу по амнистии, под не своим именем...

Фархада отчего-то не вернули обратно. Отправили к нам в ссылку как персоязычного. С тех-то пор в городе и помнят его гуляния. Только сперва гулял он с неким долговязым, который был – и это уже наши слухи – тем самым офицером, освободившим Верблюжонка. Он тоже был выслан на юг, подальше от глаз раздосадованного начальства, и они были единственными ссыльными в Душанбе. Других отправляли в пригород на секретный завод, а из этих – смех, а не работники: с виду настоящие маскарабозы³ – дудящий карлик и длиннющий офицер. Их поселили вместе в домике на улице Чехова.

В комендатуре хохотали до слез, когда еженедельно, бок о бок, они являлись туда для отметки, рассказывал старик Абдували. И многие в городе не сдерживали улыбок, наблюдая их гуляющими от дома к памятнику Айни. Дальше нельзя им было – начиналась двухсотметровая зона до вокзала, запретная для ссыльных.

Поэтому, чтоб смешили не зря, их назначили шутами – бадеха, но на первой же свадьбе (женился родственник Абдували), едва они завели старинную комическую песенку “Из Хатлона мы пришли”, зарыдали музыканты-шашмакомисты, затем гости, родственники, жених с невестой. Невеста заливалась так, что ее били по щекам. На вторую, третью свадьбу отвезли – опять вой и слезы. Комендант все понял и в следующий раз усил их на похороны. Хоронили его родственника, который был всеми ненавидим как доносчик и соглядатай, но на кладбище даже лютые враги его ревели, как пянджские пароходы... Так их переназначили на другую работу. Новых плакальщиков отрывали с руками.

Все в городе глотали невольные слезы, вспоминали старики, заслышав песенку “Из Хатлона мы пришли”, которую они исполняли, шагая за сотрясающимися спинами родственников и сослуживцев какого-нибудь покойного прокурора. Но работали они недолго. Офицер со времени лечения в лазарете оставался плохого здоровья. Умер. Верблюжонка, оставшись один, работал мало, плохо. Его оставили в покое. С тех пор и гулял, не обращая ни на что внимания, и милиция тоже не обращала на него внимания. Человек, хоронивший знаменитых коммунистов, трудовых, профсоюзных лиц и троих прокуроров, заслуживает этого. И душанбинцы перестали замечать его, хотя вон он – “трили-лия”.

Все эти годы он был чем-то бесплотным, вроде знаменитого своей неподкупностью гаишника Сайдали, который полвека странным видением проторчал меж двух каштанов у филармонии. Никто его и не пытался подкупать – глупо совать деньги призраку, – но и скорость не сбавляли, его завидев...

То же со стариком. Каждый, ведомый своим Богом, имеет право на все: торчать у пыльных каштанов, дудеть как привидение, привозить старых покалеченных жен... ибо один Бог поначалу ведал, зачем Рустаму-переводчику было везти эту старуху с речных островов, что у афганской границы. Вдвоем приехали.

Его родственники сказали: “Салом, Рустамчик”, а потом, приподымаясь, воскликнули: “Уф!”, ибо из-за его спины показалась она, улыбаясь той самой улыбкой, которая затем (когда все вскрылось) многих в Душанбе пугала и возмущала.

“Челюсть ей свернул, оттого и...” – обвиняли переводчика, известного своим буйным пристрастием к вину. Хотя его родня доказала, что “куда угодно, но лица ее он не касался”

³ Маскарабозы – скоморохи (тадж.)

(ибо, читатель, куда угодно, но в лицо не бьют женщин в наших краях), а такая улыбка у нее уже была с порога.

И в афганском Хосте она уже была такой, говорила родня. Мол, когда афганский головорез Кудратулла украл ее у болотных арабов закутанную по глаза в свадебное покрывало и примчал к себе в Хост, то также воскликнул “уф”, откинув покрывало и обнаружив трясущуюся улыбку. Хитрые соседи- арабы, зная, что он охотится поблизости за какой-либо из болотных невест, потому что накануне один из болотных мужчин украл невесту у него самого, обрядили ненужную им старуху в глухие свадебные одежды и послали к роднику – будто привязать, по обычаю, к священному дереву ленточку.

Головорез Кудратулла был взбешен. Его право на равноценную месть оказалось исчерпано: иди докажи старейшинам, что украденная у арабов не была невестой... Десять лет назад это случилось. До слез удрученный похититель совершил вторую ошибку: не в силах вымолвить ни слова, махнул “невесте” рукой – мол, прочь с глаз моих, – и старуха, удалившись, гуляла туда-сюда. Ее красное свадебное платье скоро истрепалось, почернело от знаменитой афганской пыли, но люди и без того прознали, что-де невеста она, знали откуда, кем похищена.

Смеялись над этим.

Разъяренный головорез стрелял шутникам под ноги. “Не невеста она вообще. И я ее знать не знаю,” – утверждал он в обоих случаях лживо. Во-первых, знал, во-вторых – она *была* невестой, оставалась невестой Фархада, никто ее не лишал этого звания: ни болотные арабы, ни конезаводчик, ни англичане, ни сам юноша, однажды всю ночь напролет бубнивший “прошу, прошу, прошу...” и в горячке расставания забывший возвратит девушке ее предутреннее ”да”.

Так, справедливо облаченная в платье невесты, пусть арабское, пусть истлевшее со временем, она гуляла до самого Кундуза. Пока однажды грозные, как шершни, американские самолеты не загнали ее с толпой афганцев на таджикские речные острова. Наши пограничники и местное американское посольство с помощью Рустама-переводчика два дня уговаривали островитян вернуться обратно. Сообщали, что бомбы искали не их, а укрывшегося среди них недоброго Ахмада-талиба. И вернули всех, кроме старухи.

Ее в качестве жены прихватил с собой в Душанбе переводчик Рустам, ибо повсеместно осмеянный головорез Кудратулла не совершил третьей ошибки: через доверенных людей сунул пьянчуге в палатку ночью хорошие деньги. В смысле – плохие, но немалые. Подкупленный переводчик с этих денег месяцами опивался вином и, мучимый совестью и гордостью, никак не мог опиться. Вечерами озирает со слезами свою от рождения кощунственную жизнь и, содрогаясь от увиденного, наказывал себя тем, что колотил беззащитную старуху.

Но не по лицу, говорили его близкие, и из дома ее не выгонял. Это после его смерти сделала сама родня. Прости, читатель: многое сообщаю наспех, что-то опущу вовсе с тем, чтобы, пробежавшись по шаткому прошлому, перейти к тому, что развернулось на наших глазах. Развернулось с того дня, когда она осторожно пристроила губку к недомытым судкам, вышла в коридор и, отряхивая сочащиеся руки, двинулась к обеденному залу. Помедлив у входной двери, толкнула ее... Часом же спустя отпрянувший в сторону гвардеец Адыл свел ее глазами с Фархадом.

Я видел их глаза. Я сидел, пьяный, неподалеку в углу, где сижу и сейчас, рассказывая эту историю, где светильники, плюя на обязанности, играют с золотом настенной резьбы. В их глазах не было болезни. Были любопытство, испуг, что-то еще – какие-то несущественные тайности.

Но не было любви, ибо всякая любовь – прав ибн Хаджжажа – это седина, морщины в глазах. Они же глядели свежо и молодо и в кабинете Сафара, ерзая по краям подследственного дивана, и на улице, выведенные дежурным милиционером, когда обменялись кивками и разошлись, сопровождаемые тысячами людей: он в сторону Путовского базара, она, скачущая улыбаясь, – к себе в бытовку.

Эта история открылась год назад, но по сей день в городе – ошеломление. Конечно, об этом сразу написали все – без одной – наши газеты. Та, что отмолчалась, не вышла из-за сердечного приступа главного редактора, переводчика Шухрата Турки. Он не вынес подробностей. И кто бы как ни лукавил, тогда их не вынес никто, кроме чайханщиков, которые, сбиваясь с ног, до утра поили запретным напитком – “чаем из шиповника”, то есть водкой, встревоженных горожан. Слышавшие обступали знающих. Последних было – как грехов на земле, потому Душанбе кипел во лжи и разночтениях. К рассвету все закончилось массовыми стихами, как обычно бывает в нашем поэтичном городе. Хуже всего, что никто – от высшего руководства до арбакеша Хилола и администрации ресторана – не знал, что делать с ними впредь. Оставлять ли его гуляющим? Вбивать ли в арку животом? Избавлять ли ее от тяжелой грязной работы переводом в холодный цех? Тем более, что иранская сторона сразу отказалась от них. В Тегеране сказали, что страна не интересуется полуязыческими любимцами кровавого шаха, свергнутого, как известно, всеочищающей исламской революцией.

Все у нас взбудоражилось, сдвинулось с мест, только они – старик и посудомойка – вели себя как прежде. Он с утра – “трили-лия” от Путовского до памятника Айни, она, утирая запястьем потное улыбающееся лицо, скребла противни.

Многие (с подачи впечатлительного Шухрата Турки, переводившего когда-то персидскую легенду “Фархад и Ширин” на все языки и наречия Таджикистана) не верили этому. Переводчик вместе с гвардейцем Адылом, который ничего не переводил, зато был болезненно пьян с утра до вечера, буквально преследовали старика по пятам, таясь в придорожных кустах.

Пустое. Они не собирались тайно встречаться. Они не собирались встречаться вообще, и понемногу – с руки разъяренного Шухрата – в городе начало расти раздражение. Недовольных стариком и посудомойкой становилось все больше, в особенности среди духовенства и поэтов. Стали появляться злые стихи. Шухрат написал гадкие бейты под названием “*Будто Фархад и некая Ширин*”. Обещал развернуть их в большую поэму, но не успел, ибо в один день старик и посудомойка исчезли. Вернее, в одну ночь, так как утром их уже не было.

Опухший Адыл и напряженный Шухрат лично обыскали все ресторанные внутренности; проехали, крутя головами, от Путовского до памятника Айни, и на этом, читатель, я могу заканчивать рассказ, ибо все остальное – те же слухи и догадки. Я лично думаю, что, не доверяя крепости своего излечения, они скрылись друг от друга в бесконечной, к примеру, России. А так... говорили разное. Что-де убили их некие антииранские боевики – такие угрозы в самом деле ранее исходили от Рахмона по прозвищу Гебилс (он некогда играл в школьных военных спектаклях этого друга Гитлера), недовольного шумихой вокруг неверных персов-шиитов. Что, мол, высшее руководство, дабы не осложнять себе жизнь, приказало их похитить и разослать куда-нибудь по сопредельным странам. Что их видели и здесь, и там, и сям, и однажды – при неверном свете автомобильных фар, как рассказал Иса, молодой парень-контрабандист, гоняющий с друзьями в Афганистан горячее и оружие. Опасаясь талибской пограничной артиллерии, в дождь и темень, слегка лишь подсвечивая фарами грузовика свой паром, они наполняли его в ту ночь контрабандой. Иса, который не плыл, а выступал в роли охранника, неподалеку с отлогого берега следил за окружающим спокойствием. Он водил туда-сюда глазами и вдруг, когда фары на мгновение переключи-

лись на дальний свет, увидел их в глубине парома. У сизых патронных ящиков. Обнявшись, сидели. Он прижимался головой к ее груди. Она легонько гладила его плечи, которые были судорожно сведены пронзающим дождем и чем-то еще, и, упокоенная его теменем, улыбка Ширин была впервые недвижна...

Иса видел их краткие секунды, ибо обзор без конца закрывали суесящиеся на пароме его товарищи, которые, пугаясь подступающего солнца, торопливо крепили ремни и веревки. И фары скоро потухли, и в темноте он слышал удаляющийся паром и бьющие в него пянджские мокрые удары...

На той стороне его товарищи разделились, говорил Иса. Топливо повезли в Панджшерское ущелье, но основной караван ушел далее в Гуриан, от которого два шага до границы с Ираном, сказал он, заедая острой капустой чай из шиповника. Лично я не верю ему. Впрочем, сейчас это не имеет значения. В городе понемногу стали подзабывать о происшедшем, ибо и без “трили-лия” у нас хватает уличных музыкантов, а в ресторан взяли новую посудомойку, то есть, посудомоя – прилудного старика Дафниса, немца из бывших военнопленных, и однажды, в один из разов, я расскажу и эту историю...

ДЖАМШЕД БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ

Рассказ

Благодарю тебя, читатель златоглазый, снисшедший до медных строк моих. Я расскажу грустную историю о блистательном Джемшеде, послушай ее... И если женщина ты – цвети неотцветающей весной до скорбного краха мирозданья. Если мужчина – да не увидишь ты Ниссо на свадьбе в Кейбадиане! А увидишь – страсть, болезнь с тысячами именами, одно из которых – любовь, окровит сердце тебе, как окровила многим бывшим до тебя. Ибо говорю я, печальный Али ас-Афиф ибн Нурхон аль-Хиссори: спящая дева – спящая гибель, танцующая дева – гибель танцующая.

Ниссо, Ниссо убийца сердец! Она летает в тесных проходах. Ничей глаз не успеет за шелковым вихрем. Она кружится подле музыкантов, заставляя их восхищенно воздевать к небу свои дудки с бубнами, и вот – уже нет ее там. Мгновение – и в рядах избранных гостей раздаются крики толстяков: Ниссо плетет-расплетает здесь ноги, стонет бадахшанским серебром. Отчаянная плеть всадника, уходящего от губительной погони, горная река, бьющаяся в долину через пороги из душающих теснин. Кррака-такатум, кррака-такатум, умри, умри Кейбадиан! Сотни глоток давятся перепелами, десятки рук кидают ей под ноги бумажки и целые кошельки. О, нет, не нагнется, не посмотрит! Ее неистовые стопы отмечают их, как декабрьскую листву. Кидайте миллионы – никто не получит и взгляда кейбадианской танцовщицы Ниссо!

Никто? Смотрите – речным ветром несет ее туда, где сидит Джемшед Блистательный.

Она дрожит всем телом и, дрожа и изламывая руки, склоняется пред ним. Черным маслом ее волосы нахлынули и растеклись по земле. Джемшед полуоборачивается на полуслове, полы шелкового пиджака сдвигаются, вы видите за поясом два его знаменитые пистолета, инкрустированные джиргитальскими рубинами. Он водит голубыми глазами, благосклонно улыбается Ниссо. И без того прилежные карнаи, взрываются, как перед смертью. «Есть ли

во всем прошлом и будущем мира пара, схожая с этой?» – ошеломленно вопрошают друг друга кейбадианцы.

Джемшед трогает танцовщицу за плечо, говорит что-то. И властным взмахом отправляет ее к эстраде, оборачивается к старому Зубайду: кто бы ни была Ниссо, она не главнее гостей, любимцев неба... «Какие люди, какие гости в Кейбадиане!» – восхищаются кейбадианцы, уже забыв о Ниссо.

– Я знаю твою тайну, внук Джовика-защитника! – шепчет мальчик Сухбат. Он идет в передние ряды, чтобы видеть все самому. От слабости кружится голова, тело рыбкой скользит сквозь жаркое взволнованное месиво. Все глядят на Блистательного. Полгода его не было на родине, шесть месяцев Джемшед учился в Душанбе в Академии управления, и вот он явился. Он возвышается среди гостей на три головы. Даже любопытные афганцы, что сбежались к Пянджу, заслышав карнаи с таджикского берега, даже они различают рубленое его лицо и шрам на его переносице. И даже афганцы видят, что невесел сегодня Джемшед, какая-то дума одолевает его. Он крутит в пальцах виноградную кисть, кусает губы, рассеянно улыбается в ответ на громкие тосты.

Синяя с золотом, как излом сапфира, полутьма стоит над селом, солнце остывает слабыми углями, по Кейбадиану струится дым: афганцы опять жгут пойменные луга, но счастливые кейбадианцы сегодня плюют на это. Они обвиняют пустырь у черешневого сада тремя бурлящими кольцами. Афганская охрана осаживает их, кого укоризненным словом, кого ручкой пистолета. В переднем кольце, куда сумел продраться мальчик Сухбат, мечут изумленные взоры владельцы новых, незаношенных халатов, во втором – ахают, переговариваются халаты несальные и чиненные, за ними же сопит прискорбная, изодранная ветошь, но не мы им судьи, читатель! Разве бы мы поступили иначе? Разве отказались бы от лицемерия таких людей, хотя бы издали, из заросшего вьюном угла черешневого сада?!

Пьянящий память сад Кейбадиана... На молочном пригорке над Пянджем в зеленом чаду трещит-полыхает черешня. Здесь, под корнями одного из деревьев, я зарыл свои стихи перед тем, как люди из РОНО отправили меня в нурхан-тюбинский интернат. Оставь на минутку чахоточных детей, обмани Юсуфа-мужа, зайди в сад, моя измученная полуседая Миргуль. Тсс – вслушайся! Одна из черешен, напитанная ученической тетрадкой, споет тебе, плачущей, о полудетской любви.

Какие дни... Какие гости в Кейбадиане! Исмаат-раис лично обносит их фазанами и, выставляя в поклоне блюда, успевает поправлять в них укропный узор. Здесь – афганский старец Зубайд, известный мудростью небу и земле; здесь упитанный боками душанбинец, Равный Министру; зевают просто уважаемые душанбинцы с глазами тигра; здесь надменный пакистанский генерал в зеленых погонах; здесь два суровых меднолицых гостя из Москвы; здесь жадно хрустит турецкий атташе, явившийся в джипе размером с военный грузовик; ловко поддевает плов узбекский посол; здесь туркменский почти губернатор, не отпускающий глазами личную охрану... Простите, кого не назвал! Тороплюсь из желания скорее добраться до Джемшеда Блистательного!..

Непостижима гибкая Ниссо, изумительны царственные губернаторы, спят взор генералы, усеянные медалями. Но без труда возможно отыскать второго губернатора, второго генерала, вторую танцовщицу и даже второго министра. Джемшеда второго – нет! Он один, он блистательный, он кейбадианский. Росту в нем два метра, силы в нем – на двух тьяньшаньских медведей.

У него синие яростные глаза, мягкая улыбка и два молниеподобных пистолета. Уф, многие знают о них за Пянджем. Не кто-нибудь – Ахмад-Шох Масуд слал из Пандшера гонцов

сказать Джамшеду: «Неукротим ты, таджикский храбрец, мои люди жалуются на грубость, что терпят от тебя, но прощаю, сын черешневого села, и прошу – будь таки благоразумней».

Прости, старый панджерский лев, не может быть благоразумней Джамшед. Уже три дня спустя два грузовика, набитые товаром, несутся со скандалом из афганского Герата к таджикской границе. Блу-блу-блу-блу-блу – брызжет смертью в преследователей из замыкающей машины голова четырехязыкой «Шилки». В головном «КАМАЗе» Джамшед с усмешкой взирает в зеркало на погоню. Одина-бек, пуштунский командир с гератского базара, не навяжет ему своей власти, не заставит брать муку у наглых пуштунских посредников. Пугайте робких хазарейцев, Джамшед подвластен лишь собственной воле. Вот уже на шафранном горизонте розовеет и клубится милый Таджикистан, уже белеют столбы пограничной службы, уже дрожат росистые канаты паромной переправы. Джамшед встает на подножку, вынимает знаменитые пистолеты...

Пикап Одина-бека всхрапывает лошадей и бросается в сторону, за ним другие машины. Они делают черный визжащий полукруг и уходят в Герат, искать робких хазарейцев...

Неблагоразумен Джамшед.

Он переплывал Пяндж у средних порогов, там, где ужасная река закручивает спиралью оступившийся грузовик. Он катался в обнимку с тигром в пянджских камышах. Два ствола сделали в тигре двадцать две дырки, шкуру пришлось выбросить как безнадежно порченную. Он, идя раненый из Афганистана, столкнулся в ущелье со стаей волков. Впереди вертикальные убийцы, сзади – отвесная стена, с маленькой нишей от ручья, в двух пистолетах – один патрон. Что бы сделали вы? А Джамшед стреляет вверх, в снежную накипь Даудовой горы, кидается в нишу. Десяток раздавленных волков, ушибленное ревушим камнепадом плечо – о, достойная замена верной, казалось бы, смерти...

Спросите – кто Джамшед? Я отвечу: он – его предки. Воистину говорю я: достоинства человека – от его отца, пороки от него самого. Отец Джамшеда Салим, кейбадианский начальник милиции, известен тем, что в 80-м году ранил из револьвера самого Белого Льва, неуловимого афганского курбаши. В то утро злодей кушал виноград и лицезрел искусство танцовщицы Зары, когда выследивший его Салим устроил локоть на прибрежном валуне. Разъяренные люди курбаши одолели Пяндж и расстреляли храброго Салима. Позже языки донесли, что легендарный Белый Лев – это русский акушер Ежевикин из шаартузского роддома. Двумя годами ранее он подло сбежал в Афганистан, боясь справедливого возмездия: он сделал неудачные роды жене начальника шаартузского КГБ – она ждала не девочку. Ежевикин переплыл Пяндж, явился к местным узбекам-бандитам. «Кто ты, меднолицый?» – ухмыляясь и вынимая револьверы, спросили узбеки. «Русский я, – ответил Ежевикин. – Акушер...» – «А!» – уважительно переглянулись бандиты, оценив дерзкий ответ. Ак-Шер по узбекски – Белый Лев.

А Джовик, дедушка Джамшеда? Каждый ребенок на сто поколений вперед будет помнить о нем, защитнике села от врагов – земных и надземных...

В 38-м году овечий мор, малярия, сель и голод объяли Кейбадиан после ссоры его жителей с муллой уль-Вайсом. Старик явился из Афганистана, требовал у сельчан арбу кормовых тыкв в обмен на духовное спасение. Когда же отказали мулле, он наслал в село вредоносных джиннов, и никто в райкоме не мог найти на них управы. Даже уполномоченный НКВД, уважаемый Мир-али поотключал телефоны и взял отпуск, чтобы не связываться с муллой. «От имени и по поручению советской власти даю час на отзыв джиннов из растущего в счастье Кейбадиана!» — звонко приказал мулле председатель Джовик. Он только что прибыл из Сталинабада, со съезда Верховного Совета. Мулла гнусно хохотал в ответ: «Мне

ли ты приказываешь, жалкий таджик? Мои древние афганские заклинания – вот настоящая власть». – «Что ж, ты узнаешь силу Советской власти», – ответил Джовик, и вечером в чайхане в присутствии всего Кейбадиана состоялся овечья легендой поединок.

Мулла явился туда с древним афганским манускриптом. Джовик – со стенограммой XVII съезда партии.

Чайханщик Адыл брякнул шумовкой о казан.

– Були-були-були-були, – забулькал на топчане мулла.

– СССР не думает угрожать кому бы то ни было и тем более – напасть на кого бы то ни было. Но мы не боимся угроз... – чеканил спокойный Джовик.

– Гулю-гулю-гулю, – страшно гулькал старик.

– ...получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было совать своё свиное рыло в наш советский огород... – сверкал глазами Джовик.

Мулла краснел, раздувался, и вот, вскричав, он схватил манускрипт и, в ужасе маша руками, скрылся из села вместе со своими джиннами.

Много добра сделал Джовик... Помогал бедным, защищал слабых. Ходил в ситцевом халате. Отдал свой партийный дом многодетной семье кожевенника Шодмона, построил лучший в районе роддом, вложив в стройку все личные сбережения, под угрозой нагана запретил мужьям избивать жен, организовал, и сам играл там бесподобно, ансамбль шашмакомистов. И погиб, спасая село от фашистской оккупации. Известная история, да ты, читатель, может, видел фильм «Клинка над Пянджем»? Джовика в нем играет неопиcуемый Халифа Каландаров, командира Климентьева – Дильшод Ходжиев, фашиста Витцеля в Таджикистане никто не хотел играть. Нанимали человека в «Узбек-фильме» за большие деньги. Правдивое кино, но Джовик внедрился в афганскую банду не по заданию уважаемого Мир-Али, как играется в фильме. Немного по-другому все было. Да расскажу сам и, не испытывая терпения вашего, помня наставление умудренного Лутфулло Тутишского: длинное слово – свойство короткого ума.

В 42-м году, в скорбные дни войны, к Джовику явился тайный афганец и так увещевал его:

– Знаем мы, на афганском берегу, о твоей ссоре с могущественным Мир-Али. Знаем мы, на афганском берегу, что уже готова тебе русская тюрьма, сосчитан конвой и смазаны окопы...

– Говори дело, уважаемый сосед, а угрозы оставим нашим женам. Что до моей судьбы, то до последнего дня я отписал ее Всевышнему, меня не подводившему защитнику, – грустно отозвался Джовик. Правду говорили афганцы – ждал он неминуемого ареста. Печаль и гордость теснились в его сердце. Но ведь догадывался Джовик, на что идет, изгоняя с работы начальницу финотдела Сайеру, племянницу Мир-Али, – за кавардак в заемных бумагах. А когда ей заниматься? Рожу красит целый день...

Приник тогда афганец к его уху и шептал:

– Всевышний хранит тебя, но хранит ли хотя бы малюсенький ангел, хотя бы одним мизинцем, остальной Кейбадиан? Близкая смерть ждет любимых твоих глупых кейбадианцев. Да ты, может, вспомнил Сайеру? Хооооо, несчастье! Его (чей?) ум, подобно воробью, неспособен достичь и предгорий его же всем известной храбрости. Не Сайера, Джовик-джон! Порох, бездымной порох, отданный врагу, то есть нам! Об этом донес Мир-Али, и знай, что черешневый Кейбадиан сейчас – тряпичная клеть с перепелами, обкладываемая волками! Наш агент в Сталинабаде сообщил: из города грузовиками сюда движется рота НКВД.

– Рота? Бездымный порох? Врагу? Это неправда! – вскричал Джовик. – Всевышний, это неправда! Где пределы человеческой лжи?!

Ах, Джовик, на тридцать второй зиме жизни изумляющийся людской неправде, – говорит ему автор этих строк, печальный Али ас-Афиф ибн Нурхон аль-Хиссори. Вспомни, Джовик лукавый Пяндж, по линии которого определена граница с Афганистаном. Вспомни, что на днях из-за схода ледника в горах он вновь поменял свое русло, отошел на пятьсот шагов и тем самым отдал афганцам 5 гектаров хлопчатника. Ты, Джовик, с командиром Климентьевым в бессильной ярости метался тогда вдоль отступающей реки. Через день река заняла старое место, но, увы, быстроногие афганцы уже общипали жирный кейбадианский хлопок.

«Тем самым Кабулу, укрывающему эмигрантское окружение бывшего бухарского эмира Алим-хана и его самого, досталось три тонны длиноволокнистого хлопка. Советского хлопка, могущего пойти на производство бездымного пороха благодаря открытию отечественного ученого Менделеева, выведшего новый вид нитроцеллюлозы...» – выводил в тот день Мир-Али, кусая перо и прикрикивая на хнычущую Сайеру...

– Ложь или нет, а русские будут в селе завтра к вечеру, – продолжал тайный афганец. – Будут расстрелы, будут массовые аресты за «связь жителей Кейбадиана с вражеским эмирским окружением», как написал Мир-Али. Вражеским? Давно ли? Не твой ли отец, Джовик, до прихода русских вместе с моим мыл золото на пянджских отмелях, не наши ли предки устраивали веселые конные скачки, не они ли вместе крали хазарейских женщин, стреляли пуштунов, отымали казну у эмирских курьеров? Вы предали нас. И к вам движется возмездие, как оно пришло к Тутишу. Ты слышал?

– Да, – печально кивнул Джовик.

– Двести тутишцев, Джовик, с женами и детьми, крича, умерли на днях в пянджских камышах. Их расстреляла батарея русского кофира Яна Круминьша за, увы, позднюю попытку воссоединиться с нами, братскими афганцами. То же ждет и вас, если не устраните в селе русскую власть вместе с русскими.

– Довольно, я понял тебя, – сказал Джовик. Он опустил голову. Его кейбадианцы представились ему: они скребли руками сибирский лед. Колкая жаркая волна пронеслась по его телу, что, как известно, у мужчин, не обученных плавать, равно неизлечимым слезам. – Я... согласен помочь, – тяжело молвил Джовик. — Что предлагаете вы?

– Мы уже здесь, – шептал афганец, – у старой дамбы. На рассвете отрядом в двести сабель мы взоем над бродом у Нижних порогов на фланге погранзаставы. Ты проведешь нас в село. Если кто что заподозрит, ты, Джовик, назовешь нас народной бригадой взаимодействия по охране границы. Мы спасем кейбадианцев, перебьем жестоких русских.

– Перебьем! – прохрипел Джовик, сжимая кулаки.

– Первый у нас — командир Климентьев, начальник заставы.

– Да ты с ума сошел, афганец! – захохотал Джовик. – Иван мне старый друг и сосед по нардам. Вычеркивай!

– Далее, – шуршал списком гонец, — коммунист Барщиков...

– Всевышний! Он – директор хлопзавода, а за нами, афганец, к декабрю еще двадцать вагонов прессованного хлопка. С ума вы там, что ли, походили, о возлюбленные единоверцы?!

– Воробьев Сэ, Нэ...

– МТС. Горящий пересев.

– Активист Ткаченко...

Ткаченко проводит подписку второго военного госзайма, Цыбин – срочную вакцинацию, Андреева – объезд тифоопасных усадеб, на Подуфалове – вспышка овечьего падежа.

– У вас не поносит овец? — спросил Джовик.

– Наши овцы в прекрасном здравии, — в бешенстве ответил ему афганец, бросая на пол список. – Но с твоих слов, Джовик, выходит, что нам в Кейбадиане делать нечего.

– Почему же, – возразил Джовик, – есть Мир-Али, он ничем не занят.

– О, Мир-Али неприкасаем, он двоюродный племянник сестры ослепительного Алим-хана, подлинного владельца Кейбадиана, – сказал афганец. И случайно выронил слова, с головой выдавшие их черные планы: – Сиятельная сестра Алим-хана просила герра Витцеля оставить в живых из кейбадианцев именно и только Мир-Али. Нет-нет, Джовик, о нем не может быть и речи.

Оцепенел Джовик, закрыл глаза Джовик, все понял Джовик. Если от русских можно увернуться побитым, от звериных соседей пощады не было и не будет никогда.

– Иди на свой берег, афганец, я сделаю все, что ты просишь, – сказал он, радуясь полутьме жилища. – Я буду ждать вас на рассвете у Нижних порогов. Иди же!

Едва афганец шагнул через порог, Джовик взял в одну руку револьвер, другой написал письмо своему другу командиру Климентьеву. Отдал старшему сыну Салиму, вышел из дома и скользкой ниспадающей ложиной побегал вниз. Он торопился туда, где зеркальный Пяндж, накатывая на гранит, падает вниз тоннами грязного битого стекла.

Дальше смотрите фильм – там все правда.

Ах, как ревел Пяндж! Как кричали лошади, валясь на спину, вздымая брызги, как вопили раненые афганцы, затягиваемые к порогам, как спокоен был Джовик. Он стоял по колени в реке, железной, прямой рукой влево-вправо слал гибель афганцам. Он целовал истощенный револьвер, кидал его в воду и, получив десяток жгучих смертей, долго тянулся к воде.

Ах, что за молнии вдруг осветили проходы гор – клинки бойцов командира Климентьева! Они еще в километре, они секут воздух – помогают лошадям разрывать горный, встречный ветер.

– Жора! – плачет в седле Иван Климентьев. Исступленно влетает в Пяндж, врзается в ряды афганцев... Через полгода неизвестные бандиты (афганцы конечно, кто еще!) ночью убьют в постели командира Климентьева и крикливую его жену. Обоих для чего-то скрутят проволокой, как рыбную связку... В ту ночь многие слышали хриплые стоны, раздававшиеся из могилы Джовика.

Да, вот еще что забыли в фильме. Когда убитого Джовика принесли в Кейбадиан и рыдающие сельчане (рыдала и некрасивая Сайера, тайно в него влюбленная) уложили его на ковер, он открыл глаза и сказал Тохиру, заместителю: «Восстанови ее с испытательным на месяц. Косметику топчи...» — и умер окончательно. Вот такой Джовик! Вернулся с полдороги в рай, чтобы позаботиться о кейбадианцах. Уполномоченный НКВД Мир-Али в итоге посоветовался со Сталинабадом и закрыл историю с порохом. На похоронах сказал лучшую речь. Командир Климентьев стрелял в воздух, пока его не взяли под руки. На той стороне толпа афганцев во все глаза следила за все этим...

– Отец тогда показал мне на таджикский берег. Да, мы завидовали вам, Джамшед, из-за роддома, из-за мотоциклов, из-за Джовика-защитника, – говорил старец Зубайд на свадьбе в Кейбадиане. – Люди, не достойные зваться афганцами, лишили мир великого человека. Тем изумительней – говорю не в первый раз – встретить его, через кровь повторенное, величие в твоём лице, Джамшед.

– О, старец, – грустно отозвался Джамшед, – не стыди меня. Где мне одолжить хоть крупицу от достоинств деда?

– Я умолкаю, сынок, за меня говорят кейбадианцы.

«Блистательный, слава Кейбадиана!» – носилось в чернозвездном грохотании свадьбы. Джамшед кивнул Исмату-раису. Толстый Исмаат, свистнув своих людей, кинулся в темноту. За площадкой уже слышатся хриплые крики – началась раздача.

Оттаивает внук Джовика: жирный дым повалит сегодня из очагов, каждый напьется бараньей шурпы, заест толстой лепешкой, выпьет китайского чаю, снесет в кладовую три куса мыла, литр керосина. Джамшед, улыбаясь, трогает плечо Зубайда, чтобы сказать ему об этом, но старец не отзывается – занят разговором с турецким атташе. Улыбка уходит от Джамшеда. Вновь каменеет его лицо, затворяются глаза. Вновь виноградная кисть терзает его громадные пальцы, а морщины – лоб. Какая-то мысль не дает ему покоя? Он отбрасывает виноград и подзывает Рахима – заместителя Исмата.

– А скажи-ка, сельчанин: когда сегодня груз из Афганистана и в каком месте переправа?

– В два ночи, ако, и будет передан у Нижних порогов, – отвечает чернозубый Рахим, склонившись до земли и уложив руки на сердце.

Молчит в задумчивости Джамшед, потом говорит:

– Скажи Исмату – я тоже приду туда ночью, к Нижним порогам. И передай, чтобы он... Но ты чем-то встревожен, кейбадианец?

Хихикает Рахим и склоняется еще ниже. Джамшед угрюмо глядит на него. Затем он встает и быстро идет к выходу. Охрана поспешает рядом, очищая дорогу. Люди расступаются с восхищенными улыбками. Многие тянут руки. Афганцы-телохранители отбрасывают их прикладами, но Джамшед этого не видит. Ускоряя шаг, он несется в село, летит дорогой вдоль сада, в изощренные сплетенья винограда, дувалов и крыш, в любимые переулки, сумеречные сейчас, пахнущие влажной глиной и удушливой мятой. Вверх, вприпрыжку, мимо школы, направо к автостанции и, срезая дорогу, по ложу высохшего ручья. Ноги с детства помнят все его складки. С озорной легкостью Джамшед скачет от горба к горбу. Он ловко избегает травянистых ловушек – за ними лягушачьи мокрые расселины. Каждую из них зато пересчитывает охрана, лязгая оружием.

И вот площадь. Когда-то маленький Джамшед проводил здесь разводы юных пограничников. На этом углу он обходил ряды своих бойцов, ругал отсутствующих, проверял сахарные кости – шефскую помощь пограничным собакам.

Джамшед бежит к трем чинарам. Здравствуй, бобои азизам! Привет, Иван Федорович! Извините, задержался, учеба...

Он кланяется деду, командиру Климентьеву, опускается на колено. За его спиной переминаются афганцы. С внешне бесстрастными лицами они косятся то на русского, то на Джовика, то на его коленопреклоненного великана-внука.

– Муки на пять дней, сахару без счета, говядины – три освежеванные телки, баранины... – рассказывает Джамшед, – пока мало, по килограмму-два. Солярка, керосин будет сегодня ночью. Да... – покраснел он, – хочу я взять в жены Шарофат, внучку старого Зубайда. Она ласковая, шьет, косы... Свадьбу играем у нее – в Хавасте. А? – спросил Джамшед, смахивая с постамента жучков.

– Сухбат, — то ли прошелестела одна из чинар, то ли раздалась неверная трель сверчка. А может, выпало из гранитных уст Джовика?

– Что? — вздрогнул Джамшед. — Сухбат? Это имя? Какой Сухбат?

Не отвечает дед, сжимает каменные губы, сурово глядит на запад, где истончается закат. Только его кулак, в котором револьвер, побелел. Грозный командир Климентьев стоял опечаленный. Взяв друга за плечо, он как будто грустно сощурился. Тихо стало, нехорошо. Даже чинары перестали играть с ночным ветром, замерли.

– Пора мне... – озадаченно сказал Джамшед. Он поднялся с колена и, прежде чем уйти, добавил с показной веселостью: – Ну, а так, спокоен Кейбадиан, сыт и здоров. И здоров... – повторил он уже тихо, морща лоб.

Кивнул охране, они уходят с площади. Но о чем-то не договорил Джамшед, что-то скрыл даже от деда. Он шагает по селу, трясет рукой, думает и тревожно бормочет: «Сухбат, Сухбат...».

Афганцы беззвучно скользят за ним, как скользят за молодым медведем опытные волки.

Ох, Джамшед, ох, Джамшед!

Видел ли кто доселе в Кейбадиане его столь встревоженным? Никто и никогда, мой златоглазый читатель! Даже в Гражданскую войну, когда полевой командир – муджахед Бурихон по кличке Борман стрелял ему под ноги. Он брызгал слюной, требовал прохода в Афганистан. Бурихон бежал из Душанбе. За ним рычащими тигриными стаями неслись отряды Народного Фронта. Много чего натворил он... И никак не уйти было ему и его людям за спасительную границу, кроме как через Кейбадиан или же заоблачным хребтом над ужасной пропастью, хлипкими ненадежными овирингами. Очень он просил Джамшеда дать проход через село.

– Дашь? Дашь?! – орал он, разряжая обойму за обоймой. Джамшед же в это время ел черешню с ладони. – Коммунист! Коммунист! – вопил командир.

А Джамшед все ел черешню, а Борман все стрелял ему под ноги. И когда великан доел все ягоды, то, обтерев рот, заехал Борману в ухо. Робкие кейбадианцы вскрикнули и закрыли от страха глаза. В один миг сто сорок автоматов уперлись в грудь Блистательному.

– Прочь стволы! – с насмешкой сказал Джамшед. — Я – внук Джовика-защитника, слышал о нем? И вот тебе, уже от него. – Он стукнул подымающегося Бормана в другое ухо. А его боевикам заявил: – Таджики, таджики! Что делаете? Тысячами убиваете друг друга! Всевышний без того насыпал нас маленькой легкой горсткой, вам ли, бессовестным, дуть на нее? Уходите! – гневно вскричал он, – уходите овирингами, козьими тропами. Но Кейбадиан не примет вас. Ваши руки в крови, я не буду рисковать своими женщинами и детьми.

Ушли пристыженные муджахеды. Ушли тропой, которая берет начало у крыльца почтамта на окраине села, а заканчивается вверху, за облаками, где звезды легко тронуть рукой. Позже говорили, что до Афганистана дошли не все. А те, кто дошел, устроили резню в первом же селении, доверчиво пустившем их. Метались женщины, плакали дети...

«Небо, небо! – плакали, узнав о том, кейбадианцы, – как жестоко ты! И как великодушно, после Джовика дав нам Джамшеда».

Тревожился ли, дрогнул ли Блистательный, когда неделю спустя воинственные кулябцы из Народного Фронта обложили село? Они требовали солярки и мужчин для войны.

– Эй, внук Джовика! — кричал, сложив ладони у рта, их командир с биноклем на груди. – С тебя двадцать бойцов, всего двадцать. И солярку. Всю. Мы идем встречать врага.

– Всевышний! Негры идут? – хладнокровно спрашивал Джамшед.

– Не негры, Джамшед! – вопил кулябец. – Гармцы-муджахеды идут брать власть!

– Мне таджики не враги, – отвечал Блистательный. – Не ищите у нас братоубийц. Уходите и привет от Джовика-защитника, – и, не целясь, сбил с командира турецкую камуфляжную шапку.

Расстроились кулябцы, ушли, но вернулись на следующий день с танком. Они выторговали его в Душанбе у русского полковника за мешок джиргитальских мелких рубинов. Поставили танк под горкой напротив села, взвели пушку. Командир с биноклем поглядел на часы и дал сельчанам на все про все ровно час времени, в смысле – до вечера.

– Только любя тебя, Джамшед, – сказал он. – К тутишцам, болотарцам, сафедоракцам мы вошли сразу. Их души, освобожденные от тел, уже горько каются в ваххабизме.

Испугались кейбадианцы, прибежали к Джамшеду: отдай нас ему. Мы немножко повоюем, чуть-чуть поубиваем – и прибежим обратно.

Поглядел он на них с ласковой грустью и приказал идти на склад удобрений.

Вечером кулябский командир проснулся, попил чаю, глянул вверх.

– Начинай, – скомандовал он заряжающему. – Иншаалла.

– Воин, – раздался тут голос Джамшеда, – хорош ли твой бинокль?

– Двадцатикратный, с дальномером, – надменно ответил кулябец.

– Наведи-ка его на вершину новой дамбы, – попросил Джамшед. – Что видишь?

– Вижу гору мешков и тебя, с усмешкой восседающего сверху. Вижу, как крутишь в пальцах железную трубку, как вставляешь ее в... в...

– Тротилковую шашку, – закончил за него Блистательный. – А подо мной – две тонны аммиачной селитры. Я сотру дамбу вместе с собой в летучую пыль, освобожу грозный Пяндж, что с ревом потопит все низины до подножья Кейбадиана. Гляди-ка, я поджигаю шнур, огонь бежит до запала две минуты. Говори, воин.

– Ах, Джамшед! – упрекнул его кулябский командир, – мы уходим. Не нужны нам твои бойцы. Везде, даже в Америке, знают: кейбадианцы – трусливые увальни, разбалованные тобой и Джовиком-защитником.

Он только хохотал в ответ...

Но, быть может, отчаивался Джамшед, терял дух и кусал губы, когда в Кейбадиан пришел страшный голод? Народный Фронт с севера, а муджахеды на западе перекрыли все подходы к селу. Играя желваками, они воевали между собой, заходили друг другу в тыл, по флангам, и скоро наступил час, когда от голода заплакал первый младенец Кейбадиана. «Тшш... – укоряла его мать. – Обожди, нетерпеливый. У нас есть Джамшед, и он отыщет тебе молока или джугары для каши. Обязательно отыщет».

К утру следующего дня она уже молчала, вечером – плакала бессильными слезами, тряся резную колыбель. Детский рев залил село. В каждом доме метались заплаканные матери, хмурые, оцепеневшие мужчины смотрели то под ноги себе, то в окно. Там бегал Джамшед.

Сначала он отловил псов, раздал людям. Потом стрелял сусликов, варил их. Собирал ремень, боярышник, готовил зеленый суп. Пришел черед мышей и крыс. О, читатель, не криви губ! Крысы отвратительны, но не в руках Джамшеда. Кто скажет, откуда Блистательный взял это умение? Он, не умевший ранее сварить и пшена. Он варил крыс на жарком огне ровно пятнадцать минут, потом, отбивая запах, тушил с корнем дикого чеснока, листьями одуванчика. Хорошо их ели.

Все, кроме детей. Несчастных рвало с этой пищи, их животы не принимали крыс. И они худели, покрывались морщинами и вот ослабли так, что устали плакать, только смотрели вокруг помудревшими глазами. В одно утро Джамшед внимательно оглядел детей, ущипнул за носы, рассказывая о сморщенном Курбане-лягушонке. Затем велел принести медный кумган. Он вынул чабанский нож, полоснул себе по руке ниже локтя и, встав на колени, до краев наполнил кумган своей кровью.

Когда же разогнулся Джамшед, то в страхе вскричали кейбадианцы: лицо его было бледным, как сметана, голубые глаза почернели. Он поручил давать детям кровь по ложечке и, шатаясь будто пьяный, бросился в Пяндж. Кейбадианцы видели, как страшно била его волна, бросала из водоворота в водоворот, как выполз он на афганский берег и долго лежал там, как, спотыкаясь о ровный песок, скрылся в желтых глубинах Афганистана.

«Так бы поступил Джовик», – с гордостью говорили сельчане.

Но с таким же успехом Блистательный мог бы уйти в ад. Я содрогаюсь, даже рассказывая об этой ужасной стране, а я, читатель, видел и испытал в жизни много злого. И увы... увы, часто отвечал тем же – с великой горечью признает печальный Али ас-Афиф ибн-Нурхон аль Хиссори...

И у меня нет оснований не доверять Йахйе ибн-Лайла, писавшему о тех краях со слов, как известно, Абу ибн-ас-Сулима. И я всегда буду опровергать мнение горячего Зийада аль-Бакка, изучавшего летописи Исмаила ибн-Абу Саффара, который писал со слов ибн-Халида аль-Уллайса. Последний, что ясно и ребенку, просто недопонял толкование географических координат просветленного Хаджжаджа ибн-Зиба.

Афганистан, соглашаюсь я с ибн-Лайла, – край, питающийся гневом и запивающий яростью. Не трогайте здесь камня – он разразится очередью, не ешьте хлеба – он смолот с порохом, не пейте речной воды – она отравлена мертвыми пришельцами, не смотрите на прекрасную афганку – она ударит вам в спину ножом, не ласкайте ребенка – он сжимает гранату за пазухой.

Не раз, в детстве, сидя на молочном пригорке, слушая девичье перешептыванье черешен, я с опаской вглядывался в тот берег. Желтый дым всегда клубится там, в нем мелькают черные тени беспокойных афганцев. Мы боялись их. Я смотрю туда, и мое сердце стучит все сильнее. Но вот оно ухает так, что я почти глохну – ведь из сада бежит ко мне хохочущая Миргуль...

Долго афганцы не трогали нас. Однажды в вечерний Кейбадиан с афганского горного плато залетел снаряд. Он бухнулся у автостанции, убил горбатого Шукура-профорга и ранил Раю – сестру краснолицего майора. Мой отец-ветеринар, разорвав свою рубашку, перевязал ее.

А через двадцать минут над Кейбадианом вспыхнуло и разорвалось солнце. Пяндж мертвенно побелел, а афганское плато с ревом и лягзом потопила пепельно-кровавая волна... Спустя минуту все повторилось: заработала соседняя застава...

До сих пор там не земля, а стекло. Еще сильнее озлобились афганцы, ждали только случая, чтобы отомстить за четыреста жирных овец и сгоревшую траву.

Уже пять лет, как из Кейбадиана ушли пограничники – так решили в Душанбе и Москве.

Джамшед со своими ребятами тем днем стоял навтыжку, гордо и торжественно – провожал русских...

Тени афганцев с тех пор мелькают еще быстрее, они уже сливаются в сплошные черные пятна. Но еще не решаются они тревожить село. Оттого ли, что боятся подросшего Джамшеда, как в свое время боялись Джовика с его другом командиром Климентьевым?

И вот Блистательный сам ушел в те земли. Он хотел вежливо спросить у соседей немного муки и бараньего жиру, а не дадут – взять силой.

«Откуда он ее возьмет, обескровленный? – всхлипывали кейбадианцы. – Убьют его, как воробья, а мы умрем с голоду. Неужто Джовик и командир Климентьев оставили бы нас?».

Скоро на афганском берегу завизжал отчаянный бой. Он то стихал, удаляясь от берега, то, приближаясь, хлопал гранатами. До ночи длилось это все. Кейбадианцы прочитали поминальные молитвы, легли спать заплаканные. Под утро к берегу прибило Джамшеда, обнимающего мешок.

На третий день он очнулся, набрал сумок – и обратно.

«Хоть курутоб покушай», – заботливо кричали ему кейбадианцы, но он только отмахивался.

С того дня он ходил туда, как себе в огород. И сколько же выпало ему! Афганцы изощрались во всей своей афганской хитрости, чтобы умертвить Джемшеда. Вначале сторожили его у Нижних порогов и получили связку гранат сбоку – Джемшед одолел реку выше, у доцеле непроходимых Средних порогов.

Афганцы устроили пулеметные гнезда у Средних и Нижних порогов. Засели там, зорко наблюдая за таджикским берегом.

Джемшед ударил сзади из подствольного гранатомета – до этого он отсыпался в каком-то афганском кукурузном амбаре. Когда муджахеды оттерли глаза, он с двумя мешками кукурузы уже доплывал до родных отмелей.

Коварные соседи минировали амбары, подкладывали тротиловые ловушки в корзины с бараниной – Джемшед обходил такие места за километр. Один раз, например, подвесили пшеничные снопы за бельевые прищепки – будто бы сушиться. Разожми хоть одну – работает подлая растяжка. Джемшед аккуратно посрезал пшеницу по самую веревку и ушел, ухмыляясь.

Однажды преследовавшим его на трех КАМАЗах муджахедам удалось загнать Блистательного в лощину, в тупик меж двух скал. Они засели за холм и били по нему из всего оружия, да все метче, все кучней. Разбили банку со сметаной, разметали по ветру мешки с ячменем. Джемшед же еле мог укрыть голову за пнем горного дуба. И не выманить афганцев на открытую землю. Ждут муджахеды, когда закончатся патроны у Джемшеда, очень они хотели взять его живым.

И вот уже раздаются бессильные щелчки, вот уже к холму летят желтые и зеленые звезды – Блистательный отбивается смехотворной ракетницей, вот в сторону летит она сама. Встали муджахеды в полный рост, смеясь, бегут вниз к Джемшеду. А он встретил их с двумя полными рожками... Не стал он их убивать, разоружил, отправил к мамам, а трех водителей посадил в грузовики. С того дня разгулялся он по настоящему. От Кундуза до Герата узнали Джемшеда...

«Блистательный едет с мукой на родину», – уважительно говорили работающие в поле пуштуны, туркмены и хазарейцы, видя несущиеся, как ветер, грузовики, преследуемые всевозможными бандитами. В само же село враги боялись занести и ногу. Знали – тройне страшен Джемшед, обороняющий родное село.

Много чего было в те славные дни, читатель, да только скажу: с тех пор голод сбежал из Кейбадиана, как в свое время афганские джинны от Джовика. Успокоились матери, обрели достоинство мужчины, розовые младенцы, хохоча, играли с сосками из бараньего жира. А беспокойные соседи запросили дружбы у внука Джовика.

Одним днем явился к нему тайный афганец и так увещевал его:

– Доколе мы, родственные соседи, не отыщем мира, не обретем взаимной любви? Что делаем мы, куда идем?! Мы, чьи предки ели с одного пшеничного поля, испивали из одного братского родника...

– Не твои ли предки переходили Пяндж, чтобы вырезать беспомощных кейбадианцев? – возразил ему Джемшед. – Не они ли убили моего деда и его друга командира Климентьева? Не вы ли сжигали наши школы, волокли за косы наших женщин? А кто зарезал поэта-тутишца – сереброголосого Джунайдулло? Есть, афганец, тысяча невозможностей для мира и любви. Лично мне хватает одной – убитого деда.

Со слезами отвечал ему тайный афганец:

– Твоя правда, Джемшед! Но жестокие времена всегда сменяются мудрыми, а иначе давно б сгинул этот мир! Слышал ли ты, что три президента: русский, таджикский и афган-

ский завтра переговариваются в Мазари-Шарифе? Они уже прибыли туда. И вот для чего: русские готовы в одну неделю вывести всех оставшихся солдат с таджикской границы, мы же, афганцы, обещаем не трогать таджиков, сделать границу рубежом вечной дружбы. Президенты, ты слышал, Джемшед, российский и таджикский готовы открыть нам границы и сердца. Они поручили мне передать это, чтобы смягчился ты, чтобы не препятствовал дружбе. И вот это поручил передать русский президент с голубыми, как у тебя, глазами: «Слышал я о великой дружбе его деда с командиром Климентьевым. Велю я поставить Ивану Федоровичу на его родине, во владимирском селе Ославское, памятник из лучшего уральского гранита. Ему и таджикскому другу его. Славно, неприступно обороняли они южные пороги страны. Но теперь мы должны закрыть лихое прошлое для незамутненного будущего. Оттого хочу я видеть Джемшеда здесь, сейчас, в Мазари-Шарифе».

Изумился Блистательный, сдвинул брови и долго сидел, размышляя.

– Хорошо, афганец. Я буду там, – сказал он.

Афганец ушел. Смутная тревога объяла село. Притихшие кейбадианцы видели, как Джемшед до ночи чистил знаменитые свои пистолеты. Он тер их масляной ветошью и думал, думал. Утром же ушел в Мазари-Шариф.

Что было там, доподлинно неизвестно. Только еще более задумчивым он вернулся оттуда. Но разрешил с тех пор людям из Душанбе передавать афганцам через Кейбадиан оружие и технику. Нередко ночью село теперь вздрагивало и отзывалось яростным лаем собак на грохот железных колонн, поверну обернутых брезентом. У черешневого сада колонны с хриплыми криками встречали афганцы. Кейбадианцы только ахали, выглядывая в окна.

Наутро Джемшед успокаивал их: не тревожьтесь, родные мои сельчане. Мне сказали – это ненадолго, так надо для дружбы...

Скоро в Кейбадиан явился афганский старец Зубайд. Он был прославлен своей мудростью до индийских красных земель. Он целовал Джемшеда, воздымал к небу глаза: благодарение судьбе за то, что мне, старику, собирающему душу к Всевышнему, дано видеть внука Джовика-защитника. Благодарение судьбе за новые чистые времена! Он вел с Джемшем долгие ученые беседы. Рассказывал о дивных странах мусульманского востока. О чудесных краях, где заливы именуются Красными, а моря – Зелеными. Описывал сочинения великого перса – Кутбадина аш-Ширази. С влажным взором говорил о разделении Запада и Востока.

– Наши предки, Джемшед, были мудрее нас. Знаешь ли ты о письме правителя Персии Ильхана Олджайта христианскому королю Филиппу Красивому? «Что может быть лучше согласия! – восклицал Ильхан. – Если кто-либо не захотел поддерживать согласия с нами или с вами, то мы – пусть знает об этом Небо – будем вместе защищаться против него с помощью Неба».

Однажды Блистательный побывал в его селении – Хавасте. Там он увидел дочь мудрого Зубайда Шарофат. Афганская девица вышивала в пальцах огнеглазого дракона. Джемшед вежливо поприветствовал ее. Шарофат кивнула, на мгновение обдав его взором, столь же огненным, как у ее дракона. Оторопел Джемшед. Зубайд же смеялся в огромную бороду.

С ним в Кейбадиан пришли его люди. Они приносили подарки, совали смущенным кейбадианцам отрезки муслина, медные кандагарские подносы. Старый Зубайд поручил своим бойцам охранять Джемшеда: «Ты слишком большая ценность для Кейбадиана. Ведь даже черешневый саженец обмазывают глиной».

С тех пор два афганца неотступно следовали за Джемшем. Хмурился он, но из вежливости не отказывал заботливому старцу. Однажды, во время одной из ученых бесед, когда

он сказал, что трепетная поэтесса Зебуниссо – «это жена египетского султана», старец горестно воскликнул:

– Ах, Джамшед, угнетает меня твоя необразованность. Лишь позолочен ум твой, а должен стать чистым слитком золота. Книги и суровый учитель в Душанбе – вот что нужно тебе!

Через неделю Джамшед собрал вещи в Академию управления. С нехорошим сердцем покидал он Кебадиан, утешал рыдающих сельчан: «Полгода... ждите меня через полгода. Я управлял вами сердцем, а должен – умом. Не печальтесь обо мне, милые кейбадианцы, но я буду печалиться о вас. Вместо себя же оставляю толстого Исмата».

Нарвал черешни и уехал...

И вот он вернулся и стремительно идет ночным селом, с тревогой повторяя: «Сухбат... Сухбат».

Афганцы лунными тенями скользят за ним. Недовольны они. Не к Нижним порогам идет Джамшед, как обещал Исмату, а другой тропинкой, что ведет к Средним порогам. Взволнованный, несется он, обрывая на ходу мокрые травы. Все свежее ночь, все сильнее жалуется невидимый еще Пяндж на гранитные зубья, терзающие ему грудь. Его охрана исчезла, но не замечает этого Джамшед.

И вот – река. Она блестит жидким серебром, черные тени мечутся по ее берегам. Их десять... двадцать... нет, больше, они ведут ночную переправу. Восемь плотов, ударяя шестью, движутся с афганской стороны. С таджикского берега их принимают другие люди. Они возбужденно кричат, ловят веревки, что кидают им с плотов и, падая на спину, тянут их на себя.

Сжав зубы, Джамшед смотрел на все это. Затем крикнул, легко перекрывая грохот порогов:

– Да поможет вам небо, друзья, в благой работе!

Вздрогнули незнакомцы так, как вздрагивают люди с нечистой совестью; суетливо заозирались, схватились за автоматы.

Сбежал с пригорка Блистательный, подходит к ним.

«Он... Он!» – испуганно заговорили ночные люди.

– Приветствую тебя, Джамшед, – раздался дрожащий голос Исмата.

– И я тебя, Исма. О, Рахим, и ты здесь? Вижу с вами также люди мудрого Зубайда? Отправляя меня к Нижним порогам, вы, верно, оговорились в рассеянности. Я отчего-то так и подумал и пришел сюда. Дайте-ка осмотреть муку. Хитрые торговцы иногда мешают ее с кукурузной. А сметану досыпают алебастром, или... Но ты зачем-то встал у меня на пути. Прочь с дороги! – вскричал Джамшед, отшвыривая Исмата рукояткой пистолета.

Взял он один из мешков и взрезал его.

Стон раздался по обе стороны Пянжда, то в испуге и ярости стонали ночные афганцы. Желтый летучий опий хлынул из мешка. Джамшед брал его на ладонь, вглядывался в него, хрипло читал клеймо на мешке: «Кундуз. Лавка братьев Шириншо». Улыбался Блистательный. Страшной была эта улыбка. Даже неистовый Пяндж обмер на мгновение, и звезды запели голосами сверчков. Не выдержали этой тишины афганцы, кинулись в реку. Вслед им загрохотали выстрелы. Крики человеческие смешались с криками речными. Один... второй... третий исчезает в волнах. По колено в воде стоит Джамшед и железной, прямой рукой шлет гибель афганцам.

Безумны его глаза. Новые и новые обоймы влетают, как живые, в его знаменитые пистолеты. Четвертый, пятый, шестой, умоляя небо о пощаде, уходят ко дну.

Остановись, Джамшед! Яви трудное милосердие, пожалей их матерей! – воплю с ними я, печальный Али ас-Афиф ибн-Нурхон аль-Хиссори. Всевышний без того не оставляет несущих зло.

Не останавливается Джамшед...

Но вот полыхнула ночь на афганском берегу. Грянуло яростное завывание, и огненные письма чертят небо – афганцы, придя в себя, бьют по Джамшеду из минометов. Пенные фонтаны заметались вокруг него, вода хлещет его по лицу, но, не переставая, стреляет он.

Только что это? Ой-ой, Джамшед! Сзади на ореховой высотке заколотились автоматы. Это неверный Исма с частью афганцев зашел в спину Блистательному. Застонали прибрежные камни, искры летят из них. Но, не переставая, стреляет Джамшед.

Белой стала ночь. Красным стал Пяндж. Опьяненный опиумом, что ссыпется из мешков, он ревет, как сумасшедший, выбрасывая на берег бесчувственные тела.

– Прекрати бой, несчастный! – раздался голос мудрого Зубайда. Он кричал, спрятавшись за одним из трупов, через портативную радию. – О, нукеры, мои нукеры... Кудрат, Табар... Бойся же, Джамшед, ибо ты огорчил меня!

– Больше я боюсь огорчить кейбадианцев, подлый старец! – отвечал ему Блистательный. – Только приехав, я заподозрил неладное. Но... – Визжащая волна сбила с ног Джамшеда. Еле подымается он, цепляясь за речные камни. – ...твоя хитрость убьет тебя самого, – закончил он, возобновляя стрельбу. Кровь стекает с его лица. – Я покончу с твоими людьми, потом встречусь с тобой. Сомневаешься ли ты в этом?

Смеялся Зубайд.

– Ты глуп, как я могу в этом сомневаться? Но вначале тебя ждет встреча с родными кейбадианцами. Ты удивишься ей.

– Что вы там придумали, хитроумные соседи? – говорил Джамшед, отыскивая в карманах патроны. – Мало ли мы видели от вас горя?

– Это последнее, Джамшед, последнее, – в восторге отвечал Зубайд. – И оно сродни счастью. Белое счастье поселилось в Кейбадиане. Оно примирит наши давние споры. Твои кейбадианцы отныне счастливы навсегда и открыты нам до завершения века. Да ты скоро убедишься в этом – живой или мертвый.

– О чем, это ты, Зубайд? – встревоженно спрашивал Джамшед, бросая в реку истощенные пистолеты и раскидывая врагов огромными кулаками.

Не успел ответить старец, толстый Исма чем-то ударил Блистательного в висок. Закачался он, и туча афганцев набросилась на него. Мелькают их приклады. Встает и опять падает могучий Джамшед, но вот затих, растянувшись на песке...

Очнулся он по горло опутанный веревками, торжествующие соседи повели его в село. Они тянули его за веревку, как мула, плясали вокруг. Исма же убежал вперед, чтобы известить Зубайда о великой победе. Когда прибыли, старец уже поджидал их у колодца напротив сельской управы. Рядом стояли его люди. А за их спинами собрался Кейбадиан. Что-то говорил сельчанам Зубайд, и странно они смотрели на приближающегося Джамшеда.

Поклонился землякам он, старцу же сказал:

– Отпусти спать моих кейбадианцев. Им рано подыматься, ибо растят хлопок, а не маковые заросли. Для чего ты собрал их?

– Они ждут тебя, Джамшед, – сказал старец. – Расскажи им, где мешки толстого Исмата. Где груз с Белым счастьем?

Сотни глаз впились в Блистательного. Мужчины, женщины и дети ждали ответа, сжав губы и кулаки, и вздрогнул он, оглядев земляков. В их взорах он увидел пустоту ярости.

Изумленный, он почувствовал в Кейбадиане неведомую силу – черную и неодолимую. Она висела над домами, шуршала в винограде, мерно капала с колодезного ведра...

С болью смотрел Джамшед в лица сельчан. Он видел заостренные черты, желтые глаза, глубокие морщины молодых, разгладившиеся, блестящие лица стариков. Все понял он.

– Твой ужасный груз я смешал с Пянджем, подлый старец, – вскинул голову Джамшед. – Слушайте, кейбадианцы...

Зубайд повернулся к народу и, улыбаясь, развел руками. Взревел Кейбадиан, затопал ногами. Шипели мужчины, визжали женщины, обрывая на себе волосы. Иные же с надеждой спрашивали: «Скажи, ведь что-то осталось там, у реки? Идем, Джамшед, покажи горстку, отыщи нам щепотку – и мы, как прежде, восславим тебя».

Опустив голову, молчал он. И тогда единый крик сотряс небо: «Жестокий предатель! Ты лишил нас Белого счастья. О, как болят наши тела, как выворачивает души! Джамшед, Джамшед, что сделал ты? Тебе плевать на наши мучения. Уходи от нас. Мы не хотим знать тебя, Блистательный! Нет, ты не Блистательный отныне. А ты...».

Камни и карагачевые ветки полетели в него. И даже дети, брызжа слюной, швыряли в него глиной. Джамшед же продолжал смотреть себе под ноги. Не уворачивался он от камней. Будто оцепенел Блистательный. Будто кто-то вынул разум из него и он силится осознать уже несознаваемое...

Разбуженные криками, из здания управы вышли гости. Они кутались в ватные халаты, зевали, с улыбкой наблюдали за необычной картиной. Толстый Исмаат рассказывал им что-то, и пакистанский генерал заливался шакальим дробным хохотом, а душанбинец Равный Министру в восторге хлопал по ляжкам турецкого атташе.

Зубайд, также возвеселившись, сказал Джамшеду:

– Я великодушной тебя, я дам им по щепотке Белого счастья. Из личных запасов. Кто же после этого из нас Блистательный? Но прощай, тебя сейчас отведут к речке. Кланяйся Джовику-защитнику, – и он дал знак двум людям, тем самым, что некогда охраняли Джамшеда.

Ахнуло кейбадианское небо. Отуманились звезды. Ночь выдохнула шелестящим ветром, что прошелся по селу, как ладонь матери проходит по лбу больного ребенка. Запахло цветеньем черешни. Потянул воздух Джамшед и пробормотал: «Сухбат...».

– Что же, старец, тебе удалась твоя хитрость, – сказал он. Насмешливая гордость вновь вернулась в его глаза. – Но прежде смерти хочу я увидеть Сухбата.

И не дожидаясь согласия, зашагал по улице.

Афганцы посмотрели на Зубайда и двинулись за ним.

Мальчик, его родители умерли, едва родив его, жил у клуба, в доме своего дяди, возчика арбы Шерназара. Арбакеш валялся у порога бессознательный, забвение играло на его устах.

Джамшед перешагнул его.

– Эй-ей, – сказал он. – Сухбат-джон.

Мальчик находился на зимней кухне. Он полулежал на большой связке хвороста. Его руки свисали до земли, и палец его что-то чертил в пыли. Закопченная ложка валялась у его живота. Сильно пахло уксусом.

– Приветствую тебя, Блистательный, – сказал он. – Мне надо было увидеть тебя.

– И мне, – ответил Джамшед. – Но не Блистательный я, — добавил он, вспомнив сельчан.

Мальчик же возразил ему:

– Не таись, Джамшед. Мне не выдать тебя, ведь я живу последними мгновениями. Я давно разгадал тебя. Ты заманил афганцев обманчивым согласием. Сейчас ты умчишься к

реке со знаменитыми пистолетами. А затем туда прискачет командир Климентьев. Вай-дод! Крики, вода, сабли... сабли! – сжал кулаки мальчик. – И как же ты не Блистательный? – упрекнул он.

– Это правда, – согласился Джамшед, взглянув в безумные его глаза. – Я схитрил с врагами, как дед. Сейчас, уйдя от тебя, я ударю по ним, прогоню их за Пяндж. Прости, что задержался... – сказал Блистательный, взяв мальчика за руку.

– Зубайд приучил нас к Белому счастью. Он сказал: это нам за предательство, – сказал Сухбат. – Теперь, – сказал, – нам нужно очиститься долгой болью.

– Потерпи. Сейчас... – ответил Джамшед. – Я уже иду. А командир Климентьев порубает их всех в ослиный хворост.

– Да живой ли он? – что-то вспомнил мальчик.

– Другие там есть, – сказал Джамшед. – Вот ты, Сухбат, и разве ты один Сухбат в Таджикистане?

– В ослиный?... – засмеялся Сухбат.

Джамшед захохотал в ответ и рубанул огромной ладонью по столу.

В кухню заглянули афганцы: «Нам пора, Блистательный».

– Сейчас... – пообещал Джамшед.

Мальчик кивнул, успокоенно откидываясь на хворост.

Через полчаса, возвращаясь в село, один афганец сказал другому: «Жаль все же, что любая храбрость имеет пределы...».

– О чем ты? – спросил его второй афганец.

– Видел, как Джамшед у чинар на площади остановился и заплакал?

– Жить хочет каждый, – заметил второй афганец.

– Каждый, – согласился первый афганец. Они закинули под языки жгучий насвай и зашагали в село.

Рассветает уже. Какая-то птица журчит в предутренних облаках. Джамшеда душа? Летит к деду с поклоном? Но кружится пока, не улетает. Под ней – холмы в сизой дымке, будто осыпанные золой, на одном из них – лиловые домики Кейбадиана. Они вздрагивают во сне под огромными желтыми шапками кормового сена. Если смотреть снизу от реки, то село умещается в мохнатом кольце одного лишь карагача. Сверху же кейбадианцы, идущие с гор с хворостом, неизменно поражаются его слитой с синевой бесконечностью. Спит Кейбадиан, его сны летают среди гор, его крыши почесывают серебряные тополя. Почему здесь, а не в гиблой пустыне моя родина?! Иметь такую, читатель, это несравненное, всегда неумеренное счастье! Но Всевышний больно и справедливо наказывает нас за каждую неумеренность. И горе, если это наказание запаздывает. Ибо все невыжженные чрезмерности мира, хорошие и дурные, большие и малые, сливаются в одни подземные черные воды. В один же день, вырываясь, они заливают мир ужасными, смутными временами...

Так утверждаю я, печальный Али ас-Афиф ибн-Нурхон аль-Хиссори и завершаю этот рассказ.

Алексей Торк (Алишер Ниязов). 33 года. Родился в Душанбе. После службы в армии недолго работал шлифовщиком, потом устроился на службу в газету «Вечерний Душанбе» и с тех пор занимается журналистикой. Работал корреспондентом ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» по Казахстану, Таджикистану и Киргизии, сотрудничал на телевидении, в газетах г. Иваново, где прожил около года, безуспешно попытавшись переехать в Россию. Сейчас работает в Бишкеке на телевидении. Рассказы начал писать с 2000 года, хотя склонность к писательству имел с юности. Как выразился он сам, «раньше мешали проблемы с «самоидентификацией», путала внутренняя борьба культур, унаследованных от матери-сибирячки и отца-таджика. Потом сложил две культуры и получил кучу творческих тем. Пытаюсь говорить о человеке, которого раньше звали имперским, потом советским, а сейчас в пору называть евразийским».

КИРГИЗСТАН В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

На Тянь-Шане

Тишину долины карауля,
Встала цепь небесных гор над нами,
Голубая чаша Иссык-Куля
Свежестью ночной полна с краями.

Лодочник по борту весла бросил.
Перепев комуза смолк печально.
Синяя вода стекает с весел.
За крутым бортом звенит хрустально.

В темной глади отразилась млечность
Трепетных свечений небосвода.
Будто в эту ночь открылась вечность
Взгляду человеческого рода;

Будто ледники с отливом стали,
Растворились в холоде Вселенной;
Будто мы душой мудрее стали
В созерцанье красоты нетленной;

Будто от Тянь-Шаня до Памира
Слышен шорох звездного обоза...
Лаем псов и криков бригадира
Нас на землю возвратила проза.

Тишину долины карауля,
Ввысь вздымались горы-великаны.
Над гигантской чашей Иссык-Куля
Плыли предрассветные туманы.

СЕМЕН ЛИПКИН

На Тянь-Шане

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.
Издалека занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.
В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами – туман. За туманом -
Вы подумайте только – Китай!
В этот час появляются люди:
Коновод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.
День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник,
И опресноки в юрте пекут.
Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.
Не соринка в глазу, не слезинка, -
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

В 1995 г. в Москве вышла книга воспоминаний Липкина «Вторая дорога». Именно она обнажает душу талантливого писателя и рисует его время, так как видел и чувствовал его художник. Его взгляд не прошел и мимо красот нашего края. Он сумел увидеть прекрасное не только с наружи, но и проникнуть в самые глубины. Он говорил о душе с высоты Тянь-Шаньских гор и о красотах природы с высоты души.

Сегодня Липкин как поэт, прозаик и мемуарист заслонил Липкина-переводчика. Один из наиболее известных переводов Липкина – киргизский эпос “Манас”, по поводу которого старый сказитель наказывал Липкину: “Нельзя манасчи грязную душу иметь. Даже если ты русский манасчи, ты должен чистую душу иметь. Нельзя манасчи грязную душу иметь. Манас накажет”. Завет старого сказителя Липкин выполнил, и не хотелось бы, чтобы его переводные труды забылись.

Родился 6 сентября (19 н.с.) в Одессе в семье рабочего. Детские и юношеские годы прошли в родном городе, где окончил школу.

В 1929 г., переехав в Москву, публикует свои стихи в газетах и журналах. С 1931 г. его произведения перестают печатать. Изучив персидский язык, с 1934 г. занимается литературными переводами с восточных языков. В 1937 г. окончил московский инженерно-экономический институт, но продолжал профессионально заниматься переводческой деятельностью.

Липкин известен как переводчик лучших образцов национальной литературы: он перевел калмыцкий эпос «Джангар» (1940), киргизский эпос «Манас» (1941), кабардинский эпос «Нарты» (1951), поэмы А.Навои «Лейла и Меджнун» (1943) и «Семь планет» (1948), поэму Фирдоуси «Шахнаме» (1955), произведения М.Турсун-заде, Айбека и др.

Переводческий опыт поэта сказался в его оригинальных стихах, которым, наряду с замечательным версификационным мастерством, присущи некоторая отстраненность от современного состояния языка и поэзии и излишняя рационалистичность.

ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ

Слово о Киргизии

За иссык-кульскою волной,
за снежно-белою горой,
за дивной ширью полевой,
Киргизия,
сестра моя,
характер вижу твой.

Ты нежна к братьям и друзьям.
внимательна к своим гостям,
непримирима ты к врагам.
Киргизия,
сестра моя,
я это понял сам,
когда я странствовал в горах,
когда сидел я на пирах,
когда я выступал в цехах...
Киргизия,
сестра моя,
твой путь в твоих руках.
Как две лозы переплелись, –
киргизов даль, России высь;
России даль, киргизов высь, –
как две лозы переплелись.
Киргизия,
сестра моя,
давно навеки мы сошлись.
Как две лозы переплелись.

НИКОЛАЙ УШАКОВ

Киргизия, ты снишься мне

Киргизия,
ты снишься мне
пастушкой конной
в платье красном
там – на зеленой крутизне,
где даже пешему опасно.

Такси мне снится над водой –
оно бежит вдоль Иссык-Куля.
В незабываемом июле
То озеро мы обогнули, в
ернувшись южной стороной.

В шестидесятые года здесь
только строилась дорога...
Но близлежащего отрога
Нас привлекала высота.

Мы ехали с одной целью –
увидеть древнюю страну.
И вертикальные ущелья
нам открывали глубину.

О юности без увяданья
нам говорило горячо
целительное содержанье
из трещин льющихся ручьев.

В теснине буйно клокотала
река стремительная – Чу.
До Сыр-Дарьи не добежала...
О пристанях и о вокзалах
и я все меньше хлопочу.

Диван домашний,
постоянно
соседних улиц – двух иль трех,
но тем милее мне пространства,
которые в душе сберег.

БОРИСЛАВ СТЕПАНЮК

Здравствуй, Киргизия!

Узнала...
Припала ко мне головой.
Взволнованно сердце забилося в груди!
Нет, кровь на шинели моей фронтовой
Снега не смели и не смыли дожди...

И мне материнской слезы не забыть:
Пока я на свете дышу и живу,
Течет по щеке серебристая нить,
Течет по пустому навек рукаву.

За Доном гремел, раскаляясь, металл,
Дыханье войны долетело в твой край,
Когда во весь рост и поднялся, и встал,
И на амбразуру пошел Чолпонбай.

Ты черточки сына искала во мне
И, кажется, что-то родное нашла:
Не зря ж на перроне, как мать, как эне,
Рыдая, чужого, меня обняла.

И помнится, помнится мне до сих пор,
Как в юрте, присев неприметно в углу,
Эне расстелила для гостя ковер
И первую мне подала пиалу.

Вечернее небо пылало в огне,
Дышало далекой военной грозой...
Киргизия – мать! Ты навеки во мне –
Недаром кровинка слилась со слезой.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Кочевники

У юрты ждут
оседланные кони.
Стоит кумыс на низеньком столе...
Я знал давно,
я чувствовал,
что корни
мои –
вот в этой,
пепельной земле!..
Вскипает чай,
задумчиво и круто
клубящегося пара торжество.
И медленно
плывет кумыс
по кругу.
И люди величаво
пьют его...
А что им стоит
на ноги подняться,
к высокому порогу подойти.
«Аида!»
И все.

Минут через пятнадцать Они уже
не здесь.

Они – в пути...
Как жалок и неточен
Был
учебник!
Как он пугал меня!
Как голосил:
«Кочевник!» –
Да я и сам

кочевник!
Я сын дороги,
Самый верный сын...
Все в лес

смотрю –
И как меня
ни кормят,
и как я над собою
ни острою, –
из очень теплых
и удобных комнат
я
в лес смотрю.

Все время в
лес смотрю!
То – север,
то – большое солнце
юга!

То – ивняки,
то – колкое жнивье...
И снова

я раскладываю
юрту,
чтобы потом опять
собрать
ее!..

Приходит ночь.
И вновь рассветы брезжат,
протяжными росинками
звоня...

И подо мной,
как колесо
тележье,

поскрипывает
добрая
земля.

И майских тюльпанов багряно-неистовый цвет,
И лиственный трепет садов, в золотом изобилье.
...Киргизская песня, как жаль мне далеких тех лет,
И как мне отрадно, что в жизни моей они были!

И все же открытиям моим не приходит конец:
Ты, край родниковый, оправленный в горные кручи,
Еще мне не раз открывать здесь богатство сердец,
Еще удивляться звучанию строчек певучих!

Краски дня

К синеве ребристых скал
Протянулась дымка мглисто.
В белой шапке аксакал
На коне, на золотистом.

Скачет лихо, налегке,
В светло-желтом освещенье,
Вброд по голубой реке,
Вдоль лилового ущелья.

Где под ветром, взор маня,
Трав зеленое сплетенье,
Маков алое кипенье.
Тишина цветного дня
Зазвучала вдохновеньем.

Чтоб воспеть мне гребни скал,
Тех, что скрылись в дымке мглистой,
И тебя, что ускакал
В белой шапке, аксакал,
На коне, на золотистом!

РУВИМ МОРАН

В горах

На Тянь-Шане, по пути к Нарыну,
Житель среднерусской полосы,
Наблюдал я редкую картину
В утренние светлые часы.

Но сначала об Орто-Токое
Дать я вам понятие хочу:
Есть водохранилище такое
На реке с чудным названьем Чу.

Ветерок его чуть-чуть взьерошил –
И уже барашками полно,
Словно луг, ромашками заросший,
Зарябило издали оно.

А налево от речной долины,
Там, где кряж полнеба пересек,
Видел я из грузовой кабины
Сразу – тьму и свет, грозу и снег.

Громоздились пики, скалы, скаты –
Исполинский каменный завал.
Мир – в лучах и дымке, полосатый,
Ничего от взоров не скрывал.

Там – свисали вниз, подобны клиньям,
Облачные грязные сосцы,
Тут – сияло солнце в небе – синем,
Как мечетей древних изразцы;

Там – вспухал туман опарой серой,
Тут – клубился знойным вихрем прах;
Меж земной корой и атмосферой
Все творилось на моих глазах.

И своей сумятицей томимый
Позавидовал я этой зримой
Рериховской резкости тонов,
Разговору без обиняков
И порядку в путанице мнимой.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Киргизия

Вперемежку новое со старым,
Пыль кочевий.
Комнатный уют.
Долгих песен тучные отары
вековыми тропами бредут.
По-киргизски щурятся лукаво
узкие просветы в облаках.
Зной да травы,
беркуты да травы,
да поводья потные в руках.
Да шальные вихри
в два обхвата
выгибают шеи в небесах,
где восход сменяется закатом,
как в пылу борьбы на поясах.
Помню,
туча в грохоте и гуле
молнии держала на весу,
и лежал туман над Иссык-Кулем,
будто бы повязка на глазу.
Но гроза сникала, затихая,
и в тревожных сумерках
сильней
проступали лисьи малахаи
вдалеке роящихся огней.
Пиалами выплывали луны,
пиалами,
льющими кумыс,
и напев подстегивали струны:
кто не ладит с песней – не киргиз!
Нет, на степи не теряю прав я!
Пусть же вновь,
хоть я и не джигит,
мне медовый запах разнотравья
голову, как женщина, вскружит.
К сердцу,
к думам подступая тайно,
пусть меня.
уставшего от слов,
вновь окликнет резко и гортанно
вольный край акынов и орлов.

ВЕРОНИКА ДОЛИНА

Певчее слово твержу: пиала.
Чаю я, что ли, совсем не пила?
Но пиала – это слово поется
Как – пианола, виола, юла...

Где леденеет скула, как скала
(В край тот впервые судьба привела),
Там обласкает, напоит, согреет
Стылую душу мою – пиала.

Там я желанною гостьей была.
Сразу Киргизия в память легла:
Небо над нею стоит голубое
Как перевернутая пиала.

ТАМАРА ПОНОМАРЕВА

Из Тянь-Шанской тетради

1

Джеты-огуз. Разбитое сердце,
Что приняло облик скалы.
Киргизия, ты словно дверца
В мир гор, где кочуют орлы.

Какие же нужно лишенья
Познать, чтоб добро всем дарить!
Сердечность твоя – отношенья
Как должно и жить, и любить.

В легендах твоих и сказаньях
Ищу вековые черты.
Киргизия, ты – воспитанье
Душевности и теплоты.

Уеду, конечно, уеду!
Мой дом далеко от тебя.
Разбитое сердце поэта
Напомнит тебе про меня.

2

Словно белых овец стадо разбрелись
По горным вершинам Тянь-Шаня.
Как видно, и мы высоко забрались,
Ведомые нашим призваньем.

Как видно, не случайно далось
Постичь небеса и равнину,
Чтоб сердце уже никуда не рвалось,
Достигнув желаний былинных.

Но в том-то и дело – судьба такова,
Чем больше дано ей, тем строже
Качает она нам безмолвно права,
Неправое с правым итожа.

Но в том-то и дело – чем горы трудней,
Тем, значит, закалка сильнее,
Тем, значит, с горы той нам дальше видней,
Но... хочется знать, что за нею!

УОЛТЕР МЭЙ

Киргизская юрта

В магическом кругу сажу, оцепенелый,
Над головой моей небесный синий круг...
Как беспределен он – узорчатый и белый
Мир войлочных ковров, творенье щедрых рук!

Я скован чарами поры тысячелетней,
Что и самих себя как будто бы древней...
О, юрта, не впускай в свой круг ни зной, ни ветер,
И стой еще века здесь, на земле своей.

Да, это памятник совсем особой жизни...
Кочесвников в степи по кругу вольный бег,
«Кружусь вокруг тебя» – так языком осмыслен
Прожитый на земле – своей, любимой, – век.

Какой умелец смог придумать эту форму,
Гармонию вдохнуть в немислимый узор?
Терпенье и любовь – оглаской этих формул
Служить науке мог бы красочный ковер!

Все по уму – ремни, скрепляющие ребра, –
Иначе не назвать каркас округлых стен,
Он прочен, он веков испытанная проба,
Он – слепок вечных гор, их выкормыш и тень.

Висят на стенах плетель, ружье, седло, уздечка,
Под ними – колыбель, и в ней дитя поет...
Единством связан смысл текущей жизни вечной,
Вот, юрта, – символ твой, и счастье, и полет!

А круг над головой, – как колесо телеги, –
Кружась, выпускает свет и дарит небу дым.
И, глядя ночью вверх, следишь за мерным бегом
Такой огромной, близкой, праздничной звезды...

Чуть свет, – все поднялись, и вот – в узлы и тюки
Дом сложен, чтоб коню под силу увезти...
Небесный синий круг раздвинут. Ветер гулкий.
Поет, как мир широк на солнечном пути.

ДАВИД МАРКИШ

ЗА МНОЙ: ЗАПИСКИ ОФИЦЕРА-ПРОПАГАНДИСТА

Из дневника

Там, на Севере, среди солдат срочной службы, я вдруг и себя почувствовал двадцатилетним и оборотился к тем временам, когда безоглядно и радостно рисковал жизнью на памирских ледниках и кручах – ради этого живительного ветра смертельного риска, который и делает, с точки зрения двадцатилетних, мужчину мужчиной... Мне сладко кажется, что мне двадцать... Риск уравнивает нас. И ветер с Джебель-Барука пахнет Памиром – любовью моей жизни. Там, на Памире, я рисковал двадцатилетним четверть века тому назад. Коченея

от восторга, я выслушивал историю о том, как ледник Федченко перемалывает людей в кровавый фарш в своих подвижных трещинах, – и шел на ледник. Я карабкался на шеститысячник, не доходя снежного перевала Тюя-Ашу – не имея опыта, ни снаряжения. В Заалайском ущелье, перед перевалом Терсагар, лошадь из-под меня ушла в пропасть, а я, уцепившись за камни, болтался над полукилометровым провалом – пока не посчастливилось мне дотянуться до арчового корня, гибкого и крепкого, как канат. Я рисковал. Никто не гнал меня на Памир – это прекрасный полигон риска. Я рисковал по собственной воле, потому что хотел приблизиться к той грани, которая хрупко отделяет жизнь от смерти – приблизиться, но не пересечь. О том, что за гранью, я не думал ни мгновенья: безоглядный мой риск не имел ничего общего с самоубийством. Я желал испытать жизнь. Смерть я просто не принимал в расчет, как будто ее не было вовсе. Время Памира – памирской охоты, сумасшедших речных переправ, зимнего восхождения на Великий ледник, когда, протащившись полсотни метров, падаешь, задыхаясь, на оледенелый снег и вжимаешься в него лицом, вгрызаешься зубами – это время осталось лучшим, светлейшим и прозрачайшим временем моей жизни.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ДАР

(отрывок из романа)

Как бы то ни было, но я убежден ныне, что тогда наша жизнь была действительно проникнута каким-то волшебством, неизвестным в других семьях. От бесед с отцом, от мечтаний в его отсутствие, от соседства тысячи книг, полных рисунков животных, от драгоценных отливок коллекций, от карт, от всей этой геральдики природы и кабалистики латинских имен, жизнь приобрела такую колдовскую легкость, что казалось – вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья. В кабинете отца между старыми, смиренными семейными фотографиями в бархатных рамках висела копия с картины «Марко Поло покидает Венецию». Она была румяна, эта Венеция, а вода ее лагун – лазорева с лебедями вдвое крупнее лодок, в одну из коих опускались по доске маленькие фиолетовые люди, чтобы сесть на корабль, идущий поодаль со свернутыми парусами, – и я не могу отделаться от этой таинственной красоты, от этих древних красок, плывущих перед глазами как бы в поисках новых очертаний, когда теперь воображаю снаряжение отцовского каравана в Пржевальске, куда обычно сам он прибывал из Ташкента на почтовых, вперед отправив на протяжных груз запасов на три года. Его казаки по соседним аулам закупают лошадей, ишаков, верблюдов; готовились выючные ящики и сумы (чего только не было в этих веках испытанных сартских ягтанах и кожаных мешках, от коньяка до дробленого гороха, от серебра в слитках до гвоздей для подков); и после панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальского, увенчанной бронзовым орлом – вокруг которого безбоязненно располагались местные фазаны, – караван трогался в путь.

Я вижу затем, как, прежде чем втянуться в горы, он вьется между холмами райски-зеленой окраски, столько же зависящей от их травяного покрова, кипца, сколько от яблочно-яркой породы, эпидотового сланца, слагающей их. Идут гуськом, эшелонами, плотные, сбитые калмыцкие лошади: парные, ровного веса выюки охвачены арканом дважды, чтобы не ерзало ничто, и каждый эшелон ведет за повод казак. Впереди каравана, с берданкой за плечом и сеткой для бабочек наготове, в очках, в коломянковой блузе, верхом на белом своем тропотуне едет отец в сопровождении джигита. Позади же отряда – геодезист Куницын (так я это вижу), величавый старик, невозмутимо пространствовавший полвека, со своими инструментами в футлярах – хронометрами, буссолями, искусственным горизонтом, – и когда он останавливается, чтобы делать засечки да записывать азимуты в журнал, его лошадь держит препарат, маленький, анемичный немец, Иван Иванович Вискотт, бывший гатчинский аптекарь, которого мой отец когда-то научил приготовлению птичьих шкур и который с тех пор участвовал во всех его экспедициях, покамест не помер от гангрены летом 1903 года в Дын-Коу.

Далее я вижу горы: хребет Тянь-Шань. В поисках перевалов (нанесенных на карты по расспросным данным, но впервые исследованных отцом) караван поднимался по кручам, по узким карнизам, соскальзывал на север, в степь, кишевшую сайгачатами, и поднимался опять на юг, тут переходя вброд потоки, там стараясь пройти в полную воду, – и вверх, вверх по едва проходимым тропам. Как играло солнце! От сухости воздуха была поразительно резка разница между светом и тенью: на свету такие вспышки, такое обилие блеска, что порой невозможно смотреть на скалу, на ручей, в тени же – мрак, поглощающий подробности: так что всякая краска жила волшебным умножением жизнью, и менялась масть лошадей, входивших в тополеву прохладу.

От гула воды в ущелье человек обалдевал; каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова; вода мчалась со страшной силой, гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней, и с трех саженей высоты, из-под радуг рухнув во мрак, бежала дальше уже по-другому, клокоча, вся сизая и снежная от пены, и так ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератного каньона, что, казалось, не выдержит гудящая крепь горы, по скатам которой, меж тем, в блаженной тишине цвели ирисы, – и вдруг из еловой черни на ослепительно альпийскую поляну вылетало стадо маралов, останавливалось трепеща... нет, это лишь воздух трепетал, – они уже скрылись.

Хотя отец фольклора недолюбливал, он, бывало, приводил одну замечательную киргизскую сказку. Единственный сын великого хана, заблудившись во время охоты (чем начинаются лучшие сказки и кончаются лучшие жизни), заметил между деревьями какое-то сверкание. Приблизившись, он увидел, что это собирает хворост девушка в платье из рыбьей чешуи; однако не мог решить, что именно сверкало так: лицо ее или одежда. Подойдя с ней к ее старухе матери, царевич предложил дать калым кусок золота с конскую голову. «Нет, – сказала невеста, – а вот возьми этот мешочек – он, видишь, едва больше наперстка, да и наполни его». Царевич рассмеявшись, («И одна, – говорит, – не войдет»), бросил туда монету, бросил другую, третью, а там и все бывшие при нем. Весьма озадаченный, пошел к своему отцу. Все сокровища собрав, все в мешочек побросав, хан опустошил казну, ухо приложил ко дну, накидал еще вдвойне, – только звякает на дне. Призвали старуху: «Это, – говорит, – человеческий глаз, хотящий вместить все на свете», – взяла щепотку земли, да и разом мешочек наполнила.

ДИНА РУБИНА

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ

(отрывок из романа)

...И целая эпоха в моей жизни: Иссык-Куль... Огромное синее озеро в груди Тянь-Шаня. Поселки вдоль берега, привычные названия детства: Чолпон-Ата, Рыбачье, Ананьевское...

Мы облюбовали Чолпон-Ата. Мой отец, в то время студент художественного училища, оказался там на практике. Он был потрясен красотой и дешевизной горного края киргизов. Написал мне письмо крупными буквами:

«Диночка! Здесь море синее-синее, белый песочек...» – мне было четыре года, я уже умела читать. Много болела...

Словом, велел матери приезжать.

Так я впервые оказалась на берегу этого, и вправду синего, безбрежного, окаймленного многослойными грядами снежоголовых, а ниже – пепельно-синих, и вдоль воды – карминно-бурьтх гор, – красивейшего из озер мира.

Чуть ли не в первый вечер я потерялась в поселке, – вернее, просто ускользнула от взрослых... Уже тогда я норовила оторваться от провожатых. Родители заносили чемоданы в дом, устраивались в комнате, снятой у тети Насти, я же вышла со двора и просто пошла и пошла... отправилась самостоятельно гулять по главной улице, вдоль которой выстроились все достопримечательности поселка – сельмаг, аптека, клуб, школа, сельсовет, баня... Это была длинная сельская улица, обсаженная тополями, по ней можно было идти долго, интересно и очень далеко... Я забрела бог знает куда. Как и где меня нашли обезумевшие от поисков родители, не помню, – кажется, на школьной волейбольной площадке, – но то чувство упительного странничества, вольности, отчужденности и безотносительности ко всему миру, которое сопровождает меня всю жизнь, везде, где бы в своих путешествиях я ни оказалась, было в тот раз испытано, вероятно, впервые, если я запомнила его так остро и потрясенно.

Впрочем, в семье хранится фотография, свидетельствующая о более ранней попытке к бегству. На ней я, двухлетняя, в большой мужской шляпе, почти поглотившей всю мою лысую, обриту в недавнем тифу, голову, вольно и решительно (одна нога занесена для шага, другая уже в пути) иду – как точно говорит моя мама, иронически посматривая на это фото, – *восвояси*... Поодаль, перед рядами сидящей на скамейках публики, стоит мужчина в белой рубашке и широких брюках, протягивая вперед руку и разевая рот, – дело происходит на импровизированном концерте эстрадной песни, на танцплощадке дома отдыха «Брич-Мулла», в горах Чимгана... Вызвался дядечка спеть, говорит мама... Действительно, приятный, хотя и невеликий тенор... Вдруг ты скользнула с моих коленей, схватила со скамейки его шляпу, надела на свою ушастую тыкву и двинулась в путь. Я не стала тебя останавливать, хотела посмотреть – насколько далеко уйдешь. Потом пришлось-таки остановиться... Пыталась выяснить у тебя – зачем в таком серьезном походе нужна явно чужая и явно мужская шляпа... –ты не отвечала. Все хохотали, видишь, это видно и на фото... а кто-то сделал снимок, в общем, уникальный, – в то время совсем не у каждого в руках был фотоаппарат...

Хозяйку нашу звали Настей, и это – целая череда летних месяцев. На маленьком местном базарчике мама покупала кур, и тетя Настя рубила им головы. Она это делала очень буднично: зажимала курицу между колен и тюкала по голове топором. Одна из таких, уже посвященных в суп, вырвалась у нее из рук и гоняла по двору без головы, но с двуглавым фонтанчиком крови, пульсирующим из шеи, и вот это произвело на меня одно из самых неприятных впечатлений в жизни. Не от жалости – я никогда не испытывала никаких сантиментов по отношению к этим созданиям. Но было что-то кощунственное в этой движущейся незавершенности... – умри уже, умри!

Затем их ощипывали и потрошили. В наваристом бульоне плавали обнаруженные в курице недояички – желтые, вкусные, мучнистые на раскус шарики разной величины.

Почти каждое лето (мы редкий год изменяли Иссык-Кулю, а изменив, с удвоенной любовью возвращались туда на будущий год) мы уходили в большой поход, в горы. Инициатором подобных утех всегда была моя неугомонная мама. Среди мужчин в компании обязательно находился кто-то, кто в студенческом возрасте ходил в турпоходы, умел ставить палатку, разжигать костер и варить суп из тушенки. Собирались несколько дней, выступали с торжественностью федеральных войск, вышедших из форта на тропу индейцев: несколько женщин со старшими детьми, пожилой преподаватель физкультуры Игорь Яковлевич, студент на каникулах Саша и Ирма Степановна, энтузиастка...

Однако, как это ни смешно, но альпийские луга я увидела впервые именно в этих походах.

И блеск и грохот высокого и узкого, кинжалом вонзившегося в озерцо, водопада, объятая дымящейся водяной пылью, и толстого сома под скользкой корягой в ручье... А помнишь ты, ироничная старая дура, как с вечера вы поставили палатку, а утром ты первая вышла и замерла; весь склон горы перед тобой пламенел алым, и только что взошедшее солнце накаляло этот цвет до нестерпимого радостного вопля, который зрел-зрел, и вдруг вырвался на волю из твоей вечно ангинной глотки?.. И это маковое поле, и горы с альпийскими лугами, и цветы, высотой с тебя, десятилетнюю, это и есть, – ироничная старая дура, – это и есть счастье твоей жизни...

Интересно – куда подевались все эти люди...

Вот Ирма Степановна, энтузиастка... Женщина лет пятидесяти, наша ежегодная соседка по тети Настиному двору... Мне вспоминается один эпизод, на пляже... Она купила сметану в баночке и тщательно намазала лицо, оставив только подглазные круги. Получилась довольно устрашающая маска. Круговыми движениями пальцев она вколачивала сметану в дряблые щеки и шею. Мне было лет двенадцать, и я с любопытством следила за ее руками, совершающими плавные танцующие движения по коже лба. При этом она щебетала, не умолкая...

Вероятно, ее уже нет на свете...

Страшная досада и обида, вполне эгоистическая, поражает меня, когда вдруг узнаю, что умер кто-то, кого я знала, кто имел к моей жизни весьма косвенное, случайное, мимолетное отношение.

Неважно: этот человек, пусть на мгновение, был частью, хотя б и незначительной частью моей жизни. И вот он умер, его уже нет и никогда не будет. Исчезла вероятность того, что снова когда-нибудь он проскользнет в массовке моей жизни. Как же так! – вопиет все внутри меня, – ах, меня обобрали, отняли без моего ведома мое, – значит, мое имущество, моя жизнь – тает? Кто возместит мне убыток?!

Я вижу так ясно ее перед собой! Я заворожено слежу за танцующими по коже, скользкими в сметане пальцами... Над ее головой стоит облако, накапливая в брюхе опаловый дым небес. Купальник ее синий, в белый горох...

Куда подевалась вся моя жизнь?..

... И к чему с такой нелепой нежностью я перебираю эту добычу детской памяти?

Я ныряльщик, спасатель... Уходит под воду океана времен мой город, со всеми моими людьми, деревьями, улицами, домами... – так корабль погружается в пучину, со всеми своими пассажирами; и только мне одной дано извлечь из глубины несколько эпизодов минувшей жизни, несколько лиц, несколько сценок, предметов... Увы, мои силы не беспредельны. Я ныряю и ныряю, с каждым разом погружаясь все глубже... Все холоднее и опаснее воды моей памяти, – однако снова и снова я стараюсь достичь самого дна – искатель черного жемчуга... Там, в глубине, над моей головой борются течения, относят меня в сторону потоки... и видимость становится все хуже и хуже...

Зажмурив глаза, я хватаю все, что под руку подвернется, не выбирая и не сортируя улов, а просто ныряя и ныряя из последних сил, все тяжелее всплывая на поверхность с очередным обломком мимолетной сладости Атлантиды: еще лицо, еще сценка; вот – блеск виноградных листьев на беседке во дворе моего дяди, вот – красная с золотом бархатная жилетка упавшего с невероятной высоты канатоходца на празднике Навруз, – она соскользнула с его плеч, когда, как куклу, его поднимали и взваливали на носилки, и увезли на «скорой помощи», а жилет остался лежать на земле и никто не осмелился к нему подойти... А вот белый шар бульдоже на столе учительницы и шелковый черный фартук на выпускном моем экзамене по фортепиано, и даже – о драгоценность смехотворно малого улова! – патефонная игла, которую точит о дно перевернутой голубой пиалы моя, давно истаявшая, детская рука...

... Кажется, мама втайне считала его немножко шутком. М-да... картины шута сейчас не купишь. Интересно, куда канули наши, которые он дарил родителям? И на чьей стене, в каком доме висит сейчас папин портрет?.. Да, вспомнила – на праздник в тот год еще приехал инженер Грабовский! Гениальный Грабовский, память о котором испарилась, словно его и не было! И никому сейчас неизвестно, что здесь, в Ташкенте, – можно сказать, за углом, – проходило испытание «телефота» – первой в мире телевизионной установки, им изобретенной... Кажется, он и крылья изобретал... – могучий Икар, сломленный болезнью позвоночника...

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

ПО КИРГИЗИИ

Очерк

Странное чувство охватило меня в самолете – это был мой первый послевоенный полет. Сразу вспомнились самолеты военной поры: летчики с револьверами на боку, пулемет в стеклянном куполе, груды военных грузов на полу, пассажиры в шинелях, полушубках, сидящие на ящиках, мешках, газетных тюках, бредущий полет опасавшегося «Мессеров» и «Фоке-Вульф» транспортника.

Мы летим к Волге так же, как в сентябре 1942 гола летели к Волге, к Сталинграду. И снова среди курчавой желтизны осенних лесов, среди деревень и малых городов, рассеченных улицами на угольники и квадраты, медных полотнищ сжатых полей и зеленых скатертей озими вдруг открылась нам великая река русской свободы, туманная, среди камышей, светлых пятен песка, в рваном голубом кружеве затонов и заводей.

Под вечер мы снизились на ночевку в Актюбинске. Неторопливый вечерний ветер шел по степи, широкий и тяжелый, как теплая океанская волна. Он весь был насыщен запахами – чистый шелковый невод, прошедший по тысячам километров казахской степи, невод, захвативший свежесть вечерних бахчей и дыхание молодых овец, запах конского пота и голубой кизячный дым, холодок кумыса и синюю соль аральской воды, горький пот миллиардов трав и жар песчаной пустыни.

Спалось плохо: авиационные моторы гудели в голове, замирало сердце, тело проваливалось в воздушные пропасти, и казалось, все еще летит в колеблемом, текучем воздухе самолет. А на рассвете по холодной росе, под холодным ветром мы уже снова шли к самолету, слышали призывное ржание могучих моторов, равное по силе ржанию многотысячного табуна степных лошадей.

И вновь в короткие шесть часов промчали нас эти кони над полутора тысячами километров пастбищ, степных городов, солончаков, песчаной пустыни.

Справа от нас прорезались снежные зарубины гор, снова поплыл изумруд поливной зелени, пунктир дорог, сады, тополи, светлая нитяная сеть арыков, стены домов – самолет летел над Киргизией.

План наш был прост – пожить во Фрунзе несколько дней и, справившись с имевшимися у нас делами, поехать в автомобильную поездку по Киргизии.

Мы выехали из Фрунзе к озеру Иссык-Куль 25 сентября перед вечером.

Машина шла по Чуйской долине, по вечернему шоссе, мимо белых домиков, высоких тополей, садов, сжатых полей, среди чудного вечернего мира, и навстречу нам двигались грузовики, полные сахарной свеклы, помидоров, картофеля и капусты, подводы, груженные хрустящей кукурузой, арбузами и дынями, плыли верблюды, болтая плюшевыми ушами, семенили крошечные ослики, на которых восседали важные старики в белых треуголках.

Снеговые вершины желтели, голубели, розовели, а в долине уже ложился сумрак, асфальт казался синим, пепельной паутиной висели телеграфные провода, в окнах домиков, среди потемневшей листвы, среди тополей, заблестели огни, то там, то здесь среди темного дыма заводских труб рассыпались, зарябили сотни электрических фонарей.

Асфальт, провода, электричество, заводы – и тут же ослики, верблюды, тянь-шаньские снега. Удивительная картина! Вот они, ожившие цифры строительства новой Киргизии!

Мы остановились ночевать в передовом колхозе имени Карла Маркса. В темноте находим дом председателя колхоза Айткула Молдокадырова. Лают, хрипят длинномордые и длиннохвостые собаки, на них кричат «чук», и они медленно, неохотно отходят от машины. Хозяин, высокий, плечистый и толстый, в круглой, колесом, зимней барашковой шапке, вводит нас через сени в просторную комнату. Пол от стены к стене застлан кошкой, стены украшены коврами, у стены, расположенной против двери, лежат аккуратно сложенные пухлые пестрые ватные одеяла.

Мы садимся на кошку, поджимая под себя ноги, приглядываясь, как это делают хозяева.

Пока женщины готовят угощение, завязывается разговор о жизни колхоза.

Сколько сдержанности и скромности в рассказах Молдокадырова о работе, о достижениях колхоза! Потом мне пришлось много раз убеждаться: удивительно скромны киргизы, скромны, когда, как говорится, сам бог велит похвастать.

В колхозе более семи тысяч баранов, восьмьсот лошадей, четыреста коров, большие посева пшеницы и сахарной свеклы, обширные сады, бахчи, где растут арбузы и дыни, у колхоза пасеки, огороды, у колхоза свои фермы.

Молдокадыров угостил нас на славу. На белой скатерти, постеленной поверх кошки, было поставлено, словно в подтверждение успешной работы передового колхоза, все, чем богат он: горячие пшеничные лепешки, мед, пахнущий горными цветами, огромные краснотищные яблоки, сладчайшие дыни и арбузы; нам подали миску вареной баранины, а в пиалах – дымящийся бульон – шурпу – и под конец главное угощение киргизов – бешбармак – скобленое баранье мясо с белой лапшой. Это было пиршество колхозного изобилия. Конечно, не все киргизские колхозы так богаты и обильны: ведь мы остановились в передовом колхозе, и угощал нас знатный человек колхозной Киргизии, а не рядовой колхозник. Но этот колхоз и подобные ему колхозы-вожаки потому и называются передовыми, что по ним равняются другие, что они прошли вперед по той дороге, которая открыта для тысяч других хозяйств. Хочешь – шагай, догони!

...Шоссе стало петлять, а горы, стоявшие по обе стороны Чуйской долины, сошлись, и зашумел Чу, зажатый среди скал и камней.

Мы въезжали в Боомское ущелье.

Мрачная и угрюмая картина. Мощные темные камни нависли над рекой, кое-где по склонам гор видна была желтая трава и лепился низкий, почти безлиственный кустарник. А дальше все круче поднимались голые склоны. Красные осыпи, снова огромные черные и красные камни, уступы, стены, то полированные тысячелетними дождями и ветрами, то зубчатые, шершавые. В некоторых местах горы сходились вплотную; казалось, дорога вот-вот оборвется, голубое небо казалось далеким чердачным оконцем среди черных стропил и темных стен. А внизу ревела зеленая вода, дышала жестоким холодом породивших ее тянь-шаньских ледников и скал.

Выехав из ущелья, мы заговорили о том, можно ли угадать, как будут выглядеть эти пустынные горы через сто, двести и тысячу лет?

К пяти часам дня мы выехали на развилку шоссе: одна дорога вела к Рыбачьему, озеру Иссык-Куль, к Пржевальску; вторая сворачивала вправо, в центральный Тянь-Шань, к городу Нарыну, центру Тянь-Шанской области. Мы поехали на Рыбачье, туда, где виднелись маленькие домики и синело озеро.

Иссык-Куль имеет в длину около двухсот пятидесяти километров, ширина его невелика, и почти во все время нашего пятисоткилометрового пути вокруг озера был виден противоположный берег. Не знаю, есть ли в мире место, прекраснее этого. Подобное удлинённой синей жемчужине, озеро лежит среди снеговых гор, в центре Иссык-Кульской долины. Синева воды вправлена в тополевою зелень прибрежной полосы, зелень берегов обрамлена светлыми, снеговыми вершинами гор.

Синева озера настолько густа, что, зачерпнув воды в руку, невольно смотришь, не синя ли она в горсти и не окрасились ли пальцы в синий цвет.

Вероятно, такой синей кажется вода путнику, видящему мираж в пустыне, да и мне вдруг начало казаться, не мираж ли это, прямо-таки невысказанной была разящая синева Иссык-Куля.

С гор к озеру бегут реки, и трудолюбивая сила человека дробит их на сотни и тысячи ручейков – арыков. Когда в горах идут дожди, некоторые реки окрашиваются то в молочный, то в темно-красный, то в оранжевый цвет – это дожди вымывают цветные глины и песчаники, и быстрая горная вода уносит цветную взвесь в долину.

Вдали от поселений, там, где земля стоит без полива, каменистые берега пустынные, поросли желтой щетинистой колючкой, грубыми толстыми стеблями травы, тысячи тяжелых валунов лежат на сухой, прокаленной солнцем земле. Издали эти валуны кажутся овечьим стадом – я часто ошибался и то принимал белые, серые и черные камни за овец, то живых овец за разбросанные по берегу камни. Но не так уж часты пустынные места. Вдоль озера вытянулись многочисленные деревни – белые домики, улицы, обсаженные тополями, мощными ореховыми деревьями. Вокруг деревень пышно, на много гектаров тянутся яблоневые сады, краснеет толстощекий и румяный иссык-кульский апорт. Среди зелени садов стоят длинные одноэтажные постройки – колхозные школы. Все деревни вытянуты вдоль шоссе, словно новая киргизская деревня, подбоченясь, кичится перед проезжими своими успехами: «Вот они, наши новые оседлые дома, поля сады, школы, фермы, клубы, сельские больницы, пчельники, вот они, высокие скирды пшеницы! Вот они идут по деревенской улице – бригадиры, трактористы, учителя, агрономы, колхозные счетоводы!»

Но, конечно, не для того, чтобы кичиться, вытянуты вдоль проезжей дороги дома, поля и сады: узкая полоса плоской прибрежной земли. С дороги видно, что поля прилегают к самой подошве гор, и даже там, где склоны начинают набирать крутизну, трудолюбивая и неутомимая рука пашет землю, сеет пшеницу, растит кукурузу.

Во время поездки по Иссык-Кульской области мы познакомились со многими людьми – колхозниками, звеньевыми, партийными и советскими работниками, врачами, геологами, учителями, школьниками, студентами. Мы видели сельские клубы и библиотеки, колхозные детские ясли, осматривали сельские школы-десятилетки, строительство Орто-Токойского водохранилища, которое оросит восемьдесят тысяч гектаров земли; побывали на замечательных курортах, возникших в диких горах вокруг целебных источников, видели образцовый конезавод, где выведены прекрасные кони, подобные ожившим бронзовым изваяниям. Мы видели лесозаводы и колоссальные сады, тянущиеся на много десятков гектаров, об-

разцовые молочные фермы и пасеки. Мы слушали киргизское радио во время ночевки в горных колхозах и при свете электричества сельских гидроэлектростанций просматривали газеты, которые выписывают колхозники. Мы видели на полях комбайны, а ученые зоотехники-киргизы рассказывали нам о своей сложной работе по улучшению пород скота. Для того чтобы подробно рассказать обо всех этих встречах, разговорах, обо всем виденном, вероятно, понадобилось бы написать целую книгу.

В память врезались отдельные картины исык-кульской жизни, лица, улыбки, разговоры.

Вот бригадирша колхоза Тезва Кудайкулова, уйгурка по национальности. Она кандидатка в героини: ее бригада собирала урожай в тридцать восемь центнеров с гектара.

Как обыденно, просто звучит рассказ этой смуглой худой тридцатилетней женщины, как спокойно улыбаются ее карие глаза! Ведь именно в этой обыденности великая сила! Сила и в рассказе, как она трижды поливала пшеничное поле, сколько усилий, труда было вложено для необходимого удобрения полей. Сила эта и в том, что в ее бригаде работают русские, киргизы, уйгуры, дунгане, что в колхозе в братском единении живут и работают представители девяти национальностей! Она удивляется нашему восхищению: ведь есть колхоз, где отлично работают представители восемнадцати национальностей, – но что же в этом необычного? Она рассказывает о своей семье: три ее брата живут в Москве – один механик, второй доктор, третий инженер. Доктор хочет приехать в колхоз, провести отпуск у сестры. Ее волнует, удобно ли ему будет – квартира у нее маленькая. Да, именно в этой обыденности, в этой массовости новизны чудесная сила!

Но, может быть, не нужно удивляться тому, что на далекой окраине необъятной страны, где-то в горах, вблизи китайской границы, в аулах и кишлаках мирно живут прежде враждовавшие народы, что юные школяры там мастерски доказывают бином Ньютона, что молодые учителя физики – киргизы – беседуют с гостями о методике преподавания, что во многих домах горит электричество, что колхозницы получают письма от своих братьев – московских врачей и инженеров?..

Но как не удивляться великому потоку новизны? Ведь тридцать два года назад, в 1916 году, вся Киргизия пылала пожарами, гремели пушечные выстрелы – то войска Николая II усмиряли киргизское восстание!

Восстание началось после того, как царское правительство объявило о мобилизации киргизов на тыловые работы. Десятки тысяч киргизов ушли в горы, через перевалы в Китай. Ужасен был этот путь. Люди гибли тысячами от холода; волчи стаи терзали оставленные без погребения тела. Киргизы не хотели служить русскому царю, губернатору, приставам, урядникам, баям, кулакам-землевладельцам, они не хотели воевать за русское самодержавие, за колонизаторов, поработителей, угнетателей. Но нелегко пришлось им в Китае. Они сделались добычей грабителей, эксплуататоров, работоторговцев. Когда весть о революции дошла до них, они вновь вернулись на родину.

Киргизы помнят жестокий 1916 год. Часто разговор заходит о грозной поре, и лица людей становятся печальны, вспоминают о погибших, о пережитых страданиях.

Зашел об этом разговор в колхозе «Теланкер», недалеко от Пржевальска. Бакаш Орунтаев, председатель колхоза, худой человек огромного роста, с суровым горбоносим лицом, рассказывал о том, что пришлось ему пережить в пору странствий по Синцзяню. Я тихонько прошел в соседнюю комнату, где находились дети Орунтаева. Среди смуглых киргизских детей сидела румяная беловолосая девочка; она подхватила на руки крошечного полуголого бутузика и стала целовать его; малыш отбивался, болтал голыми ножками.

Я вышел на улицу, подошел к дому, у которого стояла молодая русская женщина.

– Это ваша девочка играет там? – спросил я.

– Нет, это не моя, – ответила женщина, – это сиротка Лида Чагинец, отца на войне убили, а мать умерла. Ее Орунтаев удочерил – живет у него.

– Как ей живется?

– Да как живется, люди они хорошие – и он и жена. Ее ребята дразнят: «Лидка, вот забеременей от Орунтаева» – она плакать начинает, кричит: «Не пойду никуда». По-киргизски хорошо говорить стала.

Женщина рассказала мне свою историю. Ее муж когда-то работал шофером в этом колхозе. Во время войны она с ребенком уехала, мужа мобилизовали, вскоре она получила известие о том, что муж убит на фронте. Ей много досталось невзгод, бесприютности. Наконец, она снова приехала в колхоз, где когда-то работал ее муж. Киргизы приняли ее по-братски – дали домик, заботились о ней. Теперь она колхозница, живется ей хорошо, на трудодень в этом году выдали по пяти килограммов хлеба.

Какие обыденные истории и сколько в них, в этих обыденных историях, большого смысла и значения!

А вот еще одна ночевка в колхозе Вейшике.

В комнате собрались киргизы-колхозники. Идет спор о том, какой арбуз слаще – чуйский или исык-кульский. Неожиданно кто-то из нас, приезжих, спросил:

– Кто из вас был на фронте, товарищи?

Киргизы переглянулись и стали улыбаться.

– Кто был? – переспросил партторг колхоза Мекешев. – Все были до одного! – и он обвел рукой всех сидевших.

Сам он, веселый и статный, был наводчиком орудия в противотанковой артиллерии, оборонял Сталинград, прошел с боями через пять иностранных государств и закончил войну в Австрии. На груди у него семь солдатских медалей.

Рядом с ним сидел сутулый солдат-пехотинец Чегатаев, штурмовавший Львов, за время войны получивший четыре тяжелых ранения. А справа – колхозный счетовод Бабек, полнощекый, со сдержанной, добродушной улыбкой. Он инвалид, потерял во время боев на Кавказе руку.

Мне очень запомнился этот вечер; много было разговоров, воспоминаний, сколько общих дорог!

Хороша дружба двух солдат, шагающих рядом; рабочих, работающих в одной смене; двух колхозников, вместе выезжающих на пахоту.

Но как величественна, как прекрасна дружба народов в труде и бою, дружба, цветущая там, где еще сравнительно недавно гремели выстрелы и небо светилось алым пламенем ночных пожаров!

Кончился наш путь вокруг озера. Сколько людей, сколько впечатлений! Уже, кажется, ничем нас не проймешь – устали. И вдруг среди сумрака дикого горного ущелья, среди черных вечерних сосен и вечных снегов нам открылась поразительная картина – заводские цехи, крутая сеть дорог, вагонетки, трубы, провода, подъемники, сотни электрических огней, вспышки автогена и белоснежное девятиэтажное здание, сверкающее сотнями окон в последних лучах заходящего солнца. Это была обогатительная фабрика при свинцовом руднике.

И вспомнился наш разговор в начале пути среди скал Боомского ущелья – как же будут выглядеть эти горы через тридцать, пятьдесят, сто лет?

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Волшебная синева Иссык-Куля в самом неожиданном контексте упоминается в «Жизни и судьбе».

Одна из гроссмановских героинь, военврач Софья Левинтон, вспоминает наше озеро в числе других чудес света. перед казнью в газовой камере...

Очерк «По Киргизии» опубликован в 1948 году. В том же году Гроссман опубликовал в одном из московских литературных альманахов раз в три больший текст под слегка измененным названием – «Поездка в Киргизию». Образцом блистательной и точной гроссмановской прозы филологи и историки считают главку-эссе «Песнь свободы» – о великом манасчи Саякбае Каралаеве.

Александр Тузов

Ў ДÈЎ Æ×ÀĪ ÈÆ

Чингиз Айтматов (12.12.1928–2008)

Чингиз Айтматов – писатель, публицист, видный общественный деятель. Член СП СССР (1956), Народный писатель Киргизии (1968), академик АН Киргизской ССР (1974).

Его перу принадлежат такие произведения, как «Джамиля», повести «Первый учитель», «Лицом к лицу», «Красное яблоко», «Тополек мой в красной косынке», «Трудная переправа», «Белый пароход», романы «И дольше века длится день», «Прощай, Гульсары!», «Плаха», «Тавро Кассандры» и многие другие.

Через творчество Ч. Айтматова весь мир узнал о киргизском народе, который имеет тысячелетнюю историю развития, о его культуре, традициях, мировоззрении, философии, чаяниях и стремлениях. В своем творчестве писатель сумел синтезировать национальные ценности с лучшими достижениями мировой культуры. Именно с его творчеством неразрывно связан ренессанс киргизской литературы. Он занял достойное место в ряду всемирных классиков XX века. (*Иманалиев К. Кыргызстан (Слово о Родине). – Б., 2002. – С. 189.*)

Плач перелетной птицы. Баллада Акбара. Сказка

Баллада и сказка печатаются по: *Айтматов Ч. Акбара: Сказка // Литературный Кыргызстан. – 1998. – № 3. Айтматов Ч. Плач перелетной птицы: Баллада // Литературный Кыргызстан. – 1998. – №3.*

Эссе печатается по: *Айтматов Ч. Эссе // Собр. соч.: В 7 т. – Т. 7. – М., 1998.*

Стоны заблудившихся лебедей, или Тайна медуз. *Перевод с казахского Сокпакбаевой С.* Диалог выдающегося писателя XX века Чингиза Айтматова и известного казахского поэта и общественного деятеля Мухтара Шаханова. Авторы подводят читателя к непростым, но жизненно важным вопросам, которые хоть раз в жизни должен задать себе каждый современный человек.

Диалог печатается по: *Айтматов Ч., Шаханов М. Стоны заблудившихся лебедей, или Тайна медуз // Плач охотника над пропастью (Исповедь на исходе века). – Алматы, 1996.*

Слово об авторе. Печатается по: Кыргызстан – 2003: Дни. Люди. События: Календарь чтения. – Б., 2003.

Мар Байджиев (р. 23.03.1935)

Мар Байджиев – прозаик, драматург, писатель-билингв, публицист. С 1956 г. выступил как критик и переводчик с киргизского на русский. Перу М. Байджиева принадлежит ряд повестей, киноповестей, рассказов, сказок. За рубежом известен как драматург: «Возмужание»(1964), «Дуэль»(1966), «Мы – мужчины» (1969), «Праздник в каждом доме» (1972), «Жених и невеста» (1978), «Древняя сказка» (1976) и др.

Им осуществлен перевод на киргизский язык романа Д. Фурманова «Чапаев», а с киргизского на русский – произведений К. Джантошева, Тоголока Молдо, Д. Сулайманова, Т. Байджиева и др.

Член СП СССР (1966). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1981), народный писатель Кыргызстана. (Писатели Советского Кыргызстана. – Ф., 1989. – С. 128–130.)

Однажды очень давно. Повесть

Повесть написана на основе фольклорных произведений киргизского народа: песни-плача «Карагул бетом» и эпической поэмы «Кожожаш», об этом М. Байджиев говорит в послесловии к повести.

Повесть печатается по: *Байджиев М. Однажды очень давно. – Ф., 1984.*

Друг мой верный – русский язык. Статья

Статья печатается по: *Байджиев М. Друг мой верный – русский язык // Лит. Кыргызстан. – 2004. – №1.*

Тропой человека.

Интервью печатается по: *Байджиев М., Мельник В. Тропой человека // Лит. Кыргызстан. – 1986. – №7.*

В битве за истину. Очерк

Литературоведческий очерк печатается по: *Байджиев М. В битве за истину. – Б., 2001.*

Слово об авторе. *Ковский В. По своей тропе... // М. Байджиев. Осенние дожди. – М., 1985. Рыбаков Ю. Драматургия Мара Байджиева // М. Байджиев. В субботу вечером. – М., 1987.*

Рамис Рыскулов (р. 9.09.1934)

Рамис Рыскулов (Аймазан) – поэт, переводчик.

Первый поэтический сборник Р. Рыскулова «Жаз» («Весна») издан в 1959 г. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивший киргизскую поэзию внедрением белого стиха. Им осуществлен перевод на киргизский язык произведений А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, Н.А. Некрасова, А. Вознесенского и др.

Член СП СССР (1959). (Писатели Советского Кыргызстана. – Ф., 1989. – С. 420 – 421.)

Вдохновение. *Перевод С. Золотцева*

Золотцев Станислав Александрович (р. 21.04.1947)

Поэт, прозаик, литературовед, публицист. Работал переводчиком за рубежом, преподавал в вузе. Ответственный секретарь Псковской организации СП России.

Печатается с 1970 г. Переводит стихи и прозу с английского, фарси, таджикского и киргизского языков.

Член СП СССР (1976). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. I. – М., 2002. – С. 530).

Звездный возраст. *Перевод В. Цыбина.*

Слушая песню Ала-Тоо. *Перевод С. Золотцева.*

Урюковые деревья. *Перевод С. Золотцева.*

О поэтах. *Перевод С. Золотцева.*

Юность. *Перевод С. Золотцева.*

Киргизия. *Перевод Вяч. Шаповалова.*

Неразделенная любовь. *Перевод Вяч. Шаповалова.*

Идти буду вечно. *Перевод Вяч. Шаповалова.*

Стихотворения печатаются по: *Рыскулов Р.* Радость: Стихи, поэмы. – М., 1980. *Рыскулов Р.* Солнечный азарт: Стихотворения, поэмы. – Ф., 1990.

Эссе печатается по: *Рамис.* Зов бытия // Кыргызстан аялдары. – 1996. – №2.

Слово об авторе. *Козлинский В.* Гений первого ранга // Веч. Бишкек. – 1994. – 10 марта. *Арыпбеков М.* «Великое продолжение вселенской тоски» // Kutbilim. – 1994 – № 25. *Копчуев Б.* «Я всю суть посвящен вам, люди...» // Лит. Кыргызстан. – 2005. – № 2.

Омор Султанов (р. 6.11. 1935)

Омор Султанов – поэт, прозаик, переводчик.

Печатается с 1957 г. Первый поэтический сборник «Горные дни» издан в 1961. В 1967 г. выпущен сборник повестей и очерков «Белая дорога, синее небо». Им написано несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Киргизфильм». Произведения писателя переведены и изданы на русском языке, отдельные произведения опубликованы на казахском, английском, испанском и др. языках. Им переведены на киргизский язык и изданы стихотворения П. Неруды, поэма М.Ю. Лермонтова «Демон». О. Султанов – соавтор около двадцати переводных коллективных сборников.

Член СП СССР (1964). (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 486–487.).

Женщина. *Перевод Л. Васильевой.*

Осколок. *Перевод Л. Васильевой.*

Голос. *Перевод Л. Васильевой.*

Жизнь. *Перевод Л. Васильевой.*

Течение. *Перевод Л. Васильевой.*

Время. *Перевод Л. Васильевой.*

Васильева Лариса Николаевна (р. 23.11. 1935)

Поэтесса, прозаик, переводчик.

Печатается с 1957 г. Переводила поэзию народов СССР. В годы перестройки Васильева, по ее словам, «поменяла профессию», «стала историческим писателем, а была поэтессой». Результатом явились бестселлеры: Кремлевские жены; Дети Кремля; Жена и муза. Тайна Александра Пушкина и др. Издала (под псевдонимом Василий Старой в соавторстве с А.С. Старостиным) продолжение романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: Пьер и Наташа: В 2 т.

Член СП СССР (1968), академик Академии российской словесности (1996). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. I. – М., 2002. – С. 251–252.)

Стихотворения печатаются по: *Султанов О.* Песни усталости: Стихи, поэма. – Ф., 1984.

Влажные облака. Путевой очерк. *Перевод В. Вакуленко*

В местах прежней ссылки. Путевой очерк. *Перевод В. Вакуленко*

Путевые очерки печатаются по: *Султанов О.* Дорога к океану. – Ф., 1979.

Слово об авторе. *Султанов О.* Песни усталости: Стихи, поэма. – Ф., 1984.

Алланов А. Душа, простуженная жизнью // Слово Кыргызстана. – 1995. – 12–13 декабря.

Светлана Георгиевна Сусллова (р. 13.03.1949)

Светлана Сусллова – поэт, переводчик.

В 1965 г., будучи школьницей, работала диктором Кантского районного радиовещания, в эти годы сотрудничает с газетами «Знамя Победы», «Комсомолец Киргизии», с 1975 г. – зав. отделом поэзии в редакции журнала «Литературный Киргизстан», в настоящее время является зам. главного редактора журнала «Литературный Киргизстан».

Первый поэтический сборник «Моей Азии» издан в 1978 г. Автор поэтических сборников: «Пятое время года»(1980), «Сад моего детства» (1983), «Концерт для скрипки с оркестром» (1984), «Несговорчивый соловей» (1987), «Возвращение к себе» (1996), «Молчание рыб» (2006).

Светланой Суслловой переведены произведения киргизских поэтов на русский и изданы поэтические сборники А. Токомбаева, А. Осмонова, М. Абылкасымовой, Р. Шукурбекова и др.

В 1982 г. поэтические сборники «Моей Азии» и «Пятое время года» отмечены премией Ленинского комсомола.

Член СП СССР (1988), Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 525–526.)

Родная речь.

«Любимый, мы с тобою мастодонты...»

«Подари мне песчаную розу...»

Стихи о старости. Бишкек.

Вечер русской поэзии на Джеты-Огузе.

«Стихи сжигать – в который раз! – в печи...»

Утро 25 марта 2005 года.

Кыргызский гамбит.

Кыяк.

Стихотворения печатаются по: *Сусллова С.* Возвращение к себе. – Б., 1996, *Сусллова С.* Молчание рыб. – Б., 2006.

Александр Иванович Никитенко (р. 5.04.1948)

Александр Никитенко – поэт, переводчик.

Работал редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем в журнале «Литературный Киргизстан», в газетах «Вечерний Бишкек», «Моя столица», наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл.

Изданы свои поэтические книги «Подсолнух» (1979), «Свет в судьбе» (1982), «Раздолье» (1984), «Высь» (1988), «Третий раунд» (1991), «Некто я» (2005), «Зимняя радуга» (2006), «Переворачиваю мир» (2006).

Им переведены на русский язык произведения киргизских поэтов – Алыкула Осмонова, Э. Эрматова, А. Дегенбаевой, К. Джунушева, А. Рыскулова и др.

Член СП СССР (1983). (*Никитенко А.* Переворачиваю мир. – Б., 2006.)

Семья. Потеря. Цикада.

«Если больше не видите даль вы...»
Беспредельное, Секонд-хенд.
Синий троллейбус.
«Муза, муза, туман отстелился...»
Мой голос
«Под косыми лучами светила...»
«Это лето с тополиным пухом...»
Муки, кум
Охотник Кинтохо (озорная сказка).
Китик

Стихотворения печатаются по: *Никитенко А.* Зимняя радуга. – Б., 2006. *Никитенко А.* Ковыльная горечь степей // Лит. Кыргызстан. – 2005. – № 3. *Никитенко А.* Переворачиваю мир. – Б., 2006.

Вячеслав Иванович Шаповалов (р. 28. 10. 1947)

Поэт, переводчик, литературовед.

Печатается с 1964 г. Первый поэтический сборник «Купол неба» издан в 1976 г. Автор поэтических книг «Кочевье», «Восходят травы», «Прощание с журавлем», монографии «Киргизская стихотворная культура и проблемы перевода», многих статей в периодической печати по проблемам стихотворной культуры и художественного перевода. Как литературовед занимается исследованиями в области взаимовлияния киргизской и русской литератур. Им осуществлен перевод на русский язык произведений киргизских поэтов А. Токомбаева, Т. Уметалиева, С. Эралиева, А. Токтомушева, А. Осмонова и др.

Член СП СССР (1984). Доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии КР им. К. Тыныстанова, заслуженный деятель культуры КР. (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 601.)

Бег.
Горизонт.
Поэты.
Стансы.
Азийский круг.
Тени в раю.

Стихи печатаются по: *Шаповалов Вяч.* Бег. Горизонт. Поэты // Перевал: Молодая поэзия Киргизстана. – Ф., 1980.

Шаповалов Вяч. Не судьба с судьбой лукавит... // Лит. Киргизстан. – 1989. – №11. *Шаповалов Вяч.* Тени в раю // Касым Тыныстанов и отечественная культурная история XX века. – Б., 2001.

Николай Алексеевич Пустынников (р. 1944)

Поэт, прозаик, литературный критик, переводчик с киргизского языка. Окончил литературный институт им. А.М. Горького. Первые стихи опубликованы на страницах журнала «Литературный Киргизстан» в 1972 г. Автор поэтических сборников: «На гаревах цветы» (1980), «Отзвук» (1988), книг для детей: «Не про тебя ли это?» и повести «Двое из трудного времени».

Член СП СССР. Живет в России. (Перевал: Молодая поэзия Киргизстана. – Вып. 2. – Ф., 1982. – С. 37.)

В горах.
Осыпь.
Канатоходец.
Бедлам.
Вечернее.

Стихи печатаются по: *Пустынников Н.* Бег. В горах. Осыпь. Канатоходец // Перевал: Молодая поэзия Киргизстана. – Ф., 1980. *Пустынников Н.* У порога больших потерь // Лит. Кыргызстан. – 1991. – №11.

Турар Кожомбердиев (10.15.1941–30.01.1989)

Турар Кожомбердиев – поэт, переводчик.

Печатается с 1959 г. Первый поэтический сборник «Лужа в лужице» (1961). Произведения Т. Кожомбердиева переведены и изданы на многих языках народов СССР и за рубежом. Автор перевода повести Н. Думбадзе «Я вижу солнце» (1968), стихов Н. Незвала (1971), соавтор перевода многих коллективных поэтических сборников.

Член СП СССР (1966). (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 309 – 311.)

«До наступления ночи остался всего лишь шаг...» *Перевод В. Цыбина.*

«Бессонницу мою подкарауля...» *Перевод В. Цыбина.*

На этой земле. *Перевод В. Цыбина.*

«Отца уже давно на свете нет...» *Перевод М. Ронкина.*

Отчего? *Перевод М. Ронкина.*

Воспоминание о детстве. *Перевод М. Ронкина.*

Замки. *Перевод М. Ронкина.*

Чолпонбай Нусупов (р. 22.08.1957)

Прозаик.

Печатается с 1975 г. Пишет на русском языке. Первая книга «Крутые перевалы» (1981). Автор трех повестей, ряда рассказов, публицистических статей, касающихся истории Киргизии, проблем развития современного литературного процесса в республике.

Член СП СССР (1984).

Стрелок. Рассказ

Шумкар. Рассказ

Рассказы печатаются по: *Нусупов Ч.Т.* Крутые перевалы. – Ф., 1981.

Малика Шабаева (1951–2002)

Малика Шабаева – первая киргизская поэтесса, пишущая на русском языке.

Печаталась с 1976 г. В 1977 г. стала дипломантом республиканского фестиваля «Поэзия Ала-Тоо». Автор нескольких коллективных сборников. Вышли в свет три поэтических сборника: «Начало» (1982), «Откровение» (1986), «Автопортрет» (1988).

Отчий дом.

Старый дом.

Киргизская осень.

«Месяц в небе появился...».

Далёкое.

«Легко кружится голова...».

«За этот мир...».

Я тебя придумала.
Осенний вечер.
Счастье.

Слово об авторе. *Шабаева М.* Начало: Стихи. – Ф., 1982. *Шабаева М.* Автопортрет: Стихи. – М, 1988. *Шепеленко А.* Естественность против надуманности // Лит. Киргизстан. – 1987. №7.

Стихи печатаются по: *Шабаева М.* Начало: Стихи. – Ф., 1982. *Шабаева М.* Автопортрет: Стихи. – М, 1988.

КИРГИЗСТАН В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Салам тебе, Ала-Тоо!: Стихотворения. – Ф.: Кыргызстан, 1984.

Уолтер Мэй. Киргизская юрта // Лит. Киргизстан. – 1987. – № 8.

Маркиш Д. За мной: записки офицера-пропагандиста. – Тель-Авив, 1984.

Набоков В. Дар // Урал. – 1988. – № 3, 4, 5, 6.

Рубина Д. На солнечной стороне улицы. – М., 2006.

Составители: *А.С. Кацев, Н.Л. Слободянюк*

ПОД БЕЗДОННЫМ КУПОЛОМ АЗИИ

Книга для чтения с удовольствием

Часть 3

Редакторы: *Л.В. Тарасова,*
И.С. Волоскова, Т.П. Вязьмина

Компьютерная верстка *Г.Н. Кирпа*

Подписано в печать 20.10.09. Формат 60×84^{1/8}

Офсетная печать. Объем 29,5 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ 171

Издательство Кыргызско-Российского
Славянского университета
г. Бишкек, ул. Киевская 44

Отпечатано в типографии КРСУ
710048, г. Бишкек, ул. Горького, 2